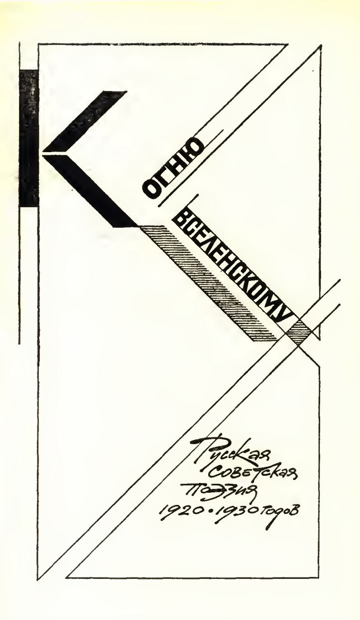

К
огню
вселенскому



МОСКВА • ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА» • 1989

84 Р 7
К 11

Составление, предисловие
и комментарии
Е. В. Грековой

К $\frac{4702010200-1802}{080(02)-89}$ 1802–89

ПРЕДИСЛОВИЕ

20—30-е годы XX века — сложный период в жизни страны в целом и в истории нашей литературы. Только сейчас подходим мы к выработке объективного взгляда на крутые повороты общей народной судьбы и неразрывно связанные с ней виражи индивидуальных успехов и катастроф.

De profundis...* Мое поколенье
Мало меду вкусило. И вот
Только ветер гудит в отдаленье,
Только память о мертвых поет.
Наше было не кончено дело,
Наши были часы сочтены,
До желанного водораздела,
До вершины великой весны,
До неистового цветенья
Оставалось лишь раз вздохнуть...
Две войны, мое поколенье,
Освещали твой страшный путь.

Так писала Анна Андреевна Ахматова в 1944 году. Два десятилетия между двумя войнами выбросили в мир задорные и скорбные строки, собранные в этой книге. Их авторов разделяло когда-то многое: и видение движения жизни, и нравственные позиции, и эстетические принципы. Сейчас, однако, в их творчестве обнаруживается больше общего, чем казалось в те годы. Это общее в точно схваченном Ахматовой противоречии: «До неистового цветенья // Оставалось лишь раз вздохнуть» — это с одной стороны. С другой же — «Наши были часы сочтены...»

Всеобщий, безудержный, яростный порыв к жизни, жгучий образ огня, пронизывающий все направления, школы, группировки, образ, сквозной для всей нашей поэзии того времени, высвечивающий

* Из бездны (взываю) (*лат.*).— Ред.

его надежды и его трагедию. Трагическое предчувствие в кульминационных вершинах достигает высот классической трагедии:

Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей...

(О. Мандельштам).

Предчувствие беды соседствует с откровенной праздничностью, выражением неприкрытой радости жизни. Особенно чиста эта радость в стихах В. Казина 20-х годов, в ранней лирике М. Исаковского:

Мы вот жили и совсем не знали,
Что весна на поле расцвела,—
Маленькая девочка в сандалиях
Нам ее в корзинке принесла.

(«Подснежники», 1925).

В 30-е годы эту чистоту радости и горя оттесняет официально-помпезный стиль:

И красочный и песнозвонный
Весь день — такой неугомонный! —
Звенел в ушах, сверкал в очах.
Москва, отпраздновав Октябрьский день парадом,
Вся изукрашена сверкающим нарядом,
Купалась вечером в прожекторных лучах.

— — — — — — —

Проспект, ликующий и светом и простором,
Открылся удивленным взорам
Там, где бесследно сметены
Остатки хилой старины:
Поросшей мхом, покрытой сором
Китайгородской нет стены!

— — — — — — —

С сияющих витрин перед народной гущей,
Перекрывая гул восторженной молвы,
Звучала красками строительной канвы
Архитектурная симфония грядущей,
Великой, Сталинской победно-всемогущей,
Гранитно-мраморной Москвы!

(Д. Бедный. «Симфония Москвы»,
10 ноября 1934 г.— курсив автора).

Однако прав был А. С. Пушкин, сказав: «Но краски чуждые, летами, // Спадают ветхой чешуей...» И нам открывается лицо века его подлинной, противоречивой сути.

Восторг и боль — стержневая «тональность» поэзии этого вре-

мени. Время было неоднозначным, и так же неоднозначны были восторг и боль — у каждого свои. В этом сборнике стихотворения и поэмы подобраны так, чтобы раскрылся внутренний мир их авторов, круг их переживаний и стремлений, направление их развития. Основу книги составляет лирика — интимная, философская, дружеская, лирика, в которой личность предстает в своем отношении к современности и к истории. Прежде всего в своем отношении к революции и гражданской войне (стихи В. Маяковского, Д. Бедного, В. Кириллова, В. Александровского, А. Прокофьева, М. Светлова, Б. Корнилова и др.). Одновременно с позиций нового видения мира осмысляется прошлое — легендарно-далекое («Свадьба» Д. Кедрина и «Сказание об иноке Епифании» М. Волошина) и менее отдаленное («Чертовы куклы» Э. Багрицкого и «Заблудившийся трамвай» Н. Гумилева).

Характерно, что в исторической легенде поэта привлекает, как правило, идея, перекликающаяся с современностью. Так, Д. Кедрина в «Свадьбе» волнует идея тираноборчества, а М. Волошина в его «Сказании об иноке Епифании» — мотив лишения языка и чуда его обретения. В то же время обращение к более четко «документированному» материалу сопровождается стремлением запечатлеть движение истории. Объективную картину смены идей и направлений стремится обрисовать Э. Багрицкий в «Чертовых куклах». Напротив, субъективное движение лирического героя сквозь эпохи прочерчивается Н. Гумилевым в «Заблудившемся трамвае».

В разной мере детализированно освещаются первая русская революция (А. Белый) и первая мировая война (Э. Багрицкий, «Последняя ночь»). Взятые вместе, стихи разных авторов отражают все значительные события 20—30-х годов: от конца гражданской (В. Маяковский, Н. Тихонов, Б. Корнилов, М. Кузмин и др.) до предчувствия новой страшной войны («Зверь не спит» В. Кириллова); стихи о голоде в Поволжье — В. Хлебникова («Голод») и С. Городецкого (цикл «Не белы снеги» с жутким образом няньки-смерти, убаюкивающей ребенка со старческим личиком); стихи Д. Бедного, Э. Багрицкого и Н. Асеева о смерти Ленина и о всенародной скорби. Здесь поэтизация города (лирика В. Казина и Н. Асеева) и обновленной деревни (стихи П. Васильева, М. Исаковского, А. Яшина); сложности коллективизации (поэзия А. Твардовского) и ужас ежовщины (О. Мандельштам).

«Бегом времени» назовет позже А. Ахматова один из сборников своих стихотворений. Грани стремительно бегущего века высвечивали поэты разного возраста и разных направлений. В сборнике представлены крупнейшие поэтические группировки 20-х годов — от «Кузницы» (В. Казин, В. Александровский, В. Кириллов) и ЛЕФа (В. Маяковский, В. Каменский, Н. Асеев, С. Кирсанов) до «Серапионовых братьев» (Н. Тихонов).

В сборник включены не только стихотворения, созданные поэтами в 20—30-е годы, но и в ряде случаев стихотворения, написанные поэтами ранее, но в 20-е годы переработанные. Таковы стихи Б. Пастернака и А. Белого. Переработка дореволюционных мотивов говорит не только о новом осмыслении прежней темы, но и о том, что по многим причинам прежние мотивы и образы сохраняют актуальность и даже звучат сильнее.

Верно найденный образ движения времени, может быть, в 1928 году прозвучал у Пастернака убедительней, чем в 1913-м: «Но время шло, и старилось, и глохло, // И, паволокой рамы серебря, // Заря из сада обдавала стекла // Кровавыми слезами сентября». («Сон»).

В авторской вступительной статье «Вместо предисловия» к неизданному тому стихов «Зовы времени» А. Белый пишет:

«Автор 1929—31 годов — имеющий голос интерпретатор еще безголосого юноши, а не себя; если бы он писал, исходя из современности, он не вписал бы ни одной строчки, подобно вписанным в новой редакции»[1].

И в то же время голос юности, уже отчужденный гранью революции, жив в душе поэта. Сопоставление ранней и поздней редакций показывает, что даже в случае значительных изменений (например, переработка «Жертвы вечерней» в «Сумасшедшего» А. Белого) общий замысел, идея остаются прежними.

Сборник по праву открывают поэты старшего поколения: А. Блок, В. Брюсов, А. Белый, Ф. Сологуб.

Когда-то, в период гражданской войны, блоковское название «Скифы» взяло себе «неонародническое» объединение писателей, к которому, среди прочих, тяготели сам А. Блок, А. Белый, Н. Клюев, С. Клычков и С. Есенин. Название увлекло не случайно: всех этих — очень разных — поэтов волновал некий «особый» путь, вступив на который молодая страна и противопоставляет себя Европе, и одновременно указывает ей истинный путь:

В последний раз — опомнись, старый мир!
  На братский пир труда и мира,
В последний раз на светлый братский пир
  Сзывает варварская лира!

(А. Блок. «Скифы», 1918).

Мотив С. Есенина в «Инонии» (1918) созвучен блоковскому:

И тебе говорю, Америка,
Отколотая половина земли,—
Страшись по морям безверия
Железные пускать корабли!

[1] А. Белый. Стихотворения и поэмы.— М.— Л.: Советский писатель, 1966, с. 562.

Не оттягивай чугунной радугой
Нив и гранитом рек.
Только водью свободной Ладоги
Просверлит бытие человек.

В то же время нельзя не заметить различий в осмыслении самого нового мира. Для А. Блока новый мир — мир варваров, несущих умирающему миру свежую силу и свежую кровь, мир юности человечества. Но это и страшная в своем ударе, непобедимая стихия. Новый мир (Инония) С. Есенина — полусказочный мир патриархального крестьянства, мир вечной юности, нераздельно слитой с земным раем:

По тучам иду, как по ниве, я,
Свесясь головою вниз,
Слышу плеск голубого ливня
И светил тонкоклювых свист.

В синих отражаюсь затонах
Далеких моих озер.
Вижу тебя, Инония,
С золотыми шапками гор.

О жизни самого Блока в мире «скифов» рассказывает Н. А. Павлович в поэме «Воспоминания об Александре Блоке». Один из секретарей «Союза поэтов», председателем которого был Блок, она запечатлела не только облик поэта, но и образ бурного, взъерошенного мира и — отзвук «Скифов» — осмысление связи времени личного и исторического:

— Нас горсть. Их тьмы. Они придут
И станут рядом с нами,
Неведомые, нам зажгут
Неведомое пламя.

Что знаем мы? Что нам принес
Эпохи голос чудный?..—
Молчат поэты. Лишь мороз
На улице безлюдной.

(«Клуб поэтов»).

Поздняя лирика В. Брюсова идет в русле той же темы — личность и революция. Лирический герой его, хранимый «в огне и тьме», «в блеск молний вышел, невредим», и обновленный мир празднично ярок и блестящ. Но если красочность «Инонии» обеспечивается созданием образа прозрачно-голубой сферы и купольного золота, то в красивости образов Брюсова торжественность преобладает над переливами живого света («России», 1920).

Там, где у Есенина движение, у Брюсова — монументальная статика. Застылость форм сказывается и там, где передано движение предметного мира, и там, где должно быть временнóе движение. Обращение к ветру «третьей осени» («Третья осень», 1920 г.) не подтверждено в достаточной мере образами движения, развитием мелодического рисунка:

Эй, ветер с горячих взморий,
Где спит в олеандрах рай,—
Развевай наше русское горе,
Наши язвы огнем опаляй!

Вероятней всего, это связано с предчувствием смерти, грустным признанием себе в том, что самого яркого и прекрасного ему уже не увидеть («Я вырастал в глухое время...», 1920).

По-иному отразил яркость жизни в своей лирике А. Белый. Осмысляя связь личности и времени сквозь отношение личности к природе, он создает поразительные образы, совмещающие в себе космическую масштабность с ощутимой конкретной. Пространство углублено до предела, но каждый изображенный предмет осязаем и вещественен: «А пыльный, полудневный пламень // Немою глыбой голубой // Упал на грудь, как мутный камень, // Непререкаемой судьбой» («Июльский день: сверкает строго...», 1920).

Два этапа выделяются в послереволюционном творчестве Ф. Сологуба: до и после смерти осенью 1921 г. жены поэта Ан. Н. Чеботаревской. Стихи 1920—1921 годов вызваны к жизни стремлением найти стабильную опору в непонятной, взбесившейся стихии бытия. И, что характерно для него, такой опорой становится у Сологуба труд, поглощающий все существо поэта («В стихийном буйстве жизни дикой...», 1920 и др.). Доминирует подсознательное стремление — замкнуться от мира, разжечь священный огонь в одиночестве и внутреннем обособлении, найти отдых от «буйства жизни дикой» в упорном труде. В 1922 году оно сменяется мотивом неустанной борьбы со смертью. Это борьба одинокая и отчаянная, происходящая в сфере, магически изолированной от прочих смертных («Не слышу слов, но мне понятна» и др.). Стихи Сологуба последних лет — своеобразный психологический дневник, в котором внутреннее сопротивление гибели сменяется оттенком глухой покорности или мгновениями возвращения из магического круга в реальное бытие («Алкогольная зыбкая вьюга...»). Даже эстетический эталон «Золотая сеть лучей на волне» («Ночные стихи») отмечен знаком смерти.

В сборнике представлены и поэты, чье творчество в этот период продолжалось в эмиграции. Это И. Бунин, К. Бальмонт, И. Северянин. С эмиграцией связан целый период творчества М. Цветаевой и Н. Крандиевской-Толстой.

Воспоминания о России, настроения отчужденности и одиночества сближают позднюю лирику Бунина и Бальмонта. Так, созвучны образы канарейки, «тесной клеткой пленённой» («Канарейка» Бунина), и сердитого попугая, «утратившего родимый край» («Узник» Бальмонта). Ностальгическое обращение к русскому фольклору в этот период в большей мере характерно для Бунина («Дай мне, бабка, зелий приворотных...», «Русская сказка», «Уж как нá море, нá море...»), в несколько меньшей — для И. Северянина («Запевка»). Предощущение смерти связано у Бунина и у Бальмонта с образами вечного света, огненного дождя, противостоящих физическому разложению («Свет» И. Бунина, «Кто?» К. Бальмонта). Преодоление отчаяния и даже смерти все они видели лишь в возможности хотя бы духовного слияния с Россией, без которой немыслима жизнь. Впечатления Европы оказываются негативными. Нападки на буржуазную публику и буржуазные вкусы можно обнаружить в поэзии Северянина («Их образ жизни...»). При этом Россия, русская история и культура в сравнении с Западом представляются элитарными.

Необходимо отметить, что стихотворческая манера по форме становится у всех этих поэтов, за исключением М. Цветаевой, все более и более традиционной. Поэзия Цветаевой почти единственная в те годы, сохраняющая на протяжении лет всю сложность образной ассоциативной цепи:

В глубокий час души,
В глубокий — ночи...
(Гигантский шаг души,
Души в ночи).
В тот час, душа, верши
Миры, где хочешь...
("Час души»).

Повышенный драматизм ее стихов выражается через противопоставление материи и духа, бытового и надбытового начал («Пригвождена...»). При этом нередко одно и то же слово вмещает в себя оба полюсных понятия. Так происходит в «Поэме Горы», где гора — одновременно реальный холм и духовная вершина. Обыгрываются два значения слова «гора» — в привычном для нас смысле и в архаическом, полузабытом — «гора» — «верх».

«Поэма Горы» — «Песня Песней» Цветаевой, эмоционально перенапряженное выражение вэмывающего духа, объятого высокой страстью. Любовь осмысляется в ней как чувство, подымающее смертного из грязи бытия.

Для нас привычно резкое противопоставление поэтов «полюсных» течений. Например, остропсихологическому самовыражению М. Цветаевой, А. Ахматовой, Б. Пастернака и О. Мандельштама противостояло выражение «коллективной психики» пролетарских поэтов —

В. Александровского, В. Кириллова, В. Казина и других. Такое противостояние обусловлено самой действительностью и отношением к ней поэтов. Но нельзя забывать, что их стихи — порождение одного и того же времени, и, при всем различии концепций века, в творческих исканиях поэтов оппозиционных группировок много сходного.

В частности, переосмысление бытового понятия в надбытовое становится характерным для очень многих поэтов 20—30-х годов, и эта черта не зависит от принадлежности поэта к той или иной группировке. Это переосмысление — способ высвобождения личности от власти вещей и законов обывательского мира: «...Мне скучно и тесно // В этом мире уютном, где тщетно горит // В керосиновых лампах огонь Прометея — // Опаленными перьями фитилей...» (П. Васильев. «И имя твое, словно старая песня...»)

Но нравственными и эстетическими принципами поэта определяются качество надбытового и форма движения в мире одухотворенных реалий.

М. Цветаева отталкивается от быта в порыве утверждения власти страстного, страдающего духа. Быт и бытие резко противоположны друг другу:

Око зрит — невидимейшую даль,
Сердце зрит — невидимейшую связь...
Ухо пьет — неслыханнейшую молвь...
Над разбитым Игорем плачет Див.

(«На заре...»)

Переосмысление быта в раннем творчестве А. Тарковского чаще связано с мотивами детства и юности. Истоки надбытового — в утверждении изумления, в радости первого знакомства с простыми вещами. В самом назывании предметов Тарковский достигает удивительной изысканности:

Река Сугаклея уходит в камыш,
Бумажный кораблик плывет по реке,
Ребенок стоит на песке золотом,
В руках его яблоко и стрекоза.

Эта изысканность простоты достигается умелой эвфонией. Стихи не рифмованы, но начала и концы строк фонетически перекликаются: река — по реке — ребенок — стрекоза,— создавая эвфоническое обрамление стиху.

В лирике В. Александровского, напротив, метафоризация конкретного понятия совершается на социальной основе («Мы умеем все переносить...»). Характерно и то, что в стихах В. Александровского и В. Казина высокое не конфликтует с бытом, а сливается в органическое единство, где «нежилое высокое небо» становится «прообразом всех чердаков» (В. Казин, «Песня ветра»).

Новаторскими поисками в этом направлении отмечена лирика В. Кириллова. Трансформация образа в надбытовую сферу совершается в жесткой борьбе с неподатливым материалом:

Буриый пламень сиял и пел,
А родился обугленный стих.
(«Не слова,— это призраки слов...»)

Надбытовая сфера разрастается у пролетарских поэтов до космизма, до выхода в беспредельное. Характерно это и для раннего творчества А. Платонова.

Мы любовь, мы — мысль вселенной,
Звезд зовущих странник пленный.
(«Мы пройдем тебя до края...»)

Странно созвучны платоновским стихотворения С. Маршака этого же года (хотя в них нет прямых текстуальных параллелей):

Огонь в ночи, огонь небесный
Твоих касается ресниц;
То там, то здесь во тьме окрестной
Играют проблески зарниц...

То же поэтическое качество в балладах у А. Прокофьева оборачивается смешением быта и легенды («Ой, шли полки...», «Баллада о трех бравых парнях...»). Четкая, конкретная детализация в сюжете, соединяясь с фольклорными оборотами и ритмами, одновременно передает драматизм конкретной ситуации и позволяет эпически обобщить ее.

Сказочное прихотливо сочетается с приметами довоенного быта в поэме П. Васильева «Женихи».

«Чистый» фольклоризм, без реалий XX века, все же позволяет молодым М. Исаковскому и А. Яшину воссоздать атмосферу современной деревни, убедительно передать ощущение сиюминутного действия.

Шла я нынче за́имкой,
На снега глядела:
Сколько за ночь заинька
Вывертов наделал.
(А. Яшин. «Шла я нынче за́имкой...»)

«Секрет» сиюминутности не в обстоятельствах времени («нынче»), а в подлинности лирического переживания, усилившего песенное начало стиха.

В лирике Н. Крандиевской-Толстой 30-х гг. ощутимы неудовлетворенность словом — понятием, стесненность мира материей («Небо называют — голубым...»). Стремление «обнажить стих до дрожи» ве-

дет к раскрепощению чувства от конкретной ситуации («Как песок между пальцев, уходит жизнь...»).

Своеобразно у поэтов разных школ воплощение героического. В поэме Д. Бедного «Главная улица» (1922) торжественная патетика предваряет в определенной мере стилистику поэмы В. Маяковского «Хорошо!» (1927), и это сходство оправдано тем, что обе поэмы — «юбилейные» к 5- и к 10-летию Октября.

Жизнеутверждение сквозь дым и смерть в равной мере характерно для Н. Тихонова и М. Светлова. В «Песне об отпускном солдате» Н. Тихонова Иван Денисов, ведомый великой силой любви и подвига, побеждает смерть. Посмертно отпущенный на родину, он — мертвый — подымается и уходит. Но это не воскресение. Он не оживает, а как бы подымается над смертью. И сама граница между смертью и жизнью стерта в балладах Тихонова. То, что происходит в них, выше привычных мерок. Созвучен этому образ погибших пулеметчиков М. Светлова («Двое») — монументальный образ смерти-подвига, ирвственной победы. Жизнь не в силах ничего отнять у них, не в силах умалить их последнего и теперь уже вечного торжества. «Песня об отпускном солдате» 1922 года и «Двое» 1924 года предшествовали «Товарищу Нетте — пароходу и человеку» В. Маяковского (1926).

В наших жилах —
кровь, а не водица,
Мы идем
сквозь револьверный лай,
Чтобы,
умирая,
воплотиться
В пароходы,
в строчки
и в другие долгие дела.

Эта строфа Маяковского как бы вбирает в себя суть романтической концепции подвига и на конкретном материале патетически обобщает ее. И уже влиянием Маяковского отмечена «Песня об убитом комиссаре» И. Уткина (1935).

Влияние баллад Н. Тихонова ощутимо в ранних балладах К. Симонова («Изгнанник», 1939). Это сказывается прежде всего в понимании героического. Только в балладах Симонова есть и черты, резко отличающие их от тихоновских: более четкий, развернутый сюжет, более подробная бытовая детализация. Одновременно в них меньше «жестокости», она снижается лиризмом концовок.

Никак не можем помириться с тем,
Что люди умирают не в постели...

Глубоко лирично и психологически напряженно изображение смерти у Н. Асеева. Обостренное ощущение плотности воздуха, цельности пространства создает почву для метафор. Смерть прежде всего в разрушении привычной связи человека и пространства, причем как для убитого, так и для убийцы («Стихи сегодняшнего дня»).

«Выбивание из пространства» — один из приемов антибытовизма. Молния зовет лирического героя Н. Асеева за город, в мир полузабытой чистоты. Герой ловит молнию за хвост — и в руке у него остается перо жар-птицы («Жар-птица в городе»). Так же через легенду преодолеваются законы повседневности в «Сказании о... летучем голландце» (1922) Э. Багрицкого.

Смерть утрачивает власть над героями легенды, и более того: все, к чему прикасаются они, отмечено знаком небывалого.

Капитан откинул плащ и руку
Протянул. И вот на мокрых досках
Роза жаркая затрепыхалась...
. . . .
И в чаду и в запахе плавучем
Увидали старцы: закипает
В утлой комнате чужое море,
Где крутыми стружками клубится
Пена...

Романтическая концепция смерти и подвига, сближавшая поэтов самых различных группировок, определяла вйдение повседневности: отвращение к быту, тяготение к монументальным образам. Очень близки по духу «Атлантический океан» В. Маяковского (1925) и «Великий океан» И. Сельвинского (1932) как попытка создать монументальный эпический образ неподвластности времени. Утверждение близости внутреннего мира лирического героя и океана — самовластной сферы бытия — накладывает особый отпечаток жизнеутверждения.

Отношение лирического героя к океану близко пушкинскому («К морю»), но сама трактовка океана отличается от классической. Отличается не только характером своей связи с революционной стихией, но и с социальными аналогиями у Маяковского и подчеркнутой красочностью у Сельвинского:

И волны
клянутся
всеводному Цику
оружие бурь
до победы не класть.
И вот победили —
экватору в циркуль
Советов — капель бескрайняя власть.
(В. Маяковский).

Он золотился, роился, мигал,
Пушком по щеке ласкал, колоссальный,
Как будто мимо проносят меха
Голубые песцы с золотыми глазами.
И эта лазурная мглистость несется
В сухих золотниках над мглою глубин,
    Как если б самое солнце
    Стало вдруг голубым.

(И. Сельвинский).

Своеобразие позиции лирического героя, тяготение «я» к слиянию с «мы» толкает поэтов, даже совсем тогда юных, на глубокое осмысление своего места в истории:

Я создавал это племя,
Миру несущее новь,
Я подарил тебе, время,
Молодость, слово и кровь.

(Д. Кедрин.
«Песня о живых и мертвых», 1927).

Смертельная борьба противопоставлена медленному движению обывательского мира в стихотворении Б. Корнилова «Смерть» (1931) как подлинная жизнь и вялое существование. Ужас пронизывает поэта от сознания необходимости жить повседневной суетой: «...весь недолгий век мой — выжат, прожит, // впереди тоска и дребедень».

Существование, главное место в котором занимает еда и сон, отвергается поэтом. Молодость, отданная боям, противостоит тягучей повседневности: «Но нелепо повторять дословно // старой аналогии прием, // мы в конце, тяжелые, как бревна, // над своею гибелью встаем».

С таким отношением к бытию и смерти связана концепция любви.

Поэма В. Маяковского «Люблю» — утверждение самоценного чувства. Не объекта чувств, а именно способности человека любить. Формированием лирического героя, его ростом определена структура поэмы: «Мальчишкой», «Юношей», «Взрослое». Оппозицией «любовь» — «чувственность» Маяковский утверждает необходимость свободы. Не свободы любви, а личной свободы, внутренней независимости, без которой любви не может быть.

Интимное и социальное сливаются у Маяковского воедино. Неразделенная любовь осмысляется как тяжкий груз, и только ответное чувство способно придать любви легкость, сделать ее радостной.

Антибытовизм в двадцатые — тридцатые годы принимает самые причудливые формы — до поэтизации абсурда. Гармоничный набор звуков «Жонглера» В. Каменского подчинен ритму движений артиста. Тесно связан с фольклорной традицией, с языческой архаикой

условный, но до боли ощутимый мир В. Хлебникова, где Ра видит «очи свои в ржавой и красной болотной воде». В этом мире не только слово, но каждый звук уже отдельно значим. Лирическое движение подчинено нередко движению звука, его частотности и характеру перемещения внутри слова:

Лед — белый лист воды.
(«Слово о Эль», 1920).

Более проста игра словами у С. Кирсанова. В стихотворении «Глядя в небо» он составляет неологизмы от слова «дирижабль», передающие удивление и радость. В этой радости — сила власти. Дирижабль — знак технической мощи, символ власти человека над небом. Формирование неологизмов — символ власти человека над звуком:

Серый жесткий дирижабль
ночь на туче пролежабль...

Наследием футуристов становится гротесковость раннего Л. Мартынова («Сон подсолнуха») и Н. Заболоцкого («Меркнут знаки Зодиака»), однако поэтизация необычного более связана с традицией сказки, чем с неожиданным столкновением понятий. Для Мартынова и Заболоцкого равно характерно стирание грани между одушевленными и неодушевленными предметами. В стихах Заболоцкого живой цветок с удивлением смотрит на свое изображение в книге, трепещет «в листах непривычное мысли движенье», и в ответ шевельнулся, ожил рисунок («Все, что было в душе...»). И нет нужды знать, высказана в рисунке «правда цветка» или «в нем заключенная ложь»: есть более высокая правда — правда единства и цельности мира. Целостность, неделимость мира ощущается и в парадоксах Л. Мартынова: «Освобожденное от туч, // Все небо розово и звездно, // Я увидал зеленый луч. // Ищи и ты. Еще не поздно!» («Зеленый луч». 1927).

В творчестве Н. Заболоцкого 20—30-х годов следует выделить два периода: 20-е годы (сборник «Столбцы», 1929) и 30-е годы («Вторая книга», 1937). Видение мира Заболоцким в эти периоды существенно различно. Антибытовизм и антиурбанизм 20-х годов («Ивановы») сменяется в 30-е годы внимательным изучением жизни человека в мире природы. Отношения человека и природы оказываются разорванными, абсурдными в своей неправильности, трагической противоречивости. Но эта противоречивость, становясь новой почвой для парадоксов, ориентирует поэта на поиски приемов передачи изображаемого объекта в его целостности, а не на поиски, как прежде, приемов деформации с выделением в изображаемом каких-то ведущих черт.

«Вещность» образов Заболоцкого, характер передачи движения и пространства аналогичны поискам в живописи, в частности работам М. Шагала и А. Руссо.

Несомненна близость к раннему Заболоцкому Д. Хармса, так же как и Заболоцкий входившего в «Обэриу» («Объединение реального искусства»). Однако от деформации образа Д. Хармс идет не к восстановлению целостности предмета в его трагическом бытии, а к абсурду, что не может не быть связано с обстановкой страха 30-х годов. «Меня интересует жизнь только в своем нелепом проявлении»,— напишет Хармс в 1937 г.[1]

Часы показывали восемь
Железный градусник сверкал.
Средн гостей, в одной рубашке
Петров задумчиво стоял.
Молчали гости. Над камином
Рожок охотничий висел.
Часы таинственно молчали.
Плясал в камине огонек.
Петров задумчиво садился
На табуретку. Вдруг звонок
В прихожей бешено залился,
И щелкнул английский замок.
Петров вскочил и гости тоже.
Рожок охотничий трубит.
Петров кричит: «О боже, боже!»
И на пол падает убит.
И гости мечутся и плачут.
Железный градусник трясут.
Через Петрова с криком скачут
И в двери страшный гроб несут...[2]

(Д. Хармс. «Вариации», 1936).

Абсурдность футуристов и «обэриутов» принципиально иного рода, чем алогизм имажинистов. Имажинисты В. Шершеневич и А. Мариенгоф в основу стиха клали резкое столкновение образов по принципу ассоциаций. Причем образ мог развиваться на протяжении стихотворения (у Мариенгофа) и утрачивать способность к развитию (у Шершеневича). Под манифестом и декларацией имажинистов подписывались С. Есенин и Р. Ивнев, однако их недолго увлекало «выламывание» образа из привычного контекста, оба отказываются от этого направления поисков, оба, так же как и футурист и лефовец Маяковский, возвращаются к «классически» целостному, неразрушимому образу.

[1] В. Глоцер. «Я думал о том, как прекрасно все первое!» Новый мир, 1988, № 4, с. 131.
[2] Новый мир, 1988, № 4, с. 158.

В иной форме проявляется антибытовизм в стихах Б. Пастернака. Усложненность образа в них связана со сложнейшим развитием ассоциаций и с глубоким психологизмом. От 20-х годов к 30-м психологизм постоянно нарастает, оставляя все меньше места ассоциациям «случайным», далеким от стержневого развития образа. Этим путь Пастернака отличается от пути О. Мандельштама, «случайные» ассоциации которого по характеру зачастую не смысловые, а фонетические. Например: «А солнце щурится в крахмальной нищете» («В лицо морозу я гляжу один...»; ассоциация «щурится—нищета»— по созвучию).

«Случайные» ассоциации Мандельштама подчеркивают абсурдность бытия поэта в мире, где зло и насилие необъяснимо соседствуют с героизмом, преданностью и совершенством.

У Пастернака же «вещи рвут с себя личину», освобождая место ливням и снегопадам, движению воздуха и света, а главное — движению времени.

Ассоциативному принципу Пастернака близки экспериментаторские поиски С. Боброва, теоретика «Центрифуги», куда входил и молодой Пастернак. Однако в стихах Боброва отсутствует именно движение времени и среды.

Стремлением опоэтизировать мир определяется и экзотичность аналогий С. Боброва («Ты раздвигаешь золото алоэ...»), и стремление поставить природу выше цивилизации поэтами самых разных группировок от Ф. Сологуба до новых крестьянских поэтов — Н. Клюева, С. Клычкова, С. Есенина.

С. Есенин назвал себя «последним поэтом деревни». В поздней лирике его противоборствуют два начала. Инстинкт самосохранения подсказывает необходимость приятия «каменного и стального», «таинственный» и «древний» мир природы словно гонит навстречу гибели. Внутренний разлад то стихает («Стансы»), то снова вспыхивает («Черный человек»). Отражением внутренней неоднозначности стала «многослойная» форма его стихов, выделение в них самостоятельно значимых лексического, мелодического и цветового планов.

Характерно это для таких стихотворений, как «Отговорила роща золотая...», «Не жалею, не зову, не плачу...». В лексическом плане столкновение образов весны и осени трагично. Буйное цветение сменяется увяданием, минуя расцвет лета, зрелость, саму жизнь. Было яркое вступление и за ним — смерть. Самой жизни не пришло время.

Жизнь моя? иль ты приснилась мне?
Словно я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне.

Все мы, все мы в этом мире тленны,
Тихо льется с кленов листьев медь...

Трагическому смыслу слов противостоит их звучание. Мелодика спокойна, гармонична, напевна. Она как бы опровергает безысходность, подготавливая разрешение трагедийного начала: «Будь же ты вовек благословенно, // Что пришло процвесть и умереть».

Важен в стихах Есенина и цвет, сочетание красок. Есенин — импрессионист:

Не жаль мне лет, растраченных напрасно,
Не жаль души сиреневую цветь.
В саду горит костер рябины красной...

Цветовые контрасты «Сукина сына»: девушка в белом — черная собака, девушка в голубом — черный пес с отливом в синь. Черный с отливом в синь становится контрастно-объединяющим началом для белого и голубого, а ромашковый луг и желтый пруд — живописным фоном.

Поэма Есенина «Черный человек», катастрофичная и глубоко психологическая, основана на традициях Ф. М. Достоевского (Разговор Ивана Карамазова с чертом).

«Черный человек», явившийся поэту,— его нравственно опустошенный двойник. В столкновении поэта с двойником много от пушкинского «Демона»:

Тогда какой-то злобный гений
Стал тайно навещать меня.
. . . .
И ничего во всей природе
Благословить он не хотел.

Такой противоречивости, раздвоенности нет в поздней лирике С. Клычкова. Его образы грустны, но кристально чисты. Прежде родной, мир природы становится все более призрачным, но он не гибнет, а превращается в поэзию. «Здесь сквозь туман синеют села, // Пылает призрачная Русь. // Останься ж здесь в плену веселом // В лесу, у голубой Улюсь» («Улюсь»). Как высшая ценность принимаются Клычковым любовь и скитания. Но на всем — элегическая печать внутренней завершенности:

Земная светлая моя отрада,
О птица золотая — песнь,
Мне ничего, уж ничего не надо,
Не надо и того, что есть.

Немало места в литературе этого периода занимает тема странствия, поэтизация скитаний. Например, «Запахло вагонной печкой...» С. Маршака и «Северная песня» К. Симонова.

Образ дороги в стихах Маршака 20-х годов двойственный. С одной стороны, это воплощение идеи освобождения («Запахло вагон-

ной печкой»). Таким же было осмысление дороги Г. Гейне («Когда тебя женщина бросит,— забудь...», переведенное самим же Маршаком), таким оно будет у К. Симонова («Северная песня», 1938—1939). С другой стороны, этот образ — выражение движения самой жизни, условий ее незаметного перехода в небытие:

Полустанка свет и шорох
Будут длиться пять минут,
Но в больших немых просторах
Ночи жизни пробегут.

(«После яркого вокзала...», 1922).

Такое осмысление пути получит развитие уже в послевоенной лирике:

Секундная стрелка бежит что есть мочи
Путем неуклонным своим.
Так поезд несется просторами ночи,
Пока мы за шторами спим.

(«И поступь и голос у времени тише...», 1945).

Более романтизирована «скитальческая» тема у Р. Ивнева. Жажда приключений явно преобладает над внутренней потребностью освобождения («В пути», 1928).

В поздней лирике Н. Гумилева две красоты противопоставлены друг другу: вещная и духовная. Одна дает радость телу, другая изнуряет душу, внушая слабым мистический страх («Звездный ужас»), а сильным — обещая чудо шестого чувства («Шестое чувство»):

Прекрасно в нас влюбленное вино
И добрый хлеб, что в печь для нас садится,
И женщина, которою дано,
Сперва измучившись, нам насладиться.

Но что нам делать с розовой зарей
Над холодеющими небесами,
Где тишина и неземной покой,
Что делать нам с бессмертными стихами?

Но у этой тенденции был и иной лик: возможность развития апокалипсических мотивов.

Почва для таких мотивов была в реальной жизни. В основе катастрофического цикла М. Волошина «Путями Каина» лежит неприятие технической цивилизации, выхолащивающей живую душу и вовлекающей человечество в бездну войн. Пятно первого в мире убийства несмываемо. «Кровь — первый знак земного мятежа, и знак второй — Раздутый ветром факел». Раздел «Суд», композиционно

последний, написан поэтом еще в 1915 году и становится откликом на события первой мировой войны.

Вдруг
Призыв Архангела,
Насквозь сверкающий
Кругами медных звуков,
Потряс вселенную...

Завершался цикл в начале 20-х годов, вобрав в себя опыт братоубийственной гражданской.

Не справедливость ли была всегда
Таблицей умноженья, на которой
Труп множили на труп...
(«Меч»).

И вот человек подчиняется уже не велению матери-природы, а влиянию парового котла («Пар»). Волошин рисует гротесковую фигуру человека, созданного по образу и подобию котла, «украшенного клепками», с цилиндром-трубой на голове, с руками, просунутыми в трубы, человека с паром вместо души.

Собственно, Суд уже не нужен человеку, цивилизованному котлом. Тем не менее страшная минута настает:

Настало
Великое молчанье,
В шафранном
И тусклом сумраке земля лежала
Разверстым кладбищем.
(«Суд»).

Жуткие картины «Потомков Каина» противостоят в творчестве Волошина прекрасным пейзажам Киммерии: «Фиалки волн и гиацинты пены // Цветут на взморье около камней. // Цветами пахнет соль...» — и полная чувством единства с прекрасной Вечностью, «не жаждет сердце перемены // И не торопит преходящий миг» («Фиалки волн и гиацинты пены»). Иная судьба ждет детей цивилизации, путь которых прослежен от открытия огня до полного уничтожения.

Реакцией на безжалостное уничтожение патриархальной деревни становится и поэма Н. Клюева «Погорельщина».

Мир, обреченный на разрушение, предстает в целостном единстве, в полной гармонии материи и духа, природы и человека, быта и искусства, христианства и язычества.

Гибель грядет внезапно, как судьба. Резчик Олеха высекает птицу с девичьим лицом, и вдруг мимо проходит медведь с гривной на шее и золотой книгой в пасти. Дерево наливается кровью, птица оживает — и оказывается алконостом, птицей смерти.

Смерть властвует над прекрасным миром. В ужасе бегут кони с плетеных кружев. С икон умчался святой Георгий, а змеи расползаются повсюду. Голод и смерть кругом, и уже съеден безвинный младенец Васятка, тени святых покидают Сиговец, и видением стоит в огне церковь с разверстым куполом и возносящимися в огне святыми. Поэту является птица радости Сирин, но двулик этот Сирин, как двузначно бытие человека.

Как некогда автор «Слова о Полку Игореве», взывает автор «Погорельщины» ко всей России:

Из мрака всплыли острова,
В девичьих бусах заозерья,
С морозным Устюгом Москва,
Валдай — ямщик в павлиньих перьях,
Звенигород, где на стенах
Клюют пшено струфокамилы,
И Вологда, вся в кружевах,
С Переславлем белокрылым.
За ними Новгород и Псков —
Зятья в кафтанах атлабасных,
Два лебедя на водах ясных —
С седою Ладогой Ростов.
Изба резная — Кострома,
И Киев — тур золоторогий
На цареградские дороги
Глядит с Перунова холма!

И плач Клюева по деревне Сиговый Лоб превращается в плач о России.

Но прошлое как синь туман:
Не мыслит вешний жаворонок,
Как мертвен снег и ветер звонок.

Тем временем уже до Москвы дошли отощавшие ходоки погибающего Великого Сига:

...Поведайте, добрые люди,
Жалея лесной народ,
Здесь ли с главой на блюде,
Хлебая железный студень,
Иродова дщерь живет?

Ей, вытребовавшей голову Иоанна Крестителя, они как дань принесли другую голову — голову Спасителя, священную икону:

Чай, перед Светлым Спасом
Блудница не устоит...

Два мира сошлись лицом к лицу, два времени:

Выла улица каменным воем,
Глотая двуногие пальто:
«Оставьте нас, пожалуйста, в покое!..»
«Такого треста здесь не знает никто!..»
«Граждане херувимы, прикажите авто?!»
«Позвольте, я актив из КИМа!..»
«Это експонаты из губздрава!..»
«Милиционер, поймали херувима!..»

И над образом бестолковой суеты поднимается призрачное видение другого города — града мифического:

На синих лугах меж белых стад.
Стена у города кипарисова,
Врата же из скатного бисера.

Града, в который не войти.

Характерен в этом аспекте образ века в стихах О. Мандельштама 20-х годов. Образ века с перебитым позвоночником, века, захлебывающегося кровью в льющемся с лазурного неба безразличии («Век», 1922).

Высоким трагизмом насыщен «Requiem» (1935—1940) А. Ахматовой, поэма-дневник, поэма тоски и отчаяния:

Звезды смерти стояли над нами,
И безвинная корчилась Русь
Под кровавыми сапогами
И под шинами черных марусь.

Глубина страдания Ахматовой-матери как бы втягивает в себя боль множества других женщин: матерей, жен, дочерей. Обращением к ним начинается и завершается поэма.

Опять поминальный приблизился час.
Я вижу, я слышу, я чувствую вас:
И ту, что едва до окна довели,
И ту, что родимой не топчет земли,
И ту, что, красивой тряхнув головой,
Сказала: «Сюда прихожу, как домой!»
Хотелось бы всех поименно назвать,
Да отняли список, и негде узнать.
Для них соткала я широкий покров
Из бедных, у них же подслушанных слов.

Из вереницы женщин в бесконечных тюремных очередях Ахматовой выделена одна. Узнав, что рядом с ней — поэтесса, она очнулась от оцепенения и шепнула голубыми губами: «А это вы можете описать?»

«И я сказала:
— Могу.

Тогда что-то вроде улыбки скользнуло по тому, что некогда было ее лицом».

Этот образ открывает поэму «Вместо предисловия».

Подготовлен этот образ эпиграфом:

. . . .
Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был.

Тема горя расширяется безмерно обращением к историческим аналогам («Буду я, как стрелецкие женки, // Под кремлевскими башнями выть») и к мотивам Евангелия («Распятие»). Лирико-драматическое развитие достигает кульминации в разделе «К смерти»:

Уже безумие крылом
Души накрыло половину,
И поит огненным вином,
И манит в черную долину.

И нет иного выхода боли, кроме смерти.
Иного нет и у О. Мандельштама.

Петербург, у меня есть еще адреса,
По которым найду мертвецов голоса.
Я на лестнице черной живу, и в висок
Ударяет мне вырванный с мясом звонок.

И всю ночь напролет жду гостей дорогих,
Шевеля кандалами цепочек дверных.

(«Я вернулся в мой город, знакомый до слез...»)

Проникновение в современность у Мандельштама нередко требует «отправной точки». Поэт бросает первый взгляд на мир из времен рыцарских легенд, из песен Оссиана:

За гремучую доблесть грядущих веков,
За высокое племя людей
Я лишился и чаши на пире отцов,
И веселья, и чести своей.

Образ века-волкодава предельно реальный, но предшествующая строфа придает ему обобщенное звучание. Трагически значимо неслияние поэта с веком и жажда исхода — любого — из неопределенности.

Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей,
Запихай меня лучше, как шапку, в рукав
Жаркой шубы сибирских степей.

И снова за жуткой реальностью встает образ средневековья; но красота девственной природы неизменно противостоит ему:

Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы,
Ни кровавых костей в колесе,
Чтоб сияли всю ночь голубые песцы
Мне в своей первобытной красе.

И если смерть, то там, а не здесь, в мире зла и грязи:

Уведи меня в ночь, где течет Енисей
И сосна до звезды достает,
Потому что не волк я по крови своей
И меня только равный убьет.

Образ звезды над енисейской сосной из стихотворения Мандельштама «За гремучую доблесть грядущих веков...» (1931) переходит органично в «Requiem» Ахматовой:

Мне все равно теперь. Клубится Енисей,
Звезда Полярная сияет.
И синий блеск возлюбленных очей
Последний ужас застилает.

(1939).

И вот пророческими оказываются строки М. Кузмина:

Все, что от смерти, ляг на дно
(В колодце ль видны звезды, в небе ль?),
Былой лозы прозрачный стебель
Мне снова вывести дано.
Кора и розоватый цвет —
Все восстановлено из праха.
Кто тленного не знает страха,
Тому уничтоженья нет.

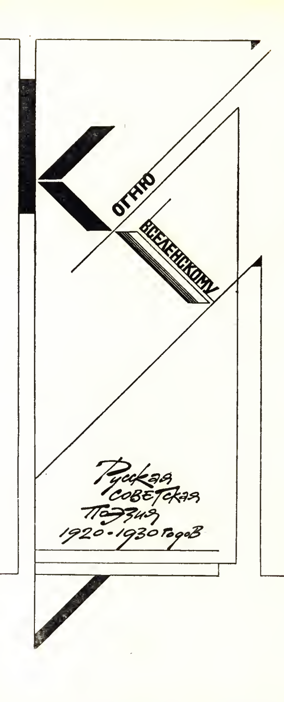
(«Искусство»).

Противоборство жизни и смерти, свободы вдохновения и отречение художника от самого себя во имя иллюзий или житейского благополучия — такой видится сегодня поэзия 20—30-х годов. Поэзия, рожденная эпохой, сверкавшей открытиями и омраченной преступлениями.

Человек изначально тянулся к огню. Вселенский огонь Эдуарда Багрицкого — символ новой истины, воплощенной в новом искусстве. Демоническое пламя террора всего лишь заслонило, но не поглотило этот огонь.

Е. Грекова




К
ОГНЮ
ВСЕЛЕНСКОМУ
Русская
советская
поэзия
1920-1930 годов

Александр Блок

СКИФЫ

> Панмонголизм! Хоть имя дико,
> Но мне ласкает слух оно.
>
> *Владимир Соловьев*

Мильоны — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы.
Попробуйте, сразитесь с нами!
Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы,
С раскосыми и жадными очами!

Для вас — века, для нас — единый час.
Мы, как послушные холопы,
Держали щит меж двух враждебных рас
Монголов и Европы!

Века, века ваш старый горн ковал
И заглушал грома лавины,
И дикой сказкой был для вас провал
И Лиссабона, и Мессины!

Вы сотни лет глядели на Восток,
Копя и плавя наши перлы,
И вы, глумясь, считали только срок,
Когда наставить пушек жерла!

Вот — срок настал. Крылами бьет беда.
И каждый день обиды множит,
И день придет — не будет и следа
От ваших Пестумов, быть может!

О, старый мир! Пока ты не погиб,
Пока томишься мукой сладкой,
Остановись, премудрый, как Эдип,
Пред Сфинксом с древнею загадкой!

Россия — Сфинкс. Ликуя и скорбя,
И обливаясь черной кровью,

Она глядит, глядит, глядит в тебя,
    И с ненавистью, и с любовью!..

Да, так любить, как любит наша кровь,
    Никто из вас давно не любит!
Забыли вы, что в мире есть любовь,
    Которая и жжет, и губит!

Мы любим всё — и жар холодных числ,
    И дар божественных видений,
Нам внятно всё — и острый галльский смысл,
    И сумрачный германский гений...

Мы помним всё — парижских улиц ад,
    И венецьянские прохлады,
Лимонных рощ далекий аромат,
    И Кельна дымные громады...

Мы любим плоть — и вкус ее, и цвет,
    И душный, смертный плоти запах...
Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет
    В тяжелых, нежных наших лапах?

Привыкли мы, хватая под уздцы
    Играющих коней ретивых,
Ломать коням тяжелые крестцы
    И усмирять рабынь строптивых...

Придите к нам! От ужасов войны
    Придите в мирные объятья!
Пока не поздно — старый меч в ножны,
    Товарищи! Мы станем — братья!

А если нет,— нам нечего терять,
    И нам доступно вероломство!
Века, века — вас будет проклинать
    Больное позднее потомство!

Мы широко по дебрям и лесам
    Перед Европою пригожей
Расступимся! Мы обернемся к вам
    Своею азиатской рожей!

Идите все, идите на Урал!
    Мы очищали место бою
Стальных машин, где дышит интеграл,
    С монгольской дикою ордою!

Но сами мы — отныне вам не щит,
Отныне в бой не вступим сами,
Мы поглядим, как смертный бой кипит,
Своими узкими глазами.

Не сдвинемся, когда свирепый гунн
В карманах трупов будет шарить,
Жечь города, и в церковь гнать табун,
И мясо белых братьев жарить!..

В последний раз — опомнись, старый мир!
На братский пир труда и мира,
В последний раз на светлый братский пир
Сзывает варварская лира!

30 января 1918



Надежда Павлович

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ АЛЕКСАНДРЕ БЛОКЕ

(Отрывки из поэмы)

МОСКВА, МАЙ 1920 ГОДА

(В Политехническом музее)

Почти такой, как мы, но не такой,
Он проще был, печальнее и строже:
На шкипера норвежского похожий,
Как долг, хранил он вечный непокой.

Еще не появилась седина,
Но волосы темнели и редели,
И посерела глаз голубизна,
А губы сжались, точно онемели.

Почти такой, как мы, он вышел к нам.
С какой любовью мы его встречали!
Он стал читать: как ветер, по рядам
Пронесся вздох в огромном темном зале.

Он был, как все: и серенький костюм,
И тайное волненье на эстраде...
Он только был по-своему угрюм,
И боль и свет в тяжелом взгляде.

А голос горький звал тебя на суд,
Чтоб никуда ты не посмел укрыться,
Чтоб не спасли ни дружба, ни уют
От грозной думы этого сновидца.

Меня к нему повел тогда Княжнин,
Его приятель старый. Тихо встал он.
Но как смогу заговорить я с ним,
С таким большим, о детски малом!

А он был прост и ласков. Он сказал,
Что в Петрограде встретимся мы снова,
Что он вчера мои стихи читал,
Что отзвуки услышал он родного;

Что хочет он со мною говорить,
Но здесь, сейчас, он говорить не может...
И никогда мне голос не забыть —
Глухой, осенний, на него похожий.

«О ДОБЛЕСТЯХ, О ПОДВИГАХ, О СЛАВЕ...»

— «Мне снилось, ты гибнешь в смертельном бою,
Ты с каждой зарею бледней.
Я в поле пустынном березой стою,
Вся в шепоте смутном ветвей.

Ты бился, и падал, и снова вставал
Под ломкие звоны меча.
Над камнем горючим мой ствол просиял,
Как белая божья свеча.

И милых на помощь ты звал, но они
В пустыню не знали путей.
Лишь в листьях моих загорались огни
Над трудной судьбою твоей...»

. . . .

— Кому вы это написали? — Вам.—
Мелькнула тень страданья и печали.
— Да! Я один. Вы правду мне сказали.
И смерть уже близка. Я знаю сам.

А в юности казалось в глубине,
Что наделен я лермонтовской силой,
И чувство непреложно говорило,
Что светлый подвиг был завещан мне.

Но жизнь прошла в страстях, в тоске и вздоре,
На то, что до́лжно, не хватило сил...
И час возмездья бьет — он сух и горек...
И все ж я не забыл, не изменил.

. . . .

Так бережно, как молодость свою,
Раскрыл стихи он о Прекрасной Даме.
— Здесь мой дневник, написанный стихами,
И только это я еще люблю.

МАТЬ

Мать думает с тревогой о простуде,
О том, что не простился второпях.
А он уйдет и обо всем забудет,
И свет не наш в его больших глазах.

Но мать все мать, и смотрит на дорогу,
Когда на заседанье он идет:
Вернется весел — вот и слава богу,
Вернется грустен — и она вздохнет.

Кругом потоп. А мать хранит порядок:
Прибор и скатерть. Ждет его обед...
Торцами топят печи Петрограда,
Как хлеб, бесценный отпускают свет.

И день за днем сын переводит Гейне,
И кажется, что в юношеском сне
Он видит берег виноградный Рейна
И розовую девушку в окне.

Но холодно и пусто в этом доме —
Он в сердцевине выгорел дотла.
В тяжелой зимней непробудной дреме
Тоскует мать, склонившись у стола.

Мы ждем его. И наконец он входит.
Как четок мерный стук его шагов!
Сегодня целый день он переводит,
Давно своих не пишет он стихов.

И жмется к печи, словно от озноба,
И хмуро смотрит на меня, на мать.
— Я и не думал, чтобы так могло быть...
Своих стихов мне, видно, не писать!

Но мать все мать! И сладко пахнет елка
Стихами, детством, Любой, Рождеством,
И сыплются зеленые иголки,
Сухим и нежным падая дождем.

— Вот Гофман, Тик, Новалис и Брентано!
Величье? Нет! В таких величья нет.
Но кое-что увидели в туманах,
И снится нам их полуночный бред.

А Гейне? Слушайте его секреты!
В стихе немецком он всегда еврей.
Там звук древнейшей песни недопетой
И скрытый шелест пальмовых ветвей.

И Гейне плачет, плачет и смеется...
«Vergiftet!» — слышите вы этот звук?!
Ползет, отравлен! В лихорадке бьется
И с воплем вырывается из рук...

Как передать неистовство такое!..
А я не помню, как стихи писать! —
Встает и снова с хмурою тоскою
Глядит он на склонившуюся мать.

Ушел к себе. Стоит теперь, быть может,
У белого морозного окна.
Уже ничто на свете не поможет:
Ни бог, ни мать, ни дружба, ни жена!

. . . .

А за стеной соседом непутевым
Балтийский статный молодой матрос.
Один из тех, что «ко всему готовы»,
И синь в глазах, и золото волос...

Поет он песни, девушек приводит,
Порою пьет, и страшен Шурка, пьян;
Тогда за ним с тяжелой силой входит
Балтийский ветер, стужа и туман.

А Блок стоит с печалью молчаливой.
Матрос поет, и песня так ясна,
Как синего весеннего залива
Дугою синей вставшая волна.

И любит Блок простую песню эту,
Как будто в зимний день должна она
Напомнить замолчавшему поэту,
Что так поет родная сторона.

МЕТЕЛЬ

Косой, косой косматый снег,
Он тучей шел косой,
Почти в бреду, почти во сне,
Он падал полосой.

У мостика горбатого
Всю ночь метель кружит,
Фонарик соглядатаем,
Свидетелем стоит.

И мотыльком на свет летит,
Летит, не тает снег...
Со мной идет, на снег глядит
Высокий человек.

Тоской черты обточены
Прекрасного лица.
Сугробы по обочинам,
И вьюге нет конца.

— Как рухнул мир, я услыхал,
Три дня гремел обвал,
И трубный вопль не умолкал...
«Двенадцать» я писал.

Фонарь за снегом впереди.
За нами темнота.
Он руку сжал мою: — Гляди!
Я так видал Христа:

Идут двенадцать человек,
Он впереди идет.
Я не поверил: это снег
Свивается, метет.

Я не поверил,— снег кружил...
Но вижу венчик роз,
Но, к сожаленью, это был
Действительно Христос.

И я, я должен был сказать...
Тот грохот шел три дня.
С тех пор уж больше не слыхать
Ни ночи мне, ни дня.

Но пусть я больше не пишу,
Все стихло для меня,—
Я этот звук в себе ношу,
Как свет его храня.

У Киплинга есть «Свет погас»,—
Там слепнет человек...
Ко мне пришел такой же час,
И я оглох навек!

Хожу ни мертвый, ни живой
Я средь живых людей...
. . . .

За пеленою снеговой
Все тот же снеговей.

1939—1946



Валерий Брюсов

* * *

Я вырастал в глухое время,
Когда весь мир был глух и тих.
И людям жить казалось в бремя,
А слуху был не нужен стих.

Но смутно слышалось мне в безднах
Невнятный гул, далекий гром,
И топоты копыт железных,
И льдов тысячелетних взлом.

И я гадал: мне суждено ли
Увидеть новую лазурь,
Дохнуть однажды ветром воли
И грохотом весенних бурь.

Шли дни, ряды десятилетий.
Я наблюдал, как падал плен.
И вот предстали в рдяном свете,
Горя, Цусима и Мукден.

Год Пятый прошумел, далекой
Свободе открывая даль.
И после гроз войны жестокой
Был Октябрем сменен февраль.

Мне видеть не дано, быть может,
Конец, чуть блещущий вдали,
Но счастлив я, что был мной прожит
Торжественнейший день земли.

Март 1920

ПАРКИ В МОСКВЕ

Ты постиг ли, ты почувствовал ли,
Что как звезды на заре,
Парки древние присутствовали
В день крестильный, в Октябре?

Нити длинные, свивавшиеся
От Ивана Калиты,
В тьме столетий затерявшиеся.
Были в узел завиты.

И, когда в Москве трагические
Залпы радовали слух,
Были жутки в ней — классические
Силуэты трех старух.

То народными пирожницами,
То крестьянками в лаптях,
Пробегали всюду — с ножницами
В дряхлых, скорченных руках.

Их толкали, грубо стискивали,
Им пришлось и брань испить,
Но они в толпе выискивали
Всей народной жизни нить.

И на площади,— мне сказывали,—
Там, где Кремль стоял как цель,
Нить разрезав, цепко связывали
К пряже — свежую кудель.

Чтоб страна, борьбой измученная,
Встать могла, бодра, легка,
И тянулась нить, рассученная
Вновь на долгие века!

5 октября 1920

РОССИИ

В стозарном зареве пожара,
Под ярый вопль вражды всемирной,
В дыму неукрощенных бурь,—
Твой облик реет властной чарой:

Венец рубинный и сапфирный
Превыше туч пронзил лазурь!

Россия! в злые дни Батыя,
Кто, кто монгольскому потопу
Возвел плотину, как не ты?
Чья, в напряженной воле, выя,
За плату рабств, спасла Европу
От Чингисхановой пяты?

Но из глухих глубин позора,
Из тьмы бессменных унижений,
Вдруг, ярким выкриком костра,—
Не ты ль, с палящей сталью взора,
Взнеслась к державности велений
В дни революции Петра?

И вновь, в час мировой расплаты,
Дыша сквозь пушечные дула,
Огня твоя хлебнула грудь,—
Всех впереди, страна-вожатый,
Над мраком факел ты взметнула,
Народам озаряя путь.

Что ж нам пред этой страшной силой?
Где ты, кто смеет прекословить?
Где ты, кто может ведать страх?
Нам — лишь вершить, что ты решила,
Нам — быть с тобой, нам — славословить
Твое величие в веках!
1920

ТРЕТЬЯ ОСЕНЬ

(1917—1920)

Вой, ветер осени третьей,
Просторы России мети.
Пустые обшаривай клети,
Нищих вали по пути;

Догоняй поезда на уклонах,
Где в теплушках люди гурьбой
Ругаются, корчатся, стонут,
Дрожа на мешках с крупой;

Насмехайся горестным плачем,
Глядя, как голод, твой брат,
То зерно в подземельях прячет,
То душит грудных ребят;

В городах, бесфонарных, беззаборных,
Где пляшет Нужда в домах,
Покрутись в безлюдии черном,
Когда-то шумном, в огнях;

А там, на погнутых фронтах,
Куда толпы пришли на убой,
Дым расстилай к горизонтам,
Поднятый пьяной пальбой!

Эй, ветер с горячих взморий,
Где спит в олеандрах рай,
Развевай наше русское горе,
Наши язвы огнем опаляй!

Но вслушайся: в гуле орудий,
Под проклятья, под вопли, под гром,
Не дружно ли, общею грудью,
Мы новые гимны поем?

Ты, летящий с морей на равнины,
С равнин к зазубринам гор,
Иль не видишь: под стягом единым
Вновь сомкнут древний простор!

Над нашим нищенским пиром
Свет небывалый зажжен,
Торопя над встревоженным миром
Золотую зарю времен.

Эй, ветер, ветер! поведай,
Что в распрях, в тоске, в нищете,
Идет к заповедным победам
Вся Россия, верна мечте;

Что прежняя сила жива в ней,
Что, уже торжествуя, она
За собой все властней, все державней
Земные ведет племена!

7 октября 1920

ОДНО ЛИШЬ

Я ль не искал под бурей гибели,
Бросая киль в разрез волны,
Когда, гудя, все ветры зыбили
Вкруг черный омут глубины?

Не я ль, смеясь над жизнью старящей,
Хранил всех юных сил разбег,
Когда сребрил виски товарищей,
Губя их пыл, предсмертный снег?

Ах, много в прошлом — листья спадшие —
Друзей, любовниц, книг и снов!
Но вновь в пути мне братья младшие
Плели венки живых цветов.

За кругом круг сменив видения,
Я к новым далям страсть донес,
Пью грозы дней земных, не менее,
Чем прежде, пьян от нежных слез.

К чему ж судьбой, слепой прелестницей,
В огне и тьме я был храним,
И долгих лет спиральной лестницей
В блеск молний вышел, невредим?

Одно лишь знаю: дальше к свету я
Пойду, впивая гром опять,
Ловя все миги и не сетуя,
Отцветший час бросая вспять.

9 января 1921

ОКЛИКИ

ЧЕТВЕРТЫЙ ОКТЯБРЬ

Окликаю Коршуна в пустыне:
— Что летишь, озлоблен и несмел? —
«Кончен пир мой! более не стынет
Труп за трупом там, где бой гремел!»

Окликаю Волка, что поводит
Сумрачно зрачками: — Что уныл? —
«Нет мне места на пустом заводе:
Утром колокол на нем звонил».

Окликаю Ветер: — Почему ты
Вой ведешь на сумрачных ладах? —
«Больше мне нельзя в годину смуты
Раздувать пожары в городах!»

Окликаю Зиму: — Эй, старуха!
Что твоя повисла голова? —
«Плохо мне! Прикончена разруха,
Всюду мне в лицо трещат дрова».

Чу! гудок фабричный! чу! взывают
Свистом, пролетая, поезда.
Красные знамена обвивают
Русь былую, словно пояса.

Что грозило, выло и рычало,
Все притихло, чуя пятый год.
Люди, люди! Это лишь начало.
Октября четвертого приход!

Из войны, из распрь и потрясений
Все мы вышли к бодрому труду;
Мы куем, справляя срок весенний,
Новой жизни новую руду.

Кто трудился, всяк на праздник прошен!
Путь вперед — роскошен и широк.
Это — зов, что в глубь столетий брошен,
Это — наше право, это — рок!

25—30 октября 1921

* * *

Последние дымы войны
Еще стелются в газетах.
Вековечные сны
Плоть принимают в декретах.
В каждом дне — затаенный гром,
И на все кругом
Новая маска надета.
А где-то,
В переулке,
На продажу заколоты белые булки,
Из корзины таращит глаза сирень,
А ночью в сквере,

Прижавшись в тень,
Двое бессонных
Влюбленных
Открывают Америки.

1921

ГРЯДУЩИЙ ГИМН

Солнце летит неизмерной орбитой,
Звезды меняют шеренгами строй...
Что ж, если что-то под солнцем разбито?
Бей, и удары удвой и утрой!

Пал Илион, чтобы славить Гомеру!
Распят Христос, чтобы Данту мечтать!
Правду за вымысел! меру за меру!
Нам ли сказанья веков дочитать!

Дни отбушуют, и станем мы сами
Сказкой, виденьем в провале былом.
Кем же в столетья войдем? голосами
Чьими докатится красный псалом?

Он, нам неведомый, встанет, почует
Истину наших разорванных дней,—
То, что теперь лишь по душам кочует,
Свет, что за далью полней и видней.

Станут иными узоры Медведиц,
Станет весь мир из машин и из воль...
Все ж из былого, поэт-сердцеведец,
Гимн о былом — твой — восславить позволь!

Ноябрь 1921

МИР ЭЛЕКТРОНА

Быть может, эти электроны —
Миры, где пять материков,
Искусства, знанья, войны, троны
И память сорока веков!

Еще, быть может, каждый атом —
Вселенная, где сто планет;
Там всё, что здесь, в объеме сжатом,
Но также то, чего здесь нет.

Их меры малы, но все та же
Их бесконечность, как и здесь;
Там скорбь и страсть, как здесь, и даже
Там та же мировая спесь.

Их мудрецы, свой мир бескрайный
Поставив центром бытия,
Спешат проникнуть в искры тайны
И умствуют, как ныне я;

А в миг, когда из разрушенья
Творятся токи новых сил,
Кричат, в мечтах самовнушенья,
Что бог свой светоч загасил!

13 августа 1922

* * *

Созвучья слова не случайны!
Пусть связь речений далека,
В ней неразгаданные тайны
Всегда живого языка.

К словам от слов, от мысли к мысли
Сплетенье верных рифм ведет;
И строфы, как гирлянды, свисли
Над глубиной прозрачных вод.

В заветной правде отражений
Удвоены, углублены —
Все истины земных стремлений,
Все наши праведные сны.

Поэт, живи в волнах созвучий,
Лови их радость на лету,
Чтоб, в звонких песнях, стих певучий
Замкнул крылатую мечту.

Ограждена двоякой гранью,
Бессмертью возвращенный прах,
Она смущенному сознанью
Сияет радугой в веках!

1922



Андрей Белый

* * *

Июльский день: сверкает строго
Неовлажненная земля.
Непрерывная дорога.
Непрерывные поля.
А пыльный, полудневный пламень
Немою глыбой голубой
Упал на грудь, как мутный камень,
Непререкаемой судьбой.

Недаром исструились долы
И облака сложились в высь.
И каплей теплой и тяжелой,
Заговорив, оборвались.
С неизъяснимостью бездонной,
Молочный, ломкий, молодой,
Дробим волною темнолонной,
Играет месяц над водой.
Недостигаемого бега
Недостигаемой волны
Неописуемая нега
Неизъяснимой глубины.

1920

ВСТАВАЙ

В черни людского разроя
Встал параличный трамвай;
Многоголового роя
Гул: «Подымайся... Вставай...»

Стекла каменьями бьются:
Клочья кровавых знамен
С площади в улицы вьются,—
В ворохи блеклых времен.

Улица прахами прядит,—
Грохнет сердитым свинцом;
Ворон охрипнувший сядет
Над восковым мертвецом.

1907, 1925

ГОРОД

Выпали желтые пятна.
Охнуло, точно в бреду:
Загрохотало невнятно:
Пригород — город... Иду.

Лето... Бензинные всхлипы.
Где-то трамвай тарахтит.
Площади, пыльные липы,—
Пыли пылающих плит,—

Рыщут: не люди, но звери;
Дом, точно каменный ком,—
Смотрится трещиной двери
И чернодырым окном.

1907, 1925

ДЕКАБРЬ

Накрест патронные ленты...
За угол шаркает шаг...
Бледные интеллигенты...
— «Стой: под воротами — враг!»

Злою щетиной, как ежик,
Серый ощерен отряд...
— «Стой!..» Откарманенный ножик.
— «Строй арестованных в ряд!»

Вот, под воротами,— в стену
Вмятою шапкой вросли...
Рот, перекошенный в пену...
Глаз, дико брошенный... Пли

Вцеплены в пепельном снеге
Пятна расстрелянных тел...
Издали — снизились в беге:
Лицами — белы, как мел.

Улица... Бледные блесни...
Оторопь... Задержь... Замин...
Трески и дребездень Пресни...
Гулы орудия...—
— Мин!

1908, 1925

* * *

Снег,—в вычернь севшая, слезеющая мякоть;
Куст — почкой вспухнувшей овеян, как дымком.
Как упоительно калошей лякать в слякоть,—
Сосвистнуться с весенним ветерком.

Века, а не года,— в расширенной минуте;
Восторги — в воздухом расширенной груди...
В пересерениях из мягкой, млявой мути,—
Посеребрением на нас летят дожди.

Взломалась, хлынула,— в туск, в темноту тумана —
Река, раздутая легко и широко.
Миг, и просинится разливом океана,
И щелкнет птицею... И будет —
— солнышко́!

1926

* * *

Мигнет медовой желтизною скатов;
Пахнет в окно сосною смоляной;
Лимонна — бабочка... И томно матов
Над голубем голубизною зной.

Из-за чехла — мельканье мелкой моли;
Из сердца — слов веселый перещелк.
Мне не к лицу лирические роли;
Не подберешь безу́толочи толк.

Я над собой — песчанистою дюной —
В который раз пророс живой травой!
Вспорхнув, веду,— нелепо, глупо, юно,—
В который раз — напев щеглячий свой.

В который раз мне и близки, и милы,—
Кустов малиновые листики,
Целительно расплéщенные силы
И длительно облещенные дни.

В который раз мне — из меня — дохнула
Сознанию незнаемая мощь,—
Волной неумолкаемого гула,
Парной жарой и птичьим щелком рощ.
1926

ДЕМОН

Из струй непеременной Леты
Склоненный в день, пустой и злой,—
Ты — мóрочная тень планеты;
Ты —
— шорох,—
вылепленный мглой!

Блистай в мирах, как месяц млечный,
Летая мертвой головой!
Летай, как прах,— как страх извечный
Над этой —
— бездной —
— роковой!

Смотри, какая тьма повисла!
Какой пустой покой окрест!
Лишь, как магические числа,—
Огни —
— магические —
— звезд...

Как овцы, пленные планеты,
Всё бродят в óрбитах пустых...
Хотя бы взлетный огнь кометы!
Хотя бы —
— мимолетный —
— вспых!

Всё вспыхнуло: и слух, и взоры...
Крылоподобный свет и гул:
И дух,— архангел светоперый —
Кометой —
— небеса —
— проткнул!

И — чуждый горнему горенью —
В кольцо отверженных планет —
Ты пал, рассерженною тенью,
Лицом —
— ощуренным —
— на свет.

1929

СУМАСШЕДШИЙ

Я — убежавший царь;
Я — сумасшедший гений...
Я, в гаснущую гарь
Упавши на колени,—

Всё тем же дураком
Над срывом каменистым
Кидался колпаком
С заливистым присвистом;

Влез на трухлявый столп
В лугах, зарей взогненных;
И ждал народных толп
Коленопреклоненных.

Но вышли на луга,
В зубах сжимая розы,
Мне опустив рога,
Испуганные козы.

В хмуреющую синь
Под бредящим провидцем—
Проблеяли: «Аминь!»
Пристукнули копытцем.

Август 1903, 1931

Федор Сологуб

* * *

В стихийном буйстве жизни дикой
Бесцельно, суетно спеша,
Томясь усталостью великой,
Хладеет бедная душа.

Замкнись же в тесные пределы,
В труде упорном отдохни,
И думы заостри, как стрелы,
И разожги свои огни.

23 мая 1920
Москва

* * *

Не свергнуть нам земного бремени.
Изнемогаем на земле,
Томясь в сетях пространств и времени,
Во лжи, уродстве и во зле.

Весь мир для нас — тюрьма железная,
Мы — пленники, но выход есть.
О родине мечта мятежная
Отрадную приносит весть.

Поднимешь ли глаза усталые
От подневольного труда —
Вдруг покачнутся зори алые,
Прольется время, как вода.

Качается, легко свивается
Пространств тяжелых пелена,
И, ласковая, улыбается
Душе безгрешная весна.

24 мая 1920
Москва

* * *

Птичка ннзко над рекою
Пронеслась, крылом задела
Всколыхнувшуюся воду
И лазуриою стезею
Снова быстро полетела
На простор и на свободу.

Ветер вольный, быстролетный
На дороге взвеял пылью,
Всколыхнул кусты и воду
И помчался, беззаботный,
Над земною скучиой былью
На простор и на свободу.

Людям песенку сложнл я,
Словно лодочку столкиул я
С отмели песочной в воду,
И о песне позабыл я,
И опять мечте шепнул я:
«На простор н иа свободу!»

4 июля 1920
Княжнино

* * *

Твоя любовь — тот круг магнческий,
Который нас от жнзнн отделнл.
Жнву не прежней мехаинческой
Прнвычкой жить, избытком юных снл.

Осталось мне безмерио малое,
Но каждый атом здесь объят огнем.
Ненстощнмо иеусталое
Пыланье днвное — мы вместе в ием.

Поймн предел, и устремленне,
И мощь вихреобразного огия,
И ты поймешь, как утомлеине
Безмерно сильиым делает меия.

11 июля 1920

* * *

Туман и дождь. Тяжелый караван
Лохматых туч влачится в небе мглистом.
Лесною гарью воздух горько пьян,
И сладость есть в дыхании смолистом,
И радость есть в уюте прочных стен,
И есть мечта, цветущая стихами.
Печальный час, и ты благословен
Любовью, сладкой памятью и снами.

24 июля 1920
Княжнино

* * *

Знойно туманится день,
Гарью от леса несет,
Тучи лиловая тень
Тихо над Волгой ползет.

Знойное буйство, продлись!
Длися, верховный пожар!
Чаша земная, курись
Неистощимостью чар!

Огненным зноем живу,
Пламенной песней горю,
Музыкой слова зову
Я бирюзу к янтарю.

Тлей и алей, синева,
В буйном кружении вьюг!
Я собираю слова,
Как изумруд и жемчуг.

1 августа 1920
Княжнино

* * *

Всё выше поднимаюсь я,
И горний воздух чище, реже,
Но та же всё судьба моя,
И настроения всё те же.

В земном томительном бреду
Ни сожаленья, ни пощады,
Но и за гробом не найду
Ни утешенья, ни награды.

Мне горький хлеб для жизни дан,
Я мукой огненной испытан.
Одна из многих обезьян,
И я моим Творцом не считан.

Я брошен в бешенство стихий
Песчинкою в горсти песчинок,
И дразнит, вызывает Змий
На безнадежный поединок,

Чтоб демон, сжав сухой рукой
Меня с другими в ком шипящий,
Швырнул с улыбкой ледяной
В котел блестящий и кипящий,

Да переплавлюсь я в огне
Жестоких и безумных пыток,
Да будет сладостен не мне,
Не нам готовимый напиток.

22 декабря 1920

* * *

Стремит таинственная сила
Миры к мирам, к сердцам сердца,
И ты напрасно бы спросила,
Кто разомкнет обвод кольца.

Любовь и Смерть невинны обе,
И не откроет нам Творец,
Кто прав, кто нет в любви и в злобе,
Кому хула, кому венец.

Но всё правдиво в нашем мире,
В нем тайна есть, но нет в нем лжи.
Мы — гости званые на пире
Великодушной госпожи.

Душа, восторгом бесконечным
Живи, верна одной любви,
И, силам предаваясь вечным,
Закон судьбы благослови.

29 апреля 1921

* * *

День и ночь измучены бедою,
Горе оковало бытие.
Тихо плача, стала над водою.
Засмотрелся месяц на нее.

Опустился с неба, странно красен,
Говорит ей: «Милая моя!
Путь ночной без спутницы опасен.
Хочешь или нет, но ты — моя».

Ворожа над темною водою,
Он унес ее за облака.
День и ночь измучены бедою.
По свету шатается тоска.

30 января 1922

* * *

Не слышу слов, но мне понятна
Твоя пророческая речь.
Свершившееся — невозвратно,
Здесь ничего не уберечь.

Но кто достигнет до предела,
Здесь ничего не сохранив,
Увидит, что заря зардела,
Что день минувший вечно жив.

Душа, как птица, мчится мимо
Ночей и дней, вперед всегда,
Но пребывает невредимо
Времен нетленная чреда.

Напрасно бледная Угроза
Вооружилася косой,—
Там расцветает та же роза
Под тою ж свежею росой.

9 мая 1923

* * *

Ах, этот вечный изумруд
Всегда в стихах зеленых трав!
Зеркальный, вечно тихий пруд
В кольце лирических оправ!

И небо словно бирюза,
И вечное дыханье роз,
И эта вечная гроза
С докучной рифмою угроз!

Но если сердце пополам
Разрежет острый божий меч,
Вдруг оживает этот хлам,
Слагаясь в творческую речь,

И улыбаются уста
Шептанью вешнему берез,
И снова чаша не пуста,
Приемля ключ горючих слез.

Душа поет и говорит,
И жить и умереть готов,
И сказка вешняя горит
Над вечной мукой старых слов.

7 июня 1923

* * *

Подумай, на праздник я выду,
Веселый я выду из дому,
Вдруг больно ударит Обида,
Ударит по сердцу больному.

Пойду ли по улицам людным,
Но не был ли путь этот крестным
Путем, безнадежным и трудным,
В обещанном свете воскресном?

Забыть ли и в божьем чертоге
Томленья тоски и разлуки,
И лепет последний о боге,
И эти бессильные руки?

Жестокость нигде не забудем
Тоскующей девы Обиды.
Зачем же на праздники к людям
Из темного дома я выду?

И только б нагими стопами
Пройти по твоей багрянице,
Пьянея бессмертными снами,
К последней, заветной границе.

16 июня 1923

НОЧНЫЕ СТИХИ

Что томленье ночное?
Под золой уголек.
Дотлевает земное,
Вечный день недалек,
Но в томленье ночное
Кто-то душу увлек.

В эти мрачные воды
Загляделась луна...
Ни любви, ни свободы,
Ни блаженного сна...
В эти мрачные воды
Погрузилась она.

Золотая трепещет
Сеть лучей на волне
И томительно блещет,
Улыбаясь луне.
Тихо сердце трепещет,
Замирая в огне.

Лунный свет заплетая
В золотистую сеть,
Надо, медленно тая,
Над пучиной висеть,
Словно эта слитая
Из сияния сеть.

25—26 июня 1923

* * *

Алкогольная зыбкая вьюга
Зашатает порой в тишине.
Поздно ночью прохожий пьянчуга
Подошел на Введенской ко мне.

«Вишь, до Гатчинской надо добраться,—
Он сказал мне с дрожанием век,—
Так не можете ль вы постараться
Мне помочь, молодой человек?»

Подивившись негаданной кличке,
Показал я ему, как пройти,
А потом, по давнишней привычке,
Попытался разгадку найти.

Впрочем, нечему здесь удивляться:
По ночам я люблю босиком
Час-другой кое-где прошататься,
Чтобы крепче спалося потом.

Плешь прикрыта поношенной кепкой,
Гладко выбрит, иду я босой,
И решил разуменьем некрепкий,
Что я, значит, парнишка простой.

Я ночною прогулкой доволен:
Видно, все еще я не ломлюсь,
Хорошо, что я в детстве не холен,
Что хоть пьяному юным кажусь.

11 октября 1923

* * *

Эллиптической орбитой
Мчится вёрткая земля
Всё дорогой неизбитой
Вечно в новые поля.

Солнце в фокусе сияет,
Но другой же фокус есть.
Чем он землю соблазняет?
Что он здесь заставил цвесть?

Сокровенное светило,
Ты незримо для очей,
И в просторах ты укрыло
Блеск неведомых лучей.

К солнцу голову подъемлет
От земли гелиотроп
И тревожным слухом внемлет
Коней Феба тяжкий топ.

Но мечты к Иному правит
Вестник тайны, асфодель.
Сердцу верному он ставит
Средь миров иную цель.

28 августа 1926



Иван Бунин

* * *

— Дай мне, бабка, зелий приворотных,
Сердцу песен прежних, беззаботных,
Отдыха глазам.

— Милый внучек, рада б, да не в силах:
Зелья те цветут не по лесам,
А в сырых могилах.

1920

КАНАРЕЙКА

На родине она зеленая...
Брэм

Канарейку из-за моря
Привезли, и вот она
Золотая стала с горя,
Тесной клеткой пленена.

Птицей вольной, изумрудной
Уж не будешь,— как ни пой
Про далекий остров чудный
Над трактирною толпой!

10 мая 1921

* * *

У птицы есть гнездо, у зверя есть нора.
Как горько было сердцу молодому,
Когда я уходил с отцовского двора,
Сказать прости родному дому!

У зверя есть нора, у птицы есть гнездо.
Как бьется сердце горестно и громко,
Когда вхожу, крестясь, в чужой, наемный дом
С своей уж ветхою котомкой!

25 июня 1922

СИРИУС

Где ты, звезда моя заветная,
Венец небесной красоты?
Очарованье безответное
Снегов и лунной высоты?

Где молодость, простая, чистая
В кругу любимом и родном,
И старый дом, и ель смолистая
В сугробах белых под окном?

Пылай, играй стоцветной силою,
Неугасимая звезда,
Над дальнею моей могилою,
Забытой богом навсегда!

22 августа 1922

* * *

В полночный час я встану и взгляну
На бледную высокую луну,
И на залив под нею, и на горы,
Мерцающие снегом вдалеке...
Внизу вода чуть блещет на песке,
А дальше муть, свинцовые просторы,
Холодный и туманный океан...

Познал я, как ничтожно и не ново
Пустое человеческое слово,
Познал надежд и радостей обман,
Тщету любви и терпкую разлуку
С последними, немногими, кто мил.

Кто близостью своею облегчил
Ненужную для мира боль и муку
И эти одинокие часы
Безмолвного полуночного бденья,
Презрения к земле и отчужденья
От всей земной бессмысленной красы.

25 августа 1922

* * *

Уж как нá море, нá море,
На синем камени,
Нагая краса сидит,
Белые ноги в волне студит,
Зазывает с пути корабельщиков:
«Корабельщики, корабельщики!
Что вы по свету ходите,
Понапрасну ищете
Самоцветного яхонта-жемчуга?
Есть одна жемчужина —
Моя белая краса,
Уста жаркие,
Груди холодные,
Ноги легкие,
Лядвии тяжелые!
Есть одна утеха не постылая —
На руке моей спать-почивать,
Слушать песни мои унывные!»
Корабельщики плывут, не слушают,
А на сердце тоска-печаль,
На глазах слезы горючие.
Ту тоску не заспать, не забыть
Ни в пути, ни в пристани,
Не отдумать дó веку.

10 мая 1923

* * *

Только камни, пески, да нагие холмы,
Да сквозь тучи летящая в небе луна,—
Для кого эта ночь? Только ветер, да мы,
Да крутая и злая морская волна.

Но и ветер — зачем он так мечет ее?
И она — отчего столько ярости в ней?
Ты покрепче прижмись ко мне, сердце мое!
Ты мне собственной жизни милей и родней.

Я и нашей любви никогда не пойму:
Для чего и куда увела она прочь
Нас с тобой ото всех в эту буйную ночь?
Но господь так велел — и я верю ему.

1926

СВЕТ

Ни пустоты, ни тьмы нам не дано:
Есть всюду свет, предвечный и безликий...

Вот полночь. Мрак. Молчанье базилики,
Ты приглядись; там не совсем темно,
В бездонном, черном своде над тобою,
Там на стене есть узкое окно,
Далекое, чуть видное, слепое,
Мерцающее тайною во храм
Из ночи в ночь одиннадцать столетий...
А вкруг тебя? Ты чувствуешь ли эти
Кресты по скользким каменным полам,
Гробы святых, почиющих под спудом,
И страшное молчание тех мест,
Исполненных неизреченным чудом,
Где черный запрестольный крест
Воздвиг свои тяжелыя объятья,
Где таинство сыновнего распятья
Сам бог-отец незримо сторожит?

Есть некий свет, что тьма не сокрушит.

1927



Константин Бальмонт

ИМЕНИ ГЕРЦЕНА

Россия казней, пыток, сыска, тюрем,
Страна, где рубят мысль умов сплеча,
Страна, где мы едим и балагурим
В кровавый час деяний палача.

Страна, где пляшет право крепостное,
Где змей — царем, змееныши — царьки,
Где правило — разгул в грязи и гное,
Страна метели, рабства и тоски,—

Он знал ее, мыслитель благородный,
Чей дух — к борьбе зовущая струна,
Но он разлив предвидел полноводный,
Он разгадал колодец в ней без дна.

Есть в мире зачарованные страны,
Где ценный клад скрывается века,—
И в сказке спят подолгу великаны,
Но в сказке есть свирель из тростника.

В такой тростник дохни — ответит песней,
И волею зовется тот напев,
Он ширится все ярче и чудесней:
Сон рассечен, алмазом блещет гнев.

Таинственная кузница грохочет,
Тяжелый молот наковальню бьет,
Тростник поет, огню победу прочит,
И в пламенях есть пляска и черед.

В сияниях все белое пространство,
Полярная звезда горит снегам,
Для жизни нужно новое убранство,
И великан светло идет к врагам.

До океанов плещут океаны,
И колокол вещает вечевой:
Есть в мире зачарованные страны,
Россия, быть как в сказке — жребий твой.

Разрушен навсегда твой терем древний
Со всем его хорошим и дурным,
Над городом твоим и над деревней
Прошел пожар и вьется красный дым.

Но если в каждом — дух единоверца,
И эта вера — счастье вольных всех,
Мы будем все — пылающее сердце,
И будет весь искуплен старый грех.

Кто в колокол ударил, верил в это,
Пусть только в брате брата видит брат,
Построим жизнь из одного лишь света,
Чтоб бег часов был звучный водопад.

20 января 1920

ПОГАСНЕТ СОЛНЦЕ

Погаснет солнце в зримой вышине,
И звезд не будет в воздухе незримом,
Весь мир густым затянут будет дымом,
Все громы смолкнут в вечной тишине,—

На черной и невидимой луне
Внутри возникнет зной костром палимым,
И по тропам, вовек неисследимым,
Вся жизнь уйдет к безвестной стороне,—

Внезапно в пыль все обратятся травы,
И соловьи разучатся любить,
Как звук, растают войны и забавы,—

Вздохнув, исчезнет в мире дух лукавый,
И будет равным быть или не быть —
Скорей, чем я смогу тебя забыть.

1921

НОЧНОЙ ДОЖДЬ

Я слушал дождь. Он перепевом звучным
Стучал во тьме о крышу и балкон,
И был всю ночь он духом неотлучным
С моей душой, не уходившей в сон.

Я вспоминал. Младенческие годы.
Деревня, где родился я и рос.
Мой старый сад. Речонки малой воды.
В огнях цветов береговой откос.

Я вспоминал. То первое свиданье.
Березовая роща. Ночь. Июнь.
Она пришла. Но страсть была страданье.
И страсть ушла, как отлетевший лунь.

Я вспоминал. Мой праздник сердца новый.
Еще, еще — улыбки губ и глаз.
С светловолосой, с нежной, с чернобровой
Волна любви и звездный пересказ.

Я вспоминал невозвратимость счастья,
К которому дороги больше нет.
А дождь стучал — и в музыке ненастья
Слагал на крыше мерный менуэт.
1921

ПРИМИРЕНЬЕ

От тебя труднейшую обиду
Приял я, родимая страна,
И о том пропел я панихиду,
Чем всегда в душе была весна.

Слово этой пытки повторю ли?
Боль была. Я боль в себе храню.
Но в набатном бешенстве и гуле
Все, не дрогнув, отдал я огню.

Слава жизни. Есть прорывы злого,
Долгие страницы слепоты.
Но нельзя отречься от родного,
Светишь мне, Россия, только ты.
1921

КТО?

Кто качнет завесу гробовую,
Подойдя, раскроет мне глаза?
Я не умер. Нет. Я жив. Тоскую.
Слушаю, как носится гроза.

Закрутилась, дикая, пожаром,
Завертелась огненным дождем.
Кто велит порваться темным чарам?
Кто мне скажет: «Встань. Проснись. Пойдем»?

И, поняв, что выгорела злоба,
Вновь я буду миру не чужой.
И, дивясь, привстану я из гроба,
Чтоб идти родимою межой.

26 августа 1922

УЗНИК

В соседнем доме
Такой же узник,
Как я, утративший
Родимый край,
Крылатый в клетке,
Сердитый, громкий,
Весь изумрудный,
Попугай.

Он был далеко
В просторном царстве
Лесов тропических,
Среди лиан,
Любил, качался,
Летал, резвился,
Зеленый житель
Зеленых стран.

Он был уловлен,
Свершил дорогу —
От мест сияющих
К чужой стране.

В Париже дымном
Свой клюв острит он
В железной клетке
На окне.

И о себе ли,
И обо мне ли
Он в размышлении,—
Зеленый знак.
Но только резко
От дома к дому
Доходит возглас:
«Дурак! Дурак!»

9 октября 1922

ПРОСВЕТЫ

Блеснув мгновенным серебром,
В реке плотица в миг опаски
Сплетет серебряные сказки.

Телега грянет за холмом,
Домчится песня, улетая,
И в сердце радость молодая.

И грусть. И отчий манит дом.
В душе растает много снега,
Ручьем заплачет в сердце нега.

И луч пройдет душевным дном,
И будешь грезить об одном,
О несравненном, о родном.

30 декабря 1922

СНЫ

Закрыв глаза, я вижу сон,
Там все не так, там все другое,
Иным исполнен небосклон,
Иное, глубже дно морское.

Я прохожу по тем местам,
Где никогда я не бываю,
Но сонно помню — был уж там,
Иду по туче прямо к краю.

Рожденье молний вижу я,
Преображенье молний в звуки,
И вновь любимая моя
Ко мне протягивает руки.

Я понимаю, почему
В ее глазах такая мука,
Мне видно, только одному,
Что значит самый всклик — разлука.

В желанном платье, что на ней,
В одной, едва заметной, складке
Вся тайна мира, сказка дней,
Невыразимые загадки.

Я в ярком свете подхожу,
Сейчас исчезнет вся забота.
Но бесконечную межу
Передо мной раскинул кто-то.

Желанной нет. Безбрежность нив.
Лишь василек один, мерцая,
Поет чрез золотой разлив
Там, где была моя родная.

31 декабря 1922

ПОЛДЕНЬ

Высокий полдень. Небо голубое.
Лик ястреба, застывшего вверху.
Вода ручья в журчащем перебое,
Как бисер, нижет звонкий стих к стиху.
Средн листвы умолк малейший шепот.
Мир — солнечный, а будто нежилвой.
Лишь издали я слышу спешный топот,
Куда-то мчится вестник верховой.
Откуда весть? Из памяти давнишней?
Быть может, час — обратный начал ток?
Я сплю. Я мертв. Я в этой жизни лишний.
В гробу сплетаю четки мерных строк.
Но если я навек живым, ныне,
На дальней грани жизни позабыт,
Ко мне стремится тень былой святыни,
И ближе-ближе звонкий стук копыт.

1923

Я СЛЫШУ

Я слышу гуд тяжелого шмеля,
Медлительный полет пчелы, несущей
Добычу, приготовленную пущей,
И веет ветер, травы шевеля.

Я вижу урожайные поля,
Чем дальше глянь, тем всходы видишь гуще.
Идет прохожий, взор его нелгущий,
Благой, как плодородная земля.

Я чую, надо мною реют крылья.
Как хорошо в родимой стороне!
Но вдруг душа срывается в бессилье.

Я слышу, вижу, чувствую — во сне.
И только брызг соленых изобилье
Чужое море мчит и плещет мне.

1923

ВСХОДЯЩИЙ ДЫМ

Всходящий дым уводит душу
В огнепоклоннический храм.
И никогда я не нарушу
Благоговения к кострам.
В страстях всю жизнь мою сжигая,
Иду путем я золотым
И рад, когда, во тьме сверкая,
Огонь возносит легкий дым.
Когда, свиваясь, дым взовьется
Над крышей снежной, из трубы,
Он в синем небе разольется
Благословением судьбы.
Во всем следить нам должно знаки,
Что посылает случай нам,
Чтоб верной поступью во мраке
Идти по скользким крутизнам,
Дымок, рисуя крутояры,
То здесь, то там, слабей, сильней,
Предвозвещает нам пожары
Неумирающих огней.

1936, 4 октября

Игорь Северянин

ФЕЯ EIOLE

Кто движется в лунном сиянье чрез поле
Извечным движеньем планет?
Владычица Эстии, фея Eiole.
По-русски eiole есть: нет.

В запрете есть боль. Только в воле нет боли,
Поэтому боль в ней всегда.
Та боль упоительна. Фея Eiole
Контраст утвержденья: да.

Она в осиянном своем ореоле,
В своем отрицанье всего
Влечет непостижно. О фея Eiole,
Взяв всё, ты не дашь ничего...

И в этом услада. И в боли пыл воли.
И даже надежда — тщета.
И всем своим обликом фея Eiole
Твердит: «Лишь во мне красота».

1921

ИХ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Чем эти самые живут,
Что вот на паре ног проходят?
Пьют и едят, едят и пьют —
И в этом жизни смысл находят...

Надуть, нажиться, обокрасть,
Растлить, унизить, сделать больно...
Какая ж им иная страсть?
Ведь им и этого довольно!

И эти-то, на паре ног,
Так называемые люди
«Живут себе»... И имя Блок
Для них, погрязших в мерзком блуде.—
Бессмысленный, нелепый слог...

1923

КЛАССИЧЕСКИЕ РОЗЫ

Как хороши, как свежи были розы
В моем саду! Как взор прельщали мой!
Как я молил весеиние морозы
Не трогать их холодиою рукой!
Мятлев. 1843 г.

В те времена, когда роились грезы
В сердцах людей, прозрачны и ясны,
Как хороши, как свежи были розы
Моей любвн, и славы, и весны!

Прошли лета, и всюду льются слезы...
Нет ни страны, ни тех, кто жил в стране...
Как хороши, как свежн ныне розы
Воспоминаний о минувшем дне!

Но днн идут — уже стихают грозы.
Вернуться в дом Россия ищет троп...
Как хороши, как свежи будут розы,
Моей страной мне брошенные в гроб!

1925

ЗАПЕВКА

О России петь — что стремиться в храм
По лесным горам, полевым коврам...

О России петь — что весну встречать,
Что невесту ждать, что утешнть мать...

О России петь — что тоску забыть,
Что Любовь любить, что бессмертным быть!

1925

В ЗАБЫТЬИ

В белой лодке с синими бортами
В забытьи чарующем озер
Я весь день наедине с мечтами,
Неуловленной строфой пронзен.

Поплавок, готовый кануть в воду,
Надо мной часами ворожит.
Ах, чего бы только я не отдал,
Чтобы так текла и дальше жизнь!

Чтобы загорались вновь и гасли
Краски в небе, строфы — в голове...
Говоря по совести, я счастлив,
Как изверившийся человек.

Я постиг тщету за эти годы.
Что осталось, знать желаешь ты?
Поплавок, готовый кануть в воду,
И стихи — в бездонность пустоты...

Ничего здесь никому не нужно,
Потому что ничего и нет
В жизни, перед смертью безоружной,
Протекающей как бы во сне...

1926

ИГОРЬ СЕВЕРЯНИН

Он тем хорош, что он совсем не то,
Что думает о нем толпа пустая,
Стихов принципиально не читая,
Раз нет в них ананасов и авто.

Фокстрот, кинематограф и лото —
Вот, вот куда людская мчится стая!
А между тем душа его простая,
Как день весны. Но это знает кто?

Благословляя мир, проклятье войнам
Он шлет в стихе, признания достойном,
Слегка скорбя, подчас слегка шутя

Над всею первенствующей планетой...
Он — в каждой песне, им от сердца спетой,
Иронизирующее дитя.

1926

НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ СОН

Мне удивительный вчера приснился сон:
Я ехал с девушкой, стихи читавшей Блока.
Лошадка тихо шла. Шуршало колесо.
И слезы капали. И вился русый локон...

И больше ничего мой сон не содержал...
Но потрясенный им, взволнованный глубоко,
Весь день я думаю, встревоженно дрожа,
О странной девушке, не позабывшей Блока...

1927

Я К МОРЮ СБЕГАЮ

Я к морю сбегаю. Назойливо лижет
Мне ноги волна в пене бело-седой,
Собою напомнив, что старость все ближе,
Что мир перед новою грозной бедой...

Но это там где-то. Сегодня все дивно!
Сегодня прекрасны и море и свет!
Сегодня я молод, и сердцу наивно
Зеленое выискать в желтой листве.

И хочется жить, торопясь и ликуя,
Куда-то стремиться, чего-то искать...
Кто в сердце вместил свое радость такую,
Тому не страшна никакая тоска!

17 октября 1930

ПРОХЛАДНАЯ ВЕСНА

Весен всех былых весна весенней
Предназначена мне в этот год:
Девушка из детских сновидений
Постучалась у моих ворот.

И такою свежею прохладой
Вдруг повеяло от милых уст,
Что шепчу молитвенно: «Обрадуй,—
Докажи, что мир не вовсе пуст...»

А она и плачет, и смеется,
И, заглядывая мне в глаза,
Неземная по-земному бьется
Вешняя — предсмертная! — гроза.

5 апреля 1933

СТАРЕЮЩИЙ ПОЭТ

Стареющий поэт... Два слова — два понятья.
Есть в первом от зимы. Второе — всё весна.
И если иногда нерадостны объятья,
Весна — всегда весна, как ни была б грустна.

Стареющий поэт... О, скорбь сопоставленья!
Как жить, как чувствовать и, наконец, как петь,
Когда душа больна избытком вдохновенья
И строфы, как плоды, еще готовы спеть?

Стареющий поэт... Увлажнены ресницы,
Смущенье в голосе и притушенный вздох.
Все чаще женщина невстреченная снится,
И в каждой встреченной мерещится подвох...

Стареющий поэт... Наивный, нежный, кроткий
И вечно юный, независимо от лет.
Не ближе ли он всех стареющей кокотке,
Любовь возведший в культ стареющий поэт?

11 сентября 1933



Марина Цветаева

* * *

Большими тихими дорогами,
Большими тихими шагами...
Душа, как камень, в воду брошенный,
Все расширяющимися кругами...

Та глубока — вода, и та темна — вода...
Душа на все века — схоронена́ в груди.
И так достать ее оттуда надо мне,
И так сказать я ей хочу: в мою иди!

27 апреля 1920

* * *

С. Э.

Писала я на аспидной доске,
И на листочках вееров поблеклых,
И на речном, и на морском песке,
Коньками по́ льду и кольцом на стеклах,—

И на стволах, которым сотни зим...
И, наконец,— чтоб было всем известно! —
Что ты любим! любим! любим! любим! —
Расписывалась — радугой небесной.

Как я хотела, чтобы каждый цвел
В века́х со мной! под пальцами моими!
И как потом, склонивши лоб на стол,
Крест-накрест перечеркивала имя...

Но ты, в руке продажного писца
Зажатое! ты, что мне сердце жалишь!
Непроданное мной! *внутри* кольца!
Ты — уцелеешь на скрижалях.

18 мая 1920

ПРИГВОЖДЕНА

Пригвождена к позорному столбу
Славянской совести старинной,
С змеею в сердце и с клеймом на лбу,
Я утверждаю, что — невинна.

Я утверждаю, что во мне покой
Причастницы перед причастьем.
Что не моя вина, что я с рукой
По площадям стою — за счастьем.

Пересмотрите все мое добро,
Скажите — или я ослепла?
Где золото мое? Где серебро?
В моей руке — лишь горстка пепла!

И это все, что лестью и мольбой
Я выпросила у счастливых.
И это все, что я возьму с собой
В край целований молчаливых.

19 мая 1920

НА ЗАРЕ...

На заре — наимедленнейшая кровь,
На заре — наиявственнейшая тишь.
Дух от плоти косной берет развод,
Птица клетке костной дает развод,

Око зрит — невидимейшую даль,
Сердце зрит — невидимейшую связь...
Ухо пьет — неслыханнейшую молвь...
Над разбитым Игорем плачет Див.

17 марта 1922

* * *

Здравствуй! Не стрела, не камень:
Я! — Живейшая из жен;
Жизнь. Обеими руками
В твой невыспавшийся сон.

Дай! (На языке двуостром:
На́! — Двуострота змеи!)
Всю меня в простоволосой
Радости моей прими!

Льни! — Сегодня день на шхуне,
— Льни! — на лыжах! — Льни — льняной!
Я сегодня в новой шкуре:
Вызолоченной, седьмой!

— Мой! — и о каких наградах
Рай — когда в руках, у рта —
Жизнь: распахнутая радость
Поздороваться с утра!

25 июня 1922

ДИАЛОГ ГАМЛЕТА С СОВЕСТЬЮ

— На дне она, где ил
И водоросли... Спать в них
Ушла,— но сна и там нет!
— Но я ее любил,
Как сорок тысяч братьев
Любить не могут!
— Гамлет!
На дне она, где ил:
Ил!.. И последний венчик
Всплыл на приречных бревнах...
— Но я ее любил,
Как сорок тысяч...
— Меньше
Все ж, чем один любовник.
На дне она, где ил.
— Но я ее —
любил??

5 июня 1923

ЧАС ДУШИ

1

В глубокий час души и ночи,
Не числящийся на часах,
Я отроку взглянула в очи,
Не числящиеся в ночах

Ничьих еще, двойной запрудой
— Без памяти и по края! —
Покоящиеся...
Отсюда
Жизнь начинается твоя.

Седеющей волчицы римской
Взгляд, в выкормыше зрящей — Рим!
Сновидящее материнство
Скалы... Нет имени моим

Потерянностям... Все покровы
Сняв,— выросшая из потерь! —
Так некогда над тростниковой
Корзиною клонилась дщерь
Египетская...

14 июля 1923

2

В глубокий час души,
В глубокий — но́чи...
(Гигантский шаг души,
Души в ночи́.)
В тот час, душа, верши
Миры, где хочешь
Царить,— чертог души,
Душа, верши.

Ржавь губы, пороши
Ресницы — снегом.
(Атлантский вздох души,
Души — в ночи́...)

В тот час, душа, мрачи
Глаза, где Вегой
Взойдешь... Сладчайший плод,

Душа, горчи.
Горчи и омрачай:
Расти: верши.

8 августа 1923

3

Есть час Души, как час Луны,
Совы — час, мглы — час, тьмы —
Час... Час Души, как час струны
Давидовой сквозь сны

Сауловы... В тот час дрожи,
Тщета, румяна смой!
Есть час Души, как час грозы,
Дитя, и час сей — мой.

Час сокровеннейших низов
Грудных.— Плотины спуск!
Все́ вещи сорвались с пазов,
Все́ сокровенья — с уст!

С глаз — все́ завесы! Все́ следы —
Вспять! На линейках — нот —
Нет! — Час Души, как час Беды,
Дитя, и час сей — бьет.

Беда моя! — Так будешь звать.
Так, лекарским ножом
Истерзанные,— дети — мать
Корят: «Зачем живем?»

А та, ладонями свежа
Горячку: «Надо.— Ляг».
Да, час Души, как час ножа,
Дитя, и час сей — благ.

14 августа 1923

ЛУЧИНА

До Эйфелевой — рукою
Подать! Подавай и лезь.
Но каждый из нас — такое
Зрел, зрит, говорю, и днесь,

Что скушным и некрасивым
Нам кажется ваш Париж.
«Россия моя, Россия,
Зачем так ярко горишь?»

Июнь 1931

* * *

Вскрыла жилы: неостановимо.
Невосстановимо хлещет жизнь.
Подставляйте миски и тарелки!
Всякая тарелка будет — мелкой,
Миска — плоской,
Через край — и *мимо* —
В землю черную, питать тростник.
Невозвратно, неостановимо,
Невосстановимо хлещет стих.

6 января 1934

* * *

Когда я гляжу на летящие листья,
Слетающие на булыжный торец,
Сметаемые — как художника кистью,
Картину *кончающего* наконец,
Я думаю (уж никому не по нраву
Ни стан мой, ни весь мой задумчивый вид),
Что явственно желтый, решительно ржавый
Один такой лист на вершине — забыт.

20-е число октября 1936

ПОЭМА ГОРЫ

Liebster, Dich wundert die Rede?
Alle Scheidenden reden wie Trunkene
und nehmen gerne sich festlich...

Hölderlin [1]

ПОСВЯЩЕНИЕ

Вздрогнешь — и горы с плеч,
И душа — горè!
Дай мне о гòре спеть:
О моей горè.

[1] О любимый! Тебя удивляет эта речь? Все расстающиеся говорят как пьяные и любят торжественность. *Гёльдерлин. (Перевод М. Цветаевой.)*

Черной ни днесь, ни впредь
Не заткну дыры.
Дай мне о го̀ре спеть
На верху горы.

I

Та гора была, как грудь
Рекрута, снарядом сваленного.
Та гора хотела губ
Девственных, обряда свадебного

Требовала та гора.
Океан в ушную раковину
Вдруг ворвавшимся ура!
Та гора гнала и ратовала.
Та гора была, как гром.
Зря с титанами заигрываем!
Той горы последний дом
Помнишь — на исходе пригорода?

Та гора была — миры!
Бог за мир взымает дорого.
Горе началось с горы.
Та гора была над городом.

II

Не Парнас, не Синай —
Просто голый казарменный
Холм — равняйся! стреляй!
Отчего же глазам моим
(Раз октябрь, а не май)
Та гора была — рай?

III

Как на ладони поданный
Рай — не берись, коль жгуч!
Гора бросалась по̀д ноги
Колдобинами круч.

Как бы титана лапами
Кустарников и хвой,

Гора хватала за̀ полы,
Приказывала: — стой!
О, далеко̀ не азбучный
Рай — сквознякам сквозняк!
Гора валила навзничь нас,
Притягивала: — ляг!

Оторопев под натиском,
Как? не понять и днесь!
Гора, как сводня — святости
Указывала: — здесь...

IV

Персефоны зерно гранатовое!
Как забыть тебя в стужах зим?
Помню губы, двойною раковиной
Приоткрывшиеся мои.

Персефона, зерном загубленная!
Губ упорствующий багрец,
И ресницы твои — зазубринами,
И звезды золотой зубец...

V

Не обман — страсть, и не вымысел,
И не лжет,— только не дли!
О, когда бы в сей мир явились мы
Простолю́динами любви!

О, когда б, здраво и по̀просту:
Просто — холм, просто — бугор...
(Говорят, тягою к пропасти
Измеряют уровень гор.)

В ворохах вереска бурого,
В островах страждущих хвой...
(Высота бреда над уровнем
Жизни.)
— На̀ же меня! Твой.

Но семьи тихие милости,
Но птенцов лепет — увы!
Оттого что в сей мир явились мы —
Небожителями любви!

VI

Гора горевала (а горы глиной
Горькой горюют в часы разлук),
Гора горевала о голубиной
Нежности наших безвестных утр.

Гора горевала о нашей дружбе:
Губ — непреложнейшее родство!
Гора говорила, что коемужды
Сбудется — по слезам его.

Еще говорила гора, что — табор
Жизнь, что весь век по сердцам базарь!
Еще горевала гора: хотя бы
С дитятком — отпустил Агарь!

Еще говорила, что это — демон
Крутит, что замысла нет в игре.
Гора говорила, мы были немы.
Предоставляли судить горе.

VII

Гора горевала, что только грустью
Станет — что̀ ныне и кровь и зной,
Гора говорила, что не отпустит
Нас, не допустит тебя с другой.

Гора горевала, что только дымом
Станет — что̀ ныне и мир, и Рим.
Гора говорила, что быть с другими
Нам (не завидую тем другим!).

Гора горевала о страшном грузе
Клятвы, которую поздно клясть.
Гора говорила, что стар тот узел
Гордиев — долг и страсть.

Гора горевала о нашем горе —
Завтра! не сразу! когда над лбом —
Уж не memento, а просто — море! [1]
Завтра, когда поймем.

[1] Memento mori (*лат.*) — помни о смерти.

Звук... Ну как будто бы кто-то просто —
Ну... плачет вблизи?
Гора горевала о том, что врозь нам
Вниз, по такой грязи —

В жизнь, про которую знаем все мы:
Сброд — рынок — барак...
Еще говорила, что все поэмы
Гор — пишутся — та̀к.

VIII

Та гора была, как горб
Атласа, титана стонущего.
Той горою будет горд
Город, где с утра и до̀ ночи мы

Жизнь свою — как карту бьем!
Страстные, *не быть* упорствуем.
Наравне с медвежьим рвом
И двенадцатью апостолами —

Чтите мой угрюмый грот.
(Грот, была — и волны впрыгивали!)
Той игры последний ход
Помнишь — на исходе пригорода?

Та гора была — миры!
Боги мстят своим подобиям.
Горе началось с горы.
Та гора на мне — надгробием.

IX

Минут годы, и вот означенный
Камень, плоским смененный, снят.
Нашу гору застроят дачами,—
Палисадниками стеснят.

Говорят, на таких окраинах
Воздух чище и легче жить.
И пойдут лоскуты выкраивать,
Перекладинами рябить,

Перевалы мои выструнивать,
Все овраги мои вверх дном!
Ибо надо ведь — хоть кому-нибудь
Дома — в счастье, и *счастья* в дом!

Счастья — *в доме*, любви без вымыслов,
Без вытягивания жил!
Надо женщиной быть — и вынести!
(Было-было, когда ходил,

Счастье — в доме!) Любви, не скрашенной
Ни разлукою, ни ножом.
На развалинах счастья нашего
Город встанет — мужей и жен.

И на том же блаженном воздухе
— Пока можешь еще — греши! —
Будут лавочники на отдыхе
Пережевывать барыши,

Этажи и ходы надумывать —
Чтобы каждая нитка — в дом!
Ибо надо ведь — хоть кому-нибудь
Крыши с аистовым гнездом.

X

Но под тяжестью тех фундаментов
Не забудет гора — игры.
Есть беспутные, нет беспамятных:
Гòры времени — у горы!

По упорствующим расселинам
Дачник, поздно хватясь, поймет:
Не пригорок, поросший семьями,—
Кратер, пущенный в оборот!

Виноградниками Везувия
Не сковать! Великана льном
Не связать! Одного безумия
Уст — достаточно, чтобы львом

Виноградники заворочались,
Лаву ненависти струя.
Будут девками ваши дочери
И поэтами — сыновья!

Дочь, ребенка расти внебрачного!
Сын, цыганкам себя стравн!
Да не будет вам места злачного,
Телеса, на моей кровн!

Твѐрже камня краеугольного,
Клятвой смертника на одре:
— Да не будет вам счастья дольнего,
Муравьн, на моей горе!

В час неведомый, в срок негаданный
Опознàете всей семьей
Непомерную и громадную
Гору заповедн седьмой.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Есть пробелы в памяти, бельма
На глазах: семь покрывал...
Я не помню тебя — отдельно.
Вместо черт — белый провал.

Без примет. Белым пробелом —
Весь. (Душа, в ранах сплошных,
Рана — сплошь.) Частностн мелом
Отмечать — дело портных.

Небосвод — цельным основан.
Океан — скопнще брызг?
Без прнмет. Верно — особый —
Весь. Любовь — связь, а не сыск.

Вороной, русой лн мастн —
Пусть сосед скажет: он зряч.
Разве страсть — делнт на частн?
Часовщик я, нлн врач?

Ты — как круг, полный н цельный.
Цельный внхрь, полный столбняк.
Я не помню тебя отдельно
От любвн. Равенства знак.

(В ворохах сонного пуха
— Водопад, пены холмы —
Новизной, странной для слуха,
Вместо: я — тройное: мы...)
Но зато, в нищей и тесной
Жизни — «жизнь, как она есть» —
Я не вижу тебя совместно
Ни с одной:
— Памяти месть.

Январь 1924
Прага, Смиховский холм

Декабрь 1939
Голицыно, Дом писателей



Василий Александровский

ВЕТЕР

О, какой же пройдоха расторопный
Этот ветер, свистящий в уши, —
Разворачивает снежные копны,
Ледяные постройки рушит.
От равнины земной до небесной
Винтовые лестницы крутит,
Видно, здесь ему скучно и тесно
Пролагать по снегам перепутья.
Сосны сняли пуховые шапки
И закланялись в снежные ноги.
Он же, выхватив игол охапку,
Улетел, хохоча, без дороги...
— Слушай, путник! Охай не охай.
Если слаб — все равно задушит...
О, какой же беззаботный пройдоха
Этот ветер, свистящий в уши!
1920

В ПУТИ

Глаза высасывает снег,
И туча выглодала выси;
Веселый, дребезжащий смех
Роняет ветер белобрысый.

Полей ночная синева
Сгустилась и оледенела.
Какие могут быть слова
Среди безжизненности белой?..

И молча мы идем туда,
Где огненные вьюги вьются,
Где оборвали повода
Стальные кони Революций.

1920

* * *

С лучами солнца в души наши
Просачивается кровь,
Но крылья будущего машут
Призывно с близких берегов.

Сердца, засыпанные снегом,
К пожарам пепелящим льнут,—
За нашим солнечным ковчегом
Века горящие плывут.

1920

МЫ

На смуглые ладони площадей
Мы каждый день расплескиваем души,
Мы каждый день выходим солнце слушать
На смуглые ладони площадей...

Что горячее: солнце или кровь? —
Оно и мы стоим на вечной страже,
Но срок придет, и мы друг другу скажем,
Что горячее — солнце или кровь...

Мы пьем вино из доменных печей,
У горнов страсти наши закаляем,
Мы, умирая, снова воскресаем,
Чтоб пить вино из доменных печей...

У наших девушек бездонные глаза,
В голубизну их сотни солнц вместятся,
Они ни тьмы, ни блеска не боятся...
У наших девушек бездонные глаза...

На смуглые ладони площадей
Мы каждый день расплескиваем души,

Мы каждый день выходим солнце
слушать
На смуглые ладони площадей...
1921

* * *

Мы умеем все переносить,—
Стискивая зубы, мы годами
Пили муть овьюженной Руси
Жадными прозрачными глазами.

Шлях и степь. Часовня и курган.
Вот что память бережет и холит.
Нас в снегах баюкала пурга
Песнями отчаянья и боли...

Мы смотрели, доверяясь снам,
Как с закатов осыпались перья,
Как слетали с сумерками к нам
Древние сказанья и поверья...

И сжигая взвихренную муть
В огневом кипенье Революций,
Мне теперь понятно, почему
Мы боимся солнцу улыбнуться.
1921

МОЛОДЕЖИ

Вы, чей шаг отчеканен и гибок,
Чьи глаза — на полях васильки,
После всех неудач и ошибок
Не записывайтесь в старики...

День иной упадает, как камень,
И душа — с перебитым крылом...,
Ничего, только руки с руками
Завязать надо крепким узлом...

Только помнить ежеминутно:
Нет ни жалоб теперь, ни тоски,
Что за далью угрюмой и мутной
Светят солнечные маяки...

Груз тяжел, но и силы же много,
Пусть всемирная темь глубока,
Но зато будет эта дорога
Отражать вашу поступь века.

Больше песен и больше улыбок,
Пусть шуршат о песок каблуки:
После всех неудач и ошибок
Не записывайтесь в старики...

1922

Я

Я выпил сотни солнц. И все мне мало.
Все мало мне. Но сердце не грустит.
Я никогда не рассыпаю жалоб
По пыльному и долгому пути.

Сегодня — даль, а завтра — плен и скорби,
Сегодня — тьма, а завтра — блеск и зной.
Но никогда своей спины не сгорбил
Я от усталости и тяжести земной.

Снега и пыль и терпкий запах гари...
Звенят шаги. Я дерзок и упрям.
Я всеобъемлющий, чье имя — Пролетарий
Идущий к новым солнцам и мирам.

1922

ГОДЫ

Катились дни мальчишками на санках,
То ровная дорога, то сугроб,
Меня сжигали фабрики и пьянка,
И часто я на снежных полустанках
Холодным кольтом щекотал свой лоб.

Но мчались дни, и жизнь горела снова
То радостью труда, то бредом кабаков,
И вот уж кажется, что все к концу готово,

Но ласковое, дружеское слово
От смерти уносило далеко.

Ах, эти дни, пустые, как карманы,
И полные, как летом закрома!
Я все ж любил, любил их сердцем
рваным,
Любил поля, московские туманы
И тела женского дурманный аромат.

Любил в чаду крикливые заводы,
Безумный риск и силу кулака,
Но не было для рук ни хватки, ни
свободы,
Вот почему певучую природу
Мне заменял прилавок кабака.

Потом война... На проволоке трупы...
Еще... еще... и тысячи еще...
— Зачем? За что?..
— Какой ты, Васька, глупый,
Ведь нужно же Рокфеллерам и Круппам
Произвести «финансовый расчет».

Ах, я так часто раньше зубоскалил,
Сидел со смертью за одним столом,
Но этот визг свинца, железа, стали
Меня стыдом и ненавистью жалил
И отравлял неизлечимым злом.

Я мало знал до юности улыбок,
А после юности в крови горела месть,
Вот почему мой стих тяжел, как глыба,
Вот почему, чтоб не было ошибок,
Я рассказал, каким я был и есть...

1928

ВОСПОМИНАНИЕ

Каждый день
Да чем-нибудь отмечен,
Каждый день
Событиями сыт.

Наша жизнь
Натруженные плечи
Подставляет
Под рабочий быт.

Вот сегодня
Постучался в двери
И вошел
Знакомый почтальон,
Сдал письмо.
Я даже не поверил
На конверте штемпелю:
Херсон.

Да, я помню,
Помню нашу встречу.
Пушки лаяли,
Катясь на Перекоп,
Был такой же,
Как сегодня, вечер
И такой же,
Как сейчас, озноб.

Ты рассказывала
О своем Херсоне,
О степях,
О море,
О сестре...
Где-то в тьме
Пофыркивали кони,
И шумели кедры на горе.

Дни кружились
В дымном хороводе.
Ветер жег
Упрямые глаза...
Мы пришли
Однажды в непогоду
На подбитый
Бомбами вокзал.

Нагружали
Раненых в вагоны,
На закате
Рдели облака...

— Ну, прощай...—
Сказала в сумрак сонный,
Я шепнул короткое:
— Пока...

Много я
Дорог и троп измерил,
Оттого
И быль вкатилась в сон,
Оттого
Я даже не поверил
На конверте штемпелю:
Херсон.

1930



Владимир Кириллов

В ТЕ ДНИ

Валерию Брюсову

В те дни я отдан был снегам,
Был север строг, был сумрак долог,
Казалось — никогда ветрам
Не распахнуть свинцовый полог.

Мой темный, низкий потолок,
Иная жизнь здесь только снится...
И вот на золотой песок
Выходит гордая царица.

Царица — жаркая мечта,
Я бедный раб, нубиец черный,
Мне не обресть ее уста
И не расторгнуть плен позорный.

И только в звонком полусне
Благоуханные баллады...
Но вот иная даль в огне,
И гнев вздымает баррикады.

И каменщик, подняв кирпич,
Над стройкой тягостной, острожной
Задумался, услышав клич
Свободы близкой и возможной.

Любовно закрываю том,
Уж ночь, но не могу уснуть я,
За далью даль, чудесным сном
Встают «пути и перепутья».

Декабрь, 1923

ВОЖДИ

Под грузом изнемогшим кораблям
В свирепых штормах легче мили числить,
Чем избранным глядеть в лицо векам
И в бурях дней дерзать и мыслить.

Квадрат стола — держава, класс, народ,
Глухие цифры, диаграммы, планы,
Движенье цен, провалы, недород,
Вопрос о ближних и далеких странах.

Там прошлое глядит зрачками сов,
А новое — в огне противоречий.
Всех накормить, имея «пять хлебов».
И глубже голова уходит в плечи.

Ползет слепая липкая молва,
Из-за угла — беззубый, древний ропот,
И вот — найти решенья и слова,
Взнуздать стихий табунный топот.

Распутать дней тяжелые узлы,
Многообразию единый выбрать стержень,
Быть струн отзывней, быть металла
тверже —
И ненавистным не прослыть.

Под грузом изнемогшим кораблям
В свирепых штормах легче мили числить,
Чем избранным глядеть в лицо векам
И в бурях дней дерзать и мыслить.

1923

* * *

Не слова — это призраки слов.
Смолкли звуки, угасли цвета.
Словно звенья ржавых оков
Давят мозг и сжимают уста.

Разве это сказать я хотел,
Что сказалось в намеках глухих?..
Бурный пламень сиял и пел,
А родился обугленный стих.

Ах, тяжел этот жребий, суров —
Пламенеть и взывать: пойми,
Что за темной оградою слов
Сад цветет и поют соловьи.

1922—1923

ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ

М. Герасимову

Черных дней оборви причалы
И парус мечты подними!
Мореходец морей небывалых,
Все сиянья к груди прижми —

Дальний гром, пространств литургию,
Голубых созвездий созвон;
С ног упали путы тугие,
И веков опрокинут сон.

Только нам доступно исканье,
Мир былой облысел и зачах,
Непокорное брызжет сиянье
В наших жадных звериных зрачках.

Будет праздник: чудесные страны
Забредут к нам в сети стихов,
Евангелия и Кораны
Создадим из электрослов.

Смейтесь песни, гимны звените,
Жгите дней былых бурелом.
Это мы сегодня в зените
Созвездием Лиры встаем.

Между 1920 и 1923

ГОДЫ МИНУВШИЕ

Годы горя, голода и славы,
Можно ль вас не помнить, позабыть,
И теперь мне снится сон кровавый —
Бедные несчетные гробы.

Смерть и гибель, горы темных трупов,
Ярый свист карающей косы,
У зловонных лошадиных крупов
Одичалые рычали псы.

Паровозов ржавые кладбища
Хоронили пламенный разбег,
Вот когда узнал ты цену пищи,
Не сбиравший зерен человек.

Только пела юная отвага,
Отдавая жизнь свою как дар,
И за жарким кумачовым флагом
Полыхал слепительный пожар.

Выли пушки, тонко пели пули,
Города тонули в полумгле,
На панелях изнемогших улиц
Продавались девушки за хлеб.

Но чредою приходили весны,
Ничего не помня о былом,
Город пыльный, луг зелено-росный
Заливался светом и теплом.

И дрожал, и таял призрак лютый,
Уступая жизни молодой,
И глаза весенние малютки
Улыбались песне голубой.

1923

К ЖИЗНИ

Не дарила ты меня цветами,
Не стелила радуги дорог,
Ржавыми цепями да ветрами
Прозвенела рано про острог.

Ворон каркал, и петля кружилась
Над моей незрелой головой,
Скудной кровью наливались жилы
За стеной высокой и глухой.

Но и там, на дне моей темницы,
Где душа лежала, как плевок,
Возносила светлая десница
Голубой сияющий цветок.

Видно, ты и впрямь была воловья,
Сила жизни, жажда красоты,
Если и теперь еще готов я
Славить мир до слез, до хрипоты.

Не предамся черному злословью,
О, моя возлюбленная мать,
И за хлеб твой, обагренный кровью,
Все равно не стану проклинать.

1926

* * *

Я болен песнями, и песни — жизнь моя,
Но я боюсь будить их строй неукротимый,
Что дремлет в тишине, безвестный
и незримый,
Как дремлет ураган в глубинах бытия.
Но вот уже идет, гремит горячий шквал,
Сверкая молнией и откликаясь громом,
Мир тихий отошел, час песенный настал,
И сам себе кажусь я странно-незнакомым.
И темная душа, как дремлющая снасть,
Порывов голубых узнав прикосновенье,
Вдруг пробуждается от сумрачного сна,
И крепнут паруса, и нарастает пенье.
И вот уже шумит свободная ладья,
Играют вымпела, и пламенеют флаги,
Куда она летит, и сам не знаю я,
Исполненный любви, безумства и отваги.

1926—1927

ЗВЕРЬ НЕ СПИТ

В колыбельках дремлют дети,
Над землею воет ветер,
Воет ветер, злобный вой
Мир тревожит в час ночной.

Погрузились в сон музеи,
Изваянья, галереи.
И тома тяжелых книг
Спят в хранилищах своих.

Пулеметы, пушки кротко
Спят, стальные спрятав глотки,
И в ночи, сокрыт от глаз,
Ядовитый дремлет газ.

Спит поэт, и спит учёный,
Спит философ утомлённый,
Воет ветер, злобный вой
Мир тревожит в час ночной.

И, внимая ветра вою,
Говорю я сам с собою:
Нет покоя, снам не верь,—
Слышишь, воет древний зверь...

Вижу дьявольскую морду,
Кто-то властный, кто-то гордый
В тишине ночной не спит,
У него огонь горит.

Волосатый и когтистый,
Но прилизанный и чистый,
В черном фраке, надушен,
Он в расчеты погружен.

И выстукивают счеты:
Сотни тысяч пулеметов,
Сотни грозных кораблей,
Миллионы костылей.

Миллионы погребенных,
Миллионы разоренных
Бесприютных вдов, сирот,—
Все растет безумца счет.

Набухает кровью смета,
Все учел он — жар поэтов,
Красноречие попов,
И писак, и дураков.

Он доволеи, он смеется,
И живот его трясется —
Все готово. Взмах рукн —
Вот и двииулись полкн.

Вырастает танк за танком,
Крепнет пушек перебранка,
Бомбовозы вдаль летят,
Города в огие горят...

Так, винмая ветра вою,
Говорю я сам с собою:
Нет покоя, снам ие верь,—
Слышишь, воет древиий зверь?

28 августа 1932 г.



Андрей Платонов

ПУТЬ В ГОРЫ

Поля бурьяном зарастали,
И зверь по чащам ликовал.
И мы пришли — зубцами стали
Плуг рвы и степи запахал.

Живое солнце в красных жилах
Дробило землю на куски,
Отцы ворочались в могилах,
Колосья вспухли, как соски.

Мир раскаленный был враждебен,
Спала машина в недрах руд.
Но человек родился гневен —
Его путь в горы долог, крут.

* * *

Познаны нами тайны вселенной,
В душах тревога молчит.
Мы осушили небесные бездны,
Солнце слова говорит.

Полон восторга пламенный город —
Люди, машины, цветы...
Каждый сегодня богом быть может,
Солнце над каждым горит.

Медный гудок заревел над планетой,
Пространства, подъемы нас ждут.
В жизни бессмертной, как в песне неспетой,
Звезды звенят и поют.

Солнце мы завтра расплавим,
Выше его перекинем мосты.
Как песком мы мирами играем,
Песню мы слышим тихой звезды.

СУДЬБА

В звездной безутешной смертной тишине
После ветра, после птицы мы роднлись на земле...
Чуть в неуловимой тихой вышине
Радуется-стонет песня на селе.

Вечность мы обнимем вечером рукою,
Девушку испуганную, утреннюю тень.
Выйдет солнце громкое над большой рекою,
Никогда не смеркнется наш великий день.

Музыка на празднике гибелью гремит:
Кинулись товарищи в улицы на бой.
Далеко, за гибелью, спасенье летит
С пополам разрубленной, конченой судьбой.

* * *

Мы пройдем тебя до края,
Небо, тайна голубая.
Мы любовь, мы — мысль вселенной,
Звезд зовущих странник пленный.

Мы идем в темницы тайные,
Там красавица печальная
Не дождется часа светлого,
Будто песнь, никем не спетая.

ИЗ ПОЭМЫ «МАРИЯ»

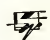
В моем сердце песня вечная
И вселенная в глазах,
Кровь поет по телу речкою,
Ветер в тихих волосах.

Ночью тайно поцелует
В лоб горячая звезда
И к утру меня полюбит
Без надежды, навсегда.

Голубая песня песней
Ладит с думою моей,
А дорога — неизвестией,
В этом мире я ничей.

Я родня траве и зверю
И сгорающей звезде,
Твоему дыханью верю
И вечерней высоте.

Я не мудрый, а влюбленный,
Не надеюсь, а молю.
Я теперь за все прощенный,
Я не знаю, а люблю.



Василий Казин

РУЧНОЙ ЛЕБЕДЬ

Спозаранок
Мой рубанок,
Лебедь, лебедь мой ручной,
Торопливо
И шумливо
Мною пущен в путь речной.

Плавай, плавай,
Величавый,
Вдоль шершавого русла!
Цапай, цапай
Цепкой лапой
Струй стружек и тепла!

Лебедь мчится,
И клубится
Шумный, шумный водопад,
И колеи
В белой пене
Утопают и кипят.

1920

* * *

Давно такого не было лентяя,
Такого солнца! Желтый лежебок!
Подумайте: до самого до мая
Замешкать, задержать снежок!

И лишь один протеплен переулок,
Где так душисто дымится грунтозем,
Как будто бы, не потушив, с огнем
Тут солнце бросило окурок.

1920

ВРЕМЯ

Часы стучали, точно кузнецы,
И вдруг вздохнуло грузное мгновенье,
И тихих мыслей тусклые концы
Схватило длинное и мускулистое движенье.

Я вслушался и гулами набух.
Дух тяжелел, веками нагруженный,
И величаво, тяжко мчался шумный дух,
Движеньем мускулистым туго запряженный.

1921

ВЕШНЕЕ ВДОХНОВЕНИЕ

Бегут и брызжут мостовые,
И голоногая братва,
Несутся ветерки сырые,
Раскидывая голубые
Крылатые рукава.

И я, и я несусь за ними
И удержаться не могу,
Бегу, бегу за мостовыми,
За ветерками голубыми,
За брызгами бегу, бегу.

Несусь, бегу, кричу в волненье:
— О, жизнь, ты мачеха иль мать? —
Хоть в этом вешнем упоенье,
Хоть в этом влажном вдохновенье
Друг друга нам понять, понять!

1921

ПЕСЕНКА

Ветер начал. Я ему попутно
Подтянул случайным голоском,
Солнышко втянулось,— и уютно
Мы запели песенку втроем.

Ветер заливался голосом быстрым,
Я его старался слить со мной,
Солнышко рассыпáло звончатые искры,
Увлекало песенку весной.

Шли и пели, пели по дороге,
Пели трое о сердечном, о своем,
И у каждого таяли, таяли тревоги,
Потому что песенку пели втроем.

1922

ПЕСНЯ ВЕТРА

Песни звон подымая все выше,
Чуть меха не срывая, опять
На железной гармонике крыши
Начал давешний ветер играть.

То ль окно было попросту глухо,
То ли сам он был просто чудак,
Но окна огромное ухо
Вновь чудно как-то выгнул чердак.

Может, тайной мечте на потребу,
С песней ветра взлететь он готов
К нежилому высокому небу,
Как к прообразу всех чердаков.

Может, небо совсем не приемля,
Он томится мечтою о том,
Чтоб скорее спуститься на землю,
Жить в великом волненье людском.

Хоть и нет в ней прямого ответа,
В ней, взлетающей в своды высот,
Почему-то вот этого ветра
Песня за сердце снова берет.

1932

ТВОЙ ОБРАЗ

Уж иа что мой стнх певуч и нежеи,
Но и он, пожалуй, слишком груб,
Чтоб он мог, до поздних звезд прилежеи,
Сотворить твой образ дрожью губ.

Мне б такой удачи н не надо.
Я б и так растрогался до слез,
Если б хоть одиу улыбку взгляда
Уловить мне словом удалось.

И какое может вдохновенье
Уловить твой образ до конца!
Как мечты, как счастья откровенье —
Эта песия твоего лица.

На тебя глядншь — не наглядишься.
Есть ли что прекраснее того,
Как ты вся плеинтельно стыдишься
Снлы обаянья своего?

1937

РАССТАВАНЬЕ

Не следил я взыскательным оком,
Как нные ревнивцы следят.
Я поймал невзначай, ненароком
Этот с легкой прохладою взгляд.

Не попал лн туману в засаду?
Может, с поля, от россыпн рос,
Эту легкую взгляда прохладу
Наступающий вечер наиес?

Хоть бы с искорку вспыхнуть ошибке!
Как он ии был и скрытеи и мал,
Даже в тихой, чуть вндной улыбке
Я намек расставаиья поймал.

И иужна ль тут иамеков поимка,
Еслн смотрншь ты, взглядом звуча,
Как вои та иад молчаньем плеча
Золотая дрожащая дымка
Уходящего в дали луча!

1939



Александр Прокофьев

ПРОВИНЦИЯ

1

По длинной несвязанной рани,
В провинции той наяву
На низеньких окнах герани
Зеленой помехой плывут,
А ветер, мой действенный деверь,
Уходит в другие края,
И дрема разбужена в девять,
Постылая дрема моя.
Бессонные яблони мокнут...
И вот наяву, наяву
Герани на низеньких окнах
Зеленой помехой плывут.

2

Ах, на эту боль, да на беду вам,
Небольшой размолвкою плесну:
Ни единой строчки не придумал,
Сколь-нибудь похожей на весну.

Вот идет дорога на заимку
Мимо губы стиснувших морей...
Лютики с ромашками в обнимку
Ходят по провинции моей.

На Москве-реке и на Трехпрудном
Ветер в кошме спит — и ни гу-гу.
Но смеется черт или окрутник
На провинциальном берегу.

А когда захлопнут крылья ставень
И уткнутся руки в тишину,
Желтые совбарышни заставят
Долго любоваться на луну...

Бурые медведи спали... Волки
Свадьбами хотели подарить
Камыши, которые замолкли
И не собирались говорить.
1928

ОЙ, ШЛИ ПОЛКИ...

1

Ой, шли полки — больно на ногу легки,
Партизанская громада, разноцветные
портки.

Шли врагов добивать,
Себе долю добывать!
От заплаты на заплату
Горе ноги свесило.
Ой, ходили сват на свата,
Брат на брата — весело!
И вот первоклассный
Взведен парабеллум.
В одних руках — красный,
В других руках — белый.
Клал пальцы на курок
Ярый ветер-сиверок,
Длинный, черный,
Чертом нареченный,
И рычал парабеллум
От утра и до утра,
И от страха стала белой
Синяя Звени-гора.

2

И поныне на вспомине
По-за Доном и Донцом:
У Звени-горы в долине
Повстречался сын с отцом.

Звезды, видя все, страдали
И глядели на луну,
Звезды были, как медали
За японскую войну.

Ветер шел походкой шаткой
По обеим сторонам...
Закрутил родитель шашкой,
Сын привстал на стременах...

3

Распустила хвост павлиний
Цвет-долина ровная,
И осталась в той долине
Долюшка сыновняя...

У тропиночки бросовой,
У куста-подножника,
Где на ветках вересовых
Стыли капли дождика;

Где горели медуницы,
Тихие и ясные,
Где волной лилась пшеница
Возле леса частого.

А полкам идти,
А друзьям тужить,
А врагам друзей
Все равно не жить!

1931

ОДИНОЧЕСТВО

Через всю лесную снедь и заметь
И полей великую кайму
Я иду с горящими глазами,
Не простив обиды никому —

Ни сестре, ни матери, ни другу,
Ни ветрам, принесшим кутерьму.
Я иду один зеленым лугом,
Славя день и отвергая тьму.

Так ходили странники-калики,
С посохом — немым поводырем...
Так живу я, горестный и дикий,
В полном одиночестве своем.

И вчера, позавчера и ныне,
Смертно окружая зеленя,
Стебли искалеченной полыни
Начали злословить про меня.

И звенят — страна моя лесная
И озера, полные язей,
«Где они, друзья твои?»
«Не знаю!»
Может быть, и не было друзей.

1932

БАЛЛАДА О ТРЕХ БРАВЫХ ПАРНЯХ

День врезался в славу. Долины цветут.
Три бравые парня дорогой идут.
Один говорит:
«От беды до хвалы
Я шел, как вода с гор,
Как нитка идет через дырку иглы,
Как в дерево входит топор.

Я принял лихие щедроты войны
И шесть деревень стер.
Я шел через логово сатаны
И кровных его сестер.

Об этом сейчас кричу и пою:
Бывают, друзья, дела.
Пуля прошла через грудь мою,
А смерть меня не взяла».

Другой говорит:
«Через пять морей
Бежал я, покинув кров.
Я видел, как крылья нетопырей
Росли на груди ветров.

Ветра оперялись. А впереди
Море гремело так,
Как два миллиона «уйди-уйди!»
И триста тысяч литавр.

Я сразу прошел штормовой ликбез
И видел, как все,— одно:
Вода поднялась до отверстых небес
И мигом открыла дно.

Открылась пред нами подводная твердь.
Ну, кустики там. Лоза.
И рядом на горке мамашка-смерть
Таращит на нас глаза».

И третий сказал:
«Тяжело говорить
О том, что берег и хранил...
Я мог бы рукой звезду уронить
И, каюсь,— не уронил.

Она мое сердце взяла в полон
Сияньем ярче зари.
И я пожалел ее и не тронул:
Коль надо гореть — гори!

И вот вдалеке от родного дома,
За тысячу полных верст,
Я видел рожденье и гибель грома,
Рожденье и гибель звезд.

Мосты, переулки, дороги и тропы,
Страданья такой высоты,
Когда открывается только пропасть
И в пропасти только ты,

Когда останавливаются моторы
И ветер кричит: «Умри!»
Я видел бурю, перед которой
Бледнеют бури земли!

Паденье! Паденье! Слепой горизонт.
Обвал. Гроза. Облака.
И смерть сама развернула зонт,
Сказала:
«Прыгай! Пока!»

Качается горький полуденный зной,
Три бравые парня идут стороной.
Пред ними дороги простор вековой,
Деревни, поселки, селенья,
За ними, укрытые душной травой,
Три смерти идут в отдаленье.

1933



Демьян Бедный

ГЛАВНАЯ УЛИЦА

Поэма

1917—7/XI—1922 г.

Трум-ту-ту-тум!
Трум-ту-ту-тум!
Движутся, движутся, движутся, движутся,
В цепи железными звеньями нижутся,
Поступью гулкою, грозно идут.
Грозно идут,
Идут,
Идут
На последний, на главный редут.

Главная Улица в панике бешеной:
Бледный, трясущийся, словно помешанный,
Страхом смертельным внезапно ужаленный,
Мечется — клубный делец накрахмаленный,
Плут-ростовщик и банкир продувной,
Мануфактурщик и модный портной,
Туз-меховщик, ювелир патентованный,—
Мечется каждый, тревожно-взволнованный
Гулом и криками, издали слышными,
У помещений с витринами пышными,
Средь облигаций меняльной конторы,—
Русский и немец, француз и еврей
Пробуют петли, сигналы, запоры:
— Эй, опускайте железные шторы!
— Скорей!
— Скорей!
— Скорей!
— Скорей!
— Вот их проучат, проклятых зверей,
Чтоб бунтовать зареклися навеки! —
С грохотом падают тяжкие веки
Окон зеркальных, дубовых дверей.
— Скорей!

— Скорей!
— Что же вы топчетесь, будто калеки?
Или измена таится и тут!
Духом одним с этой сволочью дышите?
— Слышите?..
— Слышите?..
— Слышите?..
— Слышите?..
— Вот они... Видите? Вот они, тут!..
— Идут!
— Идут!

С силами, зревшими в нем, необъятными,
С волей единой и сердцем одним,
С общею болью, с кровавыми пятнами
Алых знамен, полыхавших над ним,
Из закоулков,
Из переулков,
Темных, размытых, разрытых, извилистых,
Гневно взметнув свои тысячи жилистых,
Черных, корявых, мозолистых рук,
Тысячелетьями связанный, скованный,
Бурным порывом прорвав заколдованный
Каторжный круг,
Из закоптелых фабричных окраин
Вышел на Улицу Новый Хозяин,
Вышел — и все изменилося вдруг:
Дрогнула, замерла Улица Главная,
В смутно-тревожное впав забытье,—
Воля стальная, рабоче-державная,
Властной угрозой сковала ее:
— Это — мое!!
Улица эта, дворцы и каналы,
Банки, пассажи, витрины, подвалы,
Золото, ткани, и снедь, и питье,—
Это — мое!!
Библиотеки, театры, музеи,
Скверы, бульвары, сады и аллеи,
Мрамор и бронзовых статуй литье,—
Это — мое!!.

Воем ответила Улица Главная.
Стал богатырь. Загражден ему путь.
Хищных стервятников стая бесславная
Когти вонзила в рабочую грудь.

Вмиг ощетинясь штыками и пиками,
Главная Улица — страх позабыт! —
Вся огласилася воплями дикими,
Гиком и руганью, стонами, криками,
Фырканьем конским и дробью копыт.
Прыснули злобные пьяные шайки
Из полицейских, жандармских засад:
— Рысью... в атаку!
— Бери их в нагайки!
— Бей их прикладом!
— Гони их назад!
— Шашкою, шашкой, которые с флагами,
Чтобы вперед не сбирались ватагами,
Знали б, ха-ха, свой станок и верстак,
Так их! Так!!
— В мире подобного нет безобразия!
— Темная масса!..
— Татарщина!..
— Азия!..
— Хамы!..
— Мерзавцы!..
— Скоты!..
— Подлецы!..
— Вышла на Главную рожа суконная!
— Всыпала им жандармерия конная!
— Славно работали тоже донцы!
— Видели лозунги?
— Да, ядовитые!
— Чернь отступала, заметьте, грозя.
— Правда ль, что есть средь рабочих убитые?
— Жертвы... Без жертв, моя прелесть, нельзя!..
— Впрок ли пойдут им уроки печальные?
— Что же, дорвутся до горшей беды!

Вновь засверкали витрины зеркальные,
Всюду кровавые смыты следы.
Улица злого полна ликования,
Залита светом вечерних огней.
Чистая публика всякого звания
Шаркает, чавкает снова на ней,
Чавкает с пошло-тупою беспечностью,
Меряя срок свой чавкающий вечностью,
Веруя твердо, что с рабской судьбой
Стерпится, свыкнется «хам огорошенный»,
Что не вернется разбитый, отброшенный,
Глухо рокочущий где-то прибой!

Снова...
Снова.
Бьет роковая волна...
Гнется гнилая основа...
Падает грузно стена.
— На!..
— На!..
— Раз-два,
Сильно!..
— Раз-два,
Дружно!..
— Раз-два,
В ход!..
Грянул семнадцатый год.

— Кто там?
Кто там
Хнычет испуганно: «Стой!»
— Кто по лихим живоглотам
Выстрел дает холостой?
— Кто там виляет умильно?
К черту господских пролаз!
— Раз-два,
Сильно!..
— Е-ще
Раз!..
— Нам подхалимов не нужно!
Власть — весь рабочий народ!
— Раз-два,
Дружно!..
— Раз-два,
В ход!..
— Кто нас отсюдова тронет?
Силы не сыщется той!

. . . .

Главная Улица стонет
Под пролетарской пятой!!

ЭПИЛОГ

Петли, узлы — колеи исторической...
Пробил — второй или первый? — звонок.
Грозные годы борьбы титанической —
Вот наш победный лавровый венок!

Братья, не верьте баюканью льстивому:
«Вы победители! Падаем ниц».
Хныканью также не верьте трусливому:
«Нашим скитаньям не видно границ!»

Пусть нашу Улицу числят задворками
Рядом с Проспектом врага — Мировым.
Разве не держится он лишь подпорками
И обольщеньем, уже не живым?!

Мы, наступая на нашу, на Главную,
Разве потом не катилися вспять?
Но, отступая пред силой неравною,
Мы наступали. Опять и опять.

Красного фронта всемирная линия
Пусть перерывиста, пусть не ровна.
Мы ль разразимся словами уныния?
Разве не крепнет, не крепнет она?

Стойте ж на страже добытого муками,
Зорко следите за стрелкой часов.
Даль сотрясается бодрыми звуками,
Громом живых боевых голосов!

Братья, всмотритесь в огни отдаленные,
Вслушайтесь в дальний рокочущий шум:
Это резервы идут закаленные.
Трум-ту-ту-тум!
Трум-ту-ту-тум!

Движутся, движутся, движутся, движутся,
В цепи железными звеньями нижутся,
Поступью гулкою грозно идут,
Грозно идут,
Идут,
Идут
На последний всемирный редут!..

<7 ноября> 1922

СНЕЖИНКИ

Засыпала звериные тропинки
Вчерашняя разгульная метель,
И падают, и падают снежинки
На тихую задумчивую ель.

Заковано тоскою ледяною
Безмолвие убогих деревень.
И снова он встает передо мною —
Смертельною тоской пронзенный день.

Казалося: земля с пути свернула.
Казалося: весь мир покрыла тьма.
И холодом отчаянья дохнула
Испуганно-суровая зима.

Забуду ли народный плач у *Горок*,
И проводы вождя, и скорбь, и жуть,
И тысячи лаптишек и опорок,
За Лениным утаптывавших путь!

Шли лентою с пригорка до ложбинки,
Со снежного сугроба на сугроб.
И падали, и падали снежинки
На ленинский — от снега белый — гроб.

<21 января> 1925



Александр Безыменский

ШАГИ ВОЙНЫ

(Отрывки из поэмы «Городок»)

6

Слова любви — как четкий рапорт.
А уверенья — как звоны шпор...
Склоиился к даме влюблеииый прапор,
Ловя влюблеииый и страстный взор.

Но вот увидел он солдата.
Солдат ие взял под козырек...
Солдата прапор кроет матом,
Большим загибом в триста строк.
И сиова голос мелодичен
В речах о Марсе или Фебе...
А в мыслях: сотию зуботычни
Солдату завтра даст фельдфебель.

7

Ревет чья-то медная глотка:
— Миллион телеграмм и поздннх, и раиинх!
— Оперативная сводка...
— Сотии убитых и раиеиых...

Молится старушка в церковке убогой:
— Христе, спаситель, ие погуби...—
Хочет вымолить, бедная, у бога —
Не был бы в списке, где значится «убит»...

Но, может, завтра иад похоронным
Костром невиданным свинцовых букв
Сверится сердце листком спаленным,
А мысль иаденет иеснимаемый клобук...



Николай Тихонов

* * *

Огонь, веревка, пуля и топор,
Как слуги, кланялись и шли за нами,
И в каждой капле спал потоп,
Сквозь малый камень прорастали горы,
И в прутике, раздавленном ногою,
Шумели чернорукие леса.

Неправда с нами ела и пила,
Колокола гудели по привычке,
Монеты вес утратили и звон,
И дети не пугались мертвецов.
Тогда впервые выучились мы
Словам прекрасным, горьким и жестоким.

1919—1921

* * *

Полюбила меня не любовью,—
Как березу огонь — горячо,
Веселее зари над становьем
Молодое блестело плечо.

Но ни песней, ни бранью, ни ладом
Не ужились мы долго вдвоем,—
Убежала с угрюмым номадом,
Остробоким свистя канком.

Ночью, в юрте, за ужином грубым
Мне якут за охотничий нож
Рассказал, как ты пьешь с медногубым
И какие подарки берешь.

«Что же, видно, мои были хуже?»
— «Видно, хуже», — ответил якут,
И рукою, лиловой от стужи,
Протянул мне кусок табаку.

Я ударил винтовкою оземь,
Взял табак и сказал: «Не виню.
Видно, брат, и сожженной березе
Надо быть благодарной огню».

1920

* * *

Наши комнаты стали фургонами,
Заскрипели колес обода, —
А внизу волосами зелеными
Под луною играет вода.

И мы едем мостами прозрачными
По земле и по небу вперед.
Солнце к окнам щеками кумачными
Прижимается и поет.

В каждом сердце — июльский улей
С черным медом и белым огнем,
Точно мы впервые согнули
Свои головы над ручьем.

Мы не знаем, кто наш вожатый
И куда фургоны спешат,
Но, как птица из рук разжатых,
Ветер режет крылом душа.

1921

* * *

Мы разучились нищим подавать,
Дышать над морем высотой соленой,
Встречать зарю и в лавках покупать
За медный мусор — золото лимонов.

Случайно к нам заходят корабли,
И рельсы груз проносят по привычке;
Пересчитай людей моей земли —
И сколько мертвых встанет в перекличке.

Но всем торжественно пренебрежем.
Нож сломанный в работе не годится,
Но этим черным, сломанным ножом
Разрезаны бессмертные страницы.

Ноябрь 1921

* * *

Не заглушить, не вытоптать года,—
Стучал топор над необъятным срубом,
И вечностью каленая вода
Вдруг обожгла запекшиеся губы.

Владеть крылами ветер научил,
Пожар шумел и делал кровь янтарной,
И брагой темной путников в ночи
Земля поила благодарно.

И вот под небом, дрогнувшим тогда,
Открылось в диком и простом убранстве,
Что в каждом взоре пенится звезда
И с каждым шагом ширится пространство.

1922

ПЕСНЯ ОБ ОТПУСКНОМ СОЛДАТЕ

Батальонный встал и сухой рукой
Согнул пополам камыш:
«Так отпустить проститься с женой,
Она умирает, говоришь?

Без тебя винтовкой меньше одной —
Не могу отпустить. Погоди:
Сегодня ночью последний бой.
Налево кругом — иди!»

...Пулемет задыхался, хрипел, бил,
И с флангов летел трезвон,
Одиннадцать раз в атаку ходил
Отчаянный батальон.

Под ногами утренних лип
Уложили сто двадцать в ряд.
И табак от крови прилип
К рукам усталых солдат.

У батальонного по лицу
Красные пятна горят,
Но каждому мертвецу
Сказал он: «Спасибо, брат!»

Рукою, острее ножа,
Видели все егеря,
Он каждому руку пожал,
За службу благодаря.

Пускай гремел их ушам
На другом языке отбой,
Но мертвых руки по швам
Равнялись сами собой.

«Слушай, Денисов Иван!
Хоть ты уж не егерь мой,
Но приказ по роте дан,
Можешь идти домой».

Умолкли все — под горой
Ветер, как пес, бежал.
Сто девятнадцать держали строй,
А сто двадцатый стал.

Ворон сорвался, царапая лоб,
Крича, как человек.
И дымно смотрели глаза в сугроб
Из-под опущенных век.

И лошади стали трястись и ржать,
Как будто их гнали с гор,
И глаз ни один не смел поднять,
Чтобы взглянуть в упор.

Уже тот далеко ушел на восток,
Не оставив на льду следа,—
Сказал батальонный, коснувшись щек:
«Я, кажется, ранен. Да».

1919—1922

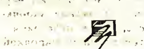
СЕНТЯБРЬ

Едва плеснет в реке плотва,
Листва прошелестит едва,
Как будто дальний голос твой
Заговорил с листвой.

И тоньше листья, чем вчера,
И суше трав пучок,
И стали смуглы вечера,
Твоих смуглее щек.

И мрак вошел в ночей кольцо
Неотвратимо прост,
Как будто мне закрыл лицо
Весь мрак твоих волос.

1937



Михаил Светлов

ВИХРИ

Между глыбами снега — насыпь,
А по насыпи — рельс линии...
В небе дремлющем сумрак синий,
Да мерцающих звезд чуть видна сыпь.

Заяц вымыл свой ранний наряд
И привстал на задние лапочки
Посмотреть, как в небе заря
Разбегается красной шапочкой.

Дальний лязг застучал угрозой,
Вниз по насыпи заяц прыжком,
Увидал: за отцом-паровозом
Стая вагончиков поспешает гуськом.

Зазвенели стальные рельсы,
Захрипел тяжело гудок...
— Осмелься,
И стань поперек!

... А там, где прошли вихри,
Прижавшись тесно друг к другу,
Рассказывал заяц зайчихе
Про вьюгу.

1921

ДВОЕ

Они улеглись у костра своего,
Бессильно раскинув тела,
И пуля, пройдя сквозь висок одного,
В затылок другому вошла.

Их руки, обнявшие пулемет,
Который они стерегли,
Ни вьюга, ни снег, превратившийся в лед,
Никак оторвать не могли.

Тогда к мертвецам подошел офицер
И грубо их за руки взял,
Он, взглядом своим проверяя прицел,
Отдать пулемет приказал.

Но мертвые лица не сводит испуг,
И радость уснула на них...
И холодно стало третьему вдруг
От жуткого счастья двоих.

1924

* * *

Я в жизни ни разу не был в таверне,
Я не пил с матросами крепкого виски,
Я в жизни ни разу не буду, наверно,
Скакать на коне по степям аравийским.

Мне робкой рукой не натягивать парус,
Веслом не взмахнуть, не кружить в урагане,—
Атлантика любит соленого парня
С обветренной грудью, с кривыми ногами...

Стеной за бортами льдины сожмутся,
Мы будем блуждать по огромному полю,—
Так будет, когда мне позволит Амундсен
Увидеть хоть издали Северный полюс.

Я, может, не скоро свой берег покину,
А так хорошо бы под натиском бури,
До косточек зная свою Украину,
Тропической ночью на вахте дежурить.

В черниговском поле, над сонною рощей
Подобные ночи еще не спускались,—
Чтоб по небу звезды бродили на ощупь
И в темноте на луну натыкались...

В двенадцать у нас запирают ворота,
Я мчал по Фонтанке, смешавшись с толпою,
И все мне казалось: за поворотом
Усатые тигры прошли к водопою.

1926

ЖИВЫЕ ГЕРОИ

Чубатый Тарас
Никого не щадил...
Я слышу
Полуночным часом,
Сквозь двери:
— Андрий! Я тебя породил!.. —
Доносится голос Тараса.

Прекрасная панна
Тиха и бледна,
Распущены косы густые,
И падает наземь,
Как в бурю сосна,
Пробитое тело Андрия...

Полтавская полночь
Над миром встает...
Он бродит по саду свирепо,
Он против России
Неверный поход
Задумал — изменник Мазепа.

В тесной темнице
Сидит Кочубей
И мыслит всю ночь о побеге,
И в час его казни
С постели своей
Поднялся Евгений Онегин:

— Печорин! Мне страшно!
Всюду темно!
Мне кажется, старый мой друг,
Пока Достоевский сидит в казино,
Раскольников глушит старух!..

Звезды уходят
За темным окном,
Поднялся рассвет из тумана...
Толчком паровоза,
Крутым колесом
Убита Каренина Анна...

Товарищи классики!
Бросьте чудить!
Что это вы, в самом деле,
Героев своих
Порешили убить
На рельсах,
В петле,
На дуэли?..

Я сам собираюсь
Роман написать —
Большущий!
И с первой страницы
Героев начну
Ремеслу обучать
И сам помаленьку учиться.

И если, не в силах
Отбросить невроз,
Герой заскучает порою,
Я сам лучше кинусь
Под паровоз,
Чем брошу на рельсы героя.

И если в гробу
Мне придется лежать,—
Я знаю:
Печальной толпою
На кладбище гроб мой
Пойдут провожать
Спасенные мною герои.

Прохожий застынет
И спросит тепло:
— Кто это умер, приятель? —
Герои ответят:
— Умер Светлов!
Он был настоящий писатель!

1927

ВЫДУМКА

Девушка от общества вдали
Проживала на краю земли,
Выдумкой, как воздухом, дышала,
Выдумке моей дышать мешала.

На краю земли она жила,
На краю земли — я повторяю...
Жалко только, что земля кругла
И что нет ей ни конца, ни краю...

1929

ПЕСЕНКА

Чтоб ты не страдала от пыли дорожной,
Чтоб ветер твой след не закрыл,—
Любимую, на руки взяв осторожно,
На облако я усадил.

Когда я промчуся, ветра обгоняя,
Когда я пришпорю коня,
Ты с облака, сверху нагнись, дорогая,
И посмотри на меня!..

Я другом ей не был, я мужем ей не был,
Я только ходил по следам,—
Сегодня я отдал ей целое небо,
А завтра всю землю отдам!

1932

ПЕСНЯ СЛЕПЦОВ

Ох, поет соловей на кладбище,
Над могилой шумят тополя...
Сосчитай — сколько сирот и нищих
Навсегда схоронила земля.

Я стою перед близкой могилой,
Я давно свое счастье забыл...
Хоть бы где-нибудь, где-нибудь, милый,
Хоть какой-нибудь родственник был!

Ты живого меня пожалей-ка,
Ты слепого обрадуй во мгле.
Далеко покатилась копейка
По кровавой, по круглой земле!

Ни угла и ни теплой постели,—
По ослепшей земле мы идем,
Нашу долю заносит метелью,
Заливает осенним дождем...

Все богатство — клюка да веревка,
Все богатство — считай, не считай...
Разменяй же, господь, сторублевку,
По полтинничку нищим подай!

Ты живого меня пожалей-ка,
Ты слепого обрадуй во мгле.
Далеко покатилась копейка
По кровавой, по круглой земле!
1936



ЧЕРТОВЫ КУКЛЫ

От крутоседлой конницы татарской
Упрямый дух кумыса и конины
Смолой потек по городам и весям
До скопидомной ключницы Москвы.
Перепелиные стояли ночи,
И ржавый месяц колосом налитым
Тянулся к травам низким и сырым.
А за рекой стоял собачий лай,
Да резал воздух свист бича тугого,
Да бабий визг, да цокот соловья
Купеческого. А на Лобном месте
Бездомные собаки копошились
Над воровскою головой. Гудел
Сусальный перезвон. Пред византийской
Широкоглазой важностью иконы
Кудлатый инок плакал и вопил.
Потом кричал барашком недобитым
Вихрастый Дмитрий — и бродил суровый
Широкоплечий Годунов. А там
От тополей и лиственниц литовских
Вскрутилась пыль; там рыжие литвины
В косматых шапках н плащах медвежьих
Раскачнвались в седлах; там в пыли
Маячили невиданные крылья
Варшавской конницы. И грузным шагом
Там коренастая брела пехота.
И трубные тугие голоса
Коней бесили: «На Москву, вперед!»
И белобрысый человек глядел
На солнечные головы соборов.
А в черных дебрях, в пустынях медвежьих,
Корявым плугом ковыряя землю,
Ждал крестьянин ночного бездорожья.

Чтоб, напустив на терема бояр
Багрового и злого петуха,
Удариться на Волгу и на Дон,
Пройти на Яик, сгинуть в Забайкалье,
Лишь изредка далекую Москву
Разбойной перекличкой беспокоить.
«Сарынь на кичку!» — начинает Дон.
«Сарынь на кичку!» — отвечает Волга.
«Сарынь на кичку!» — стоит по тайге
И замирает в чаще и чапыге...
Дождь пролетел. Крутые облака
Прошли медлительными косяками.
Будяк колючий и дурман белесый
Повырастали из замков ружейных,
Да ловкая завила повилика
На них щиты с нерусскими словами.
Дождь прошумел. И вновь сусальный звон
Повис над деревянною Москвою.
Седобородым духовенством снова
Задымлены широкие соборы.
И вновь венец напяливают туго
Послушнику на отроческий лоб.
А вниз по Волге, к синим Жигулям,
К хвалынским волнам пролетают струги,
Саратов падает, кровоточа,
Самара руки в ужасе ломает,
Смерд начинает наводить правеж,
И вся земля кричит устами смерда:
«Смерть! Смерть! Убей и пó ветру раздуй
Гнездо гадюк и семена крапивы,
Бей кистенем ярыжек и бояр,
Наотмашь бей, наметься без промашки,
Чтоб на костях, на крови их взошла
Иная рожь и новая пшеница...»
Но деньги свой не потеряли вес,
Но золото еще блестит под солнцем...
И движутся наемные полки,
Нерусские сверкают алебарды,
И пушечный широкогорлый рев
Нерусским басом наполняет степи...
Палач поет, не покладая рук,
И свищет ветер по шатрам пустынным.
Давно истлели кости казаков,
Давно стрелецкая погибла воля,

Давно башка от звона и кажденья
Бурлящим квасом переполнена.
И бунтовщицкая встает слободка,
И женщина из темного оконца,
Целуя крест, холодным синим ногтем
На жертвы кажет. А пила грызет,
Подскакивает молоток, и отрок
Стирает пот ладонью заскорузлой
С упрямого младенческого лба.
О, брадобрей! Уже от ловких ножниц
Спасаются брюхатые бояре,
И стриженые бороды упрямо
Топорщатся щетиною седой,
А ты гвардейским ржавым тесаком
Нарыв вскрываешь, пальцем протирая
Глаза от гноя брызнувшего. Ты
У палача усталого берешь
Его топор,— и головы стрельцов,
Как яблоки, валятся. И в лицо
Европе изумленной дышишь ты
Горячим и вонючим перегаром.
Пусть крепкой солью и голландской водкой
И въедливой болезнью ты наказан,
Все так же величаво и ужасно
Кошачье крутоскулое лицо.
И вот, напялив праздничный камзол,
Ты в домовину лег, скрестивши руки,
Безумный трудолюбец.
Во дворце ж
Растрепанная рыжая царевна
Играет в прятки с певчим краснощеким
И падает на жаркие подушки,—
И арапчонок в парчово́й чалме
Под дребезжанье дудки скоморошьей
Задергивает занавесь, смеясь.
Еще висящих крыс не расстрелял
Курносый немчик в парике кудрявом,
Еще игрушечные спят бригады
И генералы дремлют у дверей,
А женщина в гвардейском сюртуке
Взбесившуюся лошадь направляет,—
И средь кипящих киверов и шляп
Немецкий выговор и щек румянец
Военным блудом распалились. Пыль
Еще клубится, выстрелы еще

Звучат неловко в воздухе прохладном,
А пудреная никнет голова
На лейб-гвардейское сукно кафтана,
Да ражий офицер, откинув шпагу,
Целует губы сдобные.
В степях,
Где Стенькин голос раздуваем ветром,
Опять шумит, опять встает орда,
Опять глаза налиты вдохновеньем,
Жгут гарнизоны, крепости громят,
Чиновники на виселицах пляшут,
Скрипят телеги, месяц из травы
Вылазит согнутым татарским луком.
Вот-вот гроза ударит в Петербург,
Вот-вот царицу за̀ косы потащат
По мостовой и заголят на срам
Толпе, чтоб каждый, в ком еще живет
Любовь к свободе, мог собрать слюну
И плюнуть ей на про́клятое чрево...
Нет Пугачева... Кровь его легла
Ковром расшитым по́д ноги царице,
И шла по нем царица — и пришла
К концу, а на конце — ночной горшок
Принял ее последнее дыханье...
И труп был сизым, как осенний день,
И осыпалась пудра на подушки
С двойного подбородка...
Налетай
И падай мертвым, сумасшедший рыцарь.
И белокурый мальчик вытирает
Широкий лоб батистовым платком.
А там гудит и ссорится Париж,
И между тел, повиснувших уныло
С визгливых фонарей, уже бредет
Артиллерист голодный. Может быть,
Песков египетских венец кипящий
Венчает голову с космою черной,
И папская трехглавая тиара
Упала к узким сапогам его.
И дикий снег посеребрил виски
Под шляпой треугольною и брови
Осыпал нежной пудрой снеговой...
Все может быть... А нынче только свист
Стремящегося вниз ножа да голос
Судьи, читающего приговор.

А там, в России, тайные кружки,
На помочах ведомая свобода
Да лысый лоб, склоненный меж свечей
К листам бумаги — скользким и шуршащим.
Поездки по дорогам столбовым,
Шлагбаумы, рожки перед восходом,
И, утомленный скукой трудовой,
Царь падает в подушки шарабана.
А в Таганроге — смерть. Дощатый гроб,
Каждения, цветы и панихиды,
А к северу яругами бредет
Веселый странник, ясные глаза
Подняв в гремящее от песен небо.
И солнце пробегает суетливо
По лысому сияющему лбу...
Цареубийцам нет пощады ныне.
Пусть бегает растрепанный певец
Средь войска оробелого. Пускай
Моряк перчатку теребит и жадно
Ждет помощи. Но серые глаза
И бакенбарды узкие проходят
Промеж солдат, и пьяный канонир
Наводит пушку на друзей народа.
Так в год из года. Тот же грузный шаг,
Немецкий говор, холод глаз стеклянных,
Махорочная радость, пьяный стон и...
И повинующиеся солдаты.
Но месть старинная еще жива,
Еще не сгибла в камне и железе,
Еще есть юноши с огнем в глазах,
Еще есть девушки с любовью к воле.
Они выходят на широкий путь
Разведчиками будущих восстаний.
...Карета сломана... На мостовой
Сырая куча тряпок, мяса, крови,
И рыжий дворник навалился враз
На юношу в студенческой фуражке.
Но восстают загубленные люди,
И Стенька четвертованный встает
Из четырех сторон. И голова
Убитого Емельки на колу
Вращается, и приоткрылся рот,
Чтоб вымолвить неведомое слово.

1921

ТИЛЬ УЛЕНШПИГЕЛЬ

Монолог

Я слишком слаб, чтоб латы боевые
Иль медный шлем надеть! Но я пройду
По всей стране свободным менестрелем,
Я у дверей харчевни запою
О Фландрии и о Брабанте милом.
Я мышью остроглазою пролезу
В испанский лагерь, ветерком провею
Там, где и мыши хитрой не пролезть.
Веселые я выдумаю песни
В насмешку над испанцами, и каждый
Фламандец будет знать их наизусть.
Свинью я на заборе нарисую
И пса ободранного, а внизу
Я напишу: «Вот наш король и Альба».
Я проберусь шутом к фламандским графам,
И в час, когда приходит пир к концу,
И погасают уголья в камине,
И кубки опрокинуты,— я тихо,
Перебирая струны, запою:
«Вы, чьим мечом прославлен Гравелин,
Вы, добрые владетели поместий,
Где зреет розовый ячмень,— зачем
Вы покорились мерзкому испанцу?
Настало время — и труба пропела,
От сытной жизни разжирели кони,
И дедовские боевые седла
Покрылись паутиной вековой.
И ваш садовник на шесте скрипучем
Взамен скворешни выставил шелом,
И в нем теперь скворцы птенцов выводят.
Прославленным мечом на кухне рубят
Дрова и колья, и копьем походным
Подперли стену у свиного хлева!»
Так я пройду по Фландрии родной
С убогой лютней, с кистью живописца
И в остроухом колпаке шута.
Когда ж увижу я, что семена
Взросли, и колос влагою наполнен,
И жатва близко, и над тучной нивой
Дни равноденственные протекли,
Я лютню разобью об острый камень,

Я о колено кисть переломаю,
Я отшвырну свой шутовской колпак
И впереди несущих гибель толп
Вождем я встану. И пойдут фламандцы
За Тилем Уленшпигелем — вперед.
И вот с костра я собираю пепел
Отца, и этот прах непримиренный
Я в ладанку зашью и на шнурке
Себе на грудь повешу! И когда
Хотя б на миг я позабуду долг
И увлекусь любовью или пьянством
Или усталость овладеет мной,—
Пусть пепел Клааса ударит в сердце.
И силой новою я преисполнюсь,
И новым пламенем воспламенюсь,
Живое сердце застучит грозней
В ответ удару мертвенного пепла.
1922

СКАЗАНИЕ О МОРЕ, МАТРОСАХ И ЛЕТУЧЕМ ГОЛЛАНДЦЕ

Знаешь ли ты сказание о Валгалле? Ходят по морю викинги, скрекинги ходят по морю. Ветер надувает парус, и парус несет ладью. И неизвестные берега раскидываются перед воинами. И битвы, и смерть, и вечная жизнь в Валгалле. Сходят валкирии — в облаке дыма, в пении крыльев за плечами — и руками, нежными, как ветер, подымают души убитых. И летят души на небо и садятся за стол, где яства и мед. И Один приветствует их. И есть ворон на троне у Одина, и есть волк, растянувшийся под столом. Внизу скалы, тина и лодки, наверху — Один, воины и ворон. И если приходит в бухту судно, встает Один, и воины приветствуют мореходов, подымая чаши. И валкирии трубят в рога, прославляя храбрость мореходов. И пируют внизу моряки, а наверху души героев. И говорят: «Вечны Валгалла, Один и ворон. Вечны море, скалы и птицы».

Знайте об этом, сидящие у огня, бродящие под парусами и стреляющие оленей!

(Из сказаний Свена-Песнетворца)

Замедлено движение земли
Развернутыми нотными листами.
О флейты, закипевшие вдали,

О нежный ветр, гудящий под смычками...
Прислушайся: в тревоге хоровой
Уже труба подъемлет глас державный,
То вагнеровский двинулся прибой,
И восклицающий, и своенравный...

1

ПЕСНЯ О МОРЕ И НЕБЕ

К этим берегам, поросшим шерстью,
Скользкими ракушками и тиной,
Дивно скрученные ходят волны,
Растекаясь мылом, закипевшим
На песке. А над песками скалы.
Растопыренные и крутые.—
Та, посмотришь, вытянула лапу
К самой тине, та присела крабом,
Та плавник воздела каменистый
К мокрым тучам. И помет бакланий
Известью и солью их осыпал...
А над скалами, над птичьим пухом
Северное небо, и как будто
В небе ничего не изменилось:
Тот же ворон на дубовом троне
Чистит клюв, и тот же волк поджарый
Растянулся под столом, где чаши
Рыжим пивом налиты и грузно
В медные начищенные блюда
Вывалены туши вепрей. Вечен
Дикий пир. Надвинутые туго,
Жаркой медью полыхают шлемы,
Груди волосатые расперты
Легкими, в которых бродит воздух.
И как медные и злые крабы,
Медленно ворочаясь и тяжко
Громыхая ржавыми щитами,
Вкруг стола, сколоченного грубо
Из досок сосновых, у кувшина
Крутогорлого они расселись —
Доблестные воины. И ночью
Слышатся их голоса и ругань,
Слышно, как от кулака крутого
Стонет стол и дребезжит посуда.

Поглядишь: и в облаках мигают
Суетливые зарницы, будто
Отблески от вычищенных шлемов,
Жарких броней и мечей широких...

2

ПЕСНЯ О МАТРОСАХ

А у берега рыбачьи лодки,
Весла и плетеные корзины
В чешуе налипшей. И под ветром
Сети, вывешенные на сваях,
Плещут и колышутся... Бывает,
Закипит вода под рыбьим плеском.
И оттуда, из морозной дали,
Двинется треска, взовьются чайки
Над водой, запрыгают дельфины,
Лакированной спиной сверкая,
Затрещат напруженные сети,
Женщины заголосят... И в стужу,
Полоща полотнищем широким,
Медленные выплывают лодки...
День идет серебряной трескою,
Ночь дельфином черным проплывает...
Те же голоса на прибережье,
Те же неводы, и та же тина.
Валуны, валы и шорох крыльев...
Но однажды, наклонившись набок,
Разрезая волны и стеная,
В бухту судно дивное влетело.
Ветер вел его, наполнив парус
Крепостью упрямою, как груди
Женщины, что молоком набухли...
Ворот заскрипел, запели цепи
Над заржавленными якорями,
И по сходням с корабля на берег
Выбежали страшные матросы...
Тот — как уголь, а глаза пылают
Белизной стеклянною, тот глиной
Будто вымазан и весь в косматой
Бороде, а тот окрашен охрой,
И глаза, расставленные косо,
Скользкими жуками копошатся...

И матросы не зевали: ночью,
В расплескавшемся вдали пыланье
Пламени полярного, у двери
Рыбака, стрелка иль китолова
Беспокойные шаги звучали,
Голоса, и пенье, и шепот...
И жена протягивала руки
К мерзлому оконцу, осторожно
Жаркие подушки покидая,
Шла к дверям... И вот в ночи несется
Щелканье ключа и дребезжанье
Растворяющейся двери... Ветер —
Соглядатай и веселый сторож
Всех влюбленных и беспутных — снегом
У дверей следы их заметает...
А в трактирах затевались драки,
Из широких голенищ взлетали
Синеглазые ножи, и пули
Застревали в потолочных балках...
Пой, матросская хмельная сила,
Голоси, целуйся и ругайся!
Что покинуто вдали... Размерный
Волн размах, качанье на канатах
И спокойный голос капитана.
Что развертывается вдали... Буруны,
Сединой гремящие певучей,
Доски, стонущие под ногами,
Жесткий дождь, жестокий ломоть хлеба
И спокойный голос капитана...

3

ПЕСНЯ О КАПИТАНЕ

Кто мудрее стариков окрестных,
Кто видал и кто трудился больше?..
Их сжигало солнце Гибралтара,
Им афинские гремели волны.
Горький ветр кремнистого Ассама
Волосы им ворошил случайно...
И, спокойной важностью сияя,
Вечером они сошлись в трактире,
Чтоб о судне толковать чудесном!
Там расселись старики, поставив
Ноги врозь и в жесткие ладони
Положив крутые подбородки...

И когда старейшиною было
Слово сказано о судне дивном,—
Заскрипела дверь, и грузный грянул
В доски шаг, и налетел веселый
Ветер с моря, снег и гул прибоя...
И осыпан снегом и овеян
Зимним ветром, встал пред стариками
Капитан таинственного судна.
Рыжекудрый и огромный, в драном
Он предстал плаще, широколобой
И кудлатой головой вращая,
Рыжий пух, как ржавчина, пробился
На щеках опухших, и под шляпой
Чешуей глаза окоченели...

4

ПЕСНЯ О РОЗЕ И СУДНЕ

Что сказали старцы капитану,
И о мудром капитанском слове.
— Уходи! Распахнутые воют
Пред тобой чужие океаны.
Южный ветер, иль заиндевелый
Пламень звезд, иль буйство рулевого
Паруса твои примчало в бухту...
— Уходи! Гудит и ходит дикий
Мыльный вал, на скалы налетая!
Горный ветр вольется в круглый парус.
Зыбь прибрежная в корму ударит,
И распахнутый — перед тобою —
Пламенный зияет океан! —
Мореходная покойна мудрость,
Капитан откинул плащ и руку
Протянул. И вот на мокрых досках
Роза жаркая затрепыхалась...
И, пуховою всклубившись тучей,
Запах поднялся, как бы от круглой
Розовой жаровни, на которой
Крохи ладана чадят и тлеют.
И в чаду и в запахе плавучем
Увидали старцы: закипает
В утлой комнате чужое море,
Где крутыми стружками клубится
Пена. И медлительно и важно
Вверх плывут ленивые созвездья,

Над соленой тишиной морскою
Чередой располагаясь дивной.
И в чаду и в запахе плавучем
Развернулся город незнакомый,
Пестрый и широкий, будто птица
К берегу песчаному прильнула,
Распустила хвост и разбросала
Крылья разноцветные, а шею
Протянула к влаге, чтоб напиться.
Проплывали облака, вставали
Волны, и, дугою раскатившись,
Подымались и тонули звезды...
И сквозь этот запах и сквозь пенье
Все грубей и крепче выступали
Утлое окно, сырые бревна
Низких стен и грубая посуда...
И когда растаял над столами
Стаей ласковою и плавучей
Легкий запах, влажная лежала
В черствых крошках и пролитом пиве
Брошенная роза, рассыпая
Лепестки, а на полу огромный
Был оттиснут шаг, потекший снегом.
А в окне виднелся каменистый
Берег, и, поскрипывая в пене
Грузною дощатой колыбелью,
Вздрагивало и моталось судно.
Видно было, как взлетели сходни,
Как у ворота столпились люди,
Как, толкаемые, закружились
Спицы ворота, как из кипящей
Пены медленная выползала
Цепь, наматываясь на точеный
И вращающийся столб, а после
По борту, разъеденному солью,
Вверх пополз широколапый якорь.
И чудесным опереньем вспыхнув,
Развернулись паруса. И ветер
Их напряг, их выпятил, и, круглым
Выпяченным полотном сверкая,
Судно дрогнуло и загудело...
И откинулись косые мачты,
И поет пенька, и доски стонут,
Цепи лязгают, и свищет пена...
Вверх взлетай, свергайся вниз с разбегу,

Снова к тучам, грохоча и воя,
Прыгай, судно!.. Видишь — над тобою
Тучи разверзаются, и в небе —
Топот, визг, сияние и грохот...
Воют воины... На жарких шлемах
Крылья раскрываются и хлещут,
Звякают щиты, в ножнах широких
Движутся мечи, и вверх воздеты
Пламенные копья... Слышишь, слышишь,
Древний ворон каркает и волчий
Вой несется!.. Из какого жбана
Ты черпал клубящееся пиво,
Сумасшедший виночерпий? Жаркой
Горечью оно пошло по жилам,
Разгулялось в сердце, в кровь проникло
Дрожжевою силой, вылетая
Перегаром и хрипящей песней...
И летит, и прыгает, и воет
Судно, и полощется на мачте
Тряпка черная, где человечий
Белый череп над двумя костями...
Ветр в полотнище, и волны в кузов,
Вымпел в тучу. Поворот. Навстречу
Высятся полярные ворота,
И над волнами жаровней круглой
Солнце выдвигается, и воды
Атлантической пылают солью...

1922

К ОГНЮ ВСЕЛЕНСКОМУ

Шли дни и годы неизменно
В огне желаний и скорбей,
И занавес взлетел — и сцена
Пылала заревом огней.
И в парике, в костюме старом,
Заученный поднявши взор,
Все с тем же пафосом и жаром
Нам декламировал актер.
Казалось, от созданья мира
Все так же выл и хлопотал
И бороду седую Лира
Все тот же ветер раздувал.
Все было скучно и знакомо,

Как примелькавшиеся сны,
От гула жестяного грома
До романтической луны.
Кисть декоратора писала
Всем надоевший павильон.
А зритель? Из пустого зала
Все так же восторгался он.
О театральные химеры!
Необычаен трудный вольт:
Пышноголового Мольера
Сменяет нынче Мейерхольд.
Он ищет новые дороги,
Его движения грубы...
Дрожи, театр старья, в тревоге:
Тебя он вскинет на дыбы.
И сердце радостное рвется
В еще неведомый туман,
Где новый Сганарель смеется,
Где рыщет новый Дон-Жуан.
Театр уже скончался старый
Под рокот лир и трубный гром.
Пора романтиков гитару
Фабричным заменить гудком.
Иди ж вперед тропой бессонной,
Назад с тревогой не гляди,
Дорогой революционной
К огню вселенскому иди.

1923

ФРОНТ

По кустам, по каменистым глыбам
Нет пути — и сумерки черней...
Дикие костры взлетают дыбом
Над собраньем веток и камней.
Топора не знавшие купавы
Да ручьи, не помнящие губ,
Вы задеты горечью отравы:
Душным кашлем, перекличкой труб.
Там, где в громе пролетали грозы,
Протянулись дымные обозы...
Над болотами, где спят чирки,
Не осока встала, а штыки...
Сгустки стеарина под свечами.

На трехверстке рощи и поля...
Циркулярами и циркулями
Штабы переполнены в края...
По масштабам точные расчеты
(Наизусть заученный урок)...
На трехверстке протянулись роты,
И передвигается флажок...
И передвигаются по кругу
Взвод за взводом...
Скрыты за бугром,
Батареи по кустам, по лугу
Ураганным двинули огнем...
И воронку за воронкой следом
Роет крот — и должен рыть опять...
Это фронт —
И, значит, непоседам
Нечего по ящикам лежать...
Это фронт —
И, значит, до отказа
Надо прятаться, следить и ждать,
Чтоб на мушке закачался сразу
Враг — примериваться и стрелять.
Это полночь,
Вставшая бессонно
Над болотом, в одури пустынь,
Это черный провод телефона,
Протянувшийся через кусты...
Тишина...
Прислушайся упрямо
Утлым ухом,
И поймешь тогда,
Как несется телефонограмма,
Вытянувшаяся в провода...
Приглядись:
Подрагивают глухо
Провода, протянутые в рань,
Где бубнит телефонисту в ухо
Телефона узкая гортань...
Это штаб...
И стынут под свечами
На трехверстке рощи и поля,
Циркулярами и циркулями
Комнаты наполнены в края...
В ночь ползком — и снова руки стынут,
Взвод за взводом по кустам залег.

Это значит:
В штабе передвинут
Боем угрожающий флажок.
Гимнастерка в дырьях и заплатах,
Вошь дотла проела полотно,
Но бурлит в бутылочных гранатах
Взрывчатое смертное вино...
Офицера, скачущего в поле,
Напоит и с лошади сшибет,
Гайдамак его напьется вволю —
Так, что и костей не соберет.
Эти дни, на рельсах, под уклоны
(Пролетают... пролетели... нет...)
С громом, как товарные вагоны,
Мечутся — за выстрелами вслед.
И на фронт, кострами озаренный,
Пролетают... Пролетели... Нет....
Песнями набитые вагоны,
Ветром взмыленные эскадроны,
Эскадрильи бешеных планет.
Катится дорогой непрорытой
В разбираемую бурей новь
Кровь, насквозь пропахнувшая житом,
И пропитанная сажей кровь...
А навстречу — только дождь постылый,
Только пулей жгущие кусты,
Только ветер небывалой силы,
Ночи небывалой черноты.
В нас стреляли —
И недострелили;
Били нас —
И не могли добить!
Эти дни,
Пройденные навылет,
Азбукою должно заучить.

1923

СМЕРТЬ

Страна в снегах, страна по всем дорогам
Исхожена морозом и ветрами;
Сугробы в сажень, и промерзла в сажень
Засеянная озимью земля.
И города, подобно пешеходам,

Оделись в лед и снегом обмотались,
Как шарфами и башлыками.
Грузно
Закопченные ночи надвигали
Гранитный свод, пока с востока жаром
Не начинало выдвигаться солнце,
Как печь, куда проталкивают хлеб.
И каждый знал свой труд, свой день и отдых.
Заводы, переполненные гулом,
Огромными жевали челюстями
Свою каменноугольную жвачку,
В донецких шахтах звякали и пели
Бадьи, несущиеся вниз, и мерно
Раскачивались на хрипящих тросах
Бадьи, несущиеся вверх.
Обычен
Был суток утомительный поход.

. . . .

И в это время умер человек.

. . . .

Страна в снегах, страна по всем дорогам
Исхожена морозом и ветрами.
А посредине выструганный гладко
Сосновый гроб, и человек в гробу.
И вкруг него, дыша и топоча,
Заиндевелые проходят люди,
Пронесшие через года, как дар,
Его слова, его завет и голос.
Над ним клонятся в тихие снега
Знамена, видевшие дождь и ветер,
Знамена, видевшие Перекоп,
Тайгу и тундру, реки и лиманы.
И срок настал:
Фабричная труба
Завыла, и за нею загудела
Другая, третья, дрогнул паровоз,
Захлебываясь паром, и, натужась
Котлами, засвистел и застонал.
От Николаева до Сестрорецка,
От Нарвы до Урала в голос, в голос
Гудки раскатывались и вздыхали,
Оплакивая ставшую машину
Огромной мощности и напряженья.
И в диких дебрях, где, обросший мхом,

Бормочет бор, где ветер повалил
Сосну в болото, где над тишиною
Один лишь ястреб крылья распахнул,
Голодный волк, бежавший от стрелка,
Глядит на поезд и, насторожив
Внимательное ухо, слышит долгий
Гудок и снова убегает в лес.
И вот гудку за беспримерной далью
Другой гудок ответствует. И плач
Котлов клубится над продрогшей хвоей.
И, может быть, живущий на другой
Планете, мечущейся по эфиру,
Услышит вой, похожий на полет
Чудовищной кометы, и глаза
Подымет вверх, к звезде зеленоватой.

. . . .

Страна в снегах, страна по всем дорогам
Исхожена морозом и ветрами,
А посредине выструганный гладко
Сосновый гроб, и человек в гробу.

1924

ТРУД

Этой зимой в заливе
Море окоченело.
Этой зимой не виден
Парус в студеной дали.

Встанет апрельское солнце,
Двинется лед заповедный
В море, открытое море
Вылетит шлюпка моя.

И за кормою высокой
Сети по волнам польются,
И под свинцовым грузилом
Станут на зыбкое дно.

Сельди, макрели, мерланы,
Путь загорожен подводный,
Жабры сожмите — и мимо,
Мимо плывите сетей!

Знает рыбацкая удаль
Рыбьи становища. Полон
Легкий баркас золотистой
И голубой чешуей.

Руль поверни, и на берег
Вылетит лодка. И руки,
Жадные и сухие,
Рыбу мою разберут.

Выйди, апрельское солнце,
Солнце труда и веселья,
Встань над соленой водою
В пламени жарких лучей!

Но за окном разгулялась
Злая февральская вьюга,
Снег пролетает, и ветер
Пальцем в окошко стучит.

В комнате жарко и тихо,
В миске картофель дымится,
Маятник ходит, и мерно
Песню бормочет сверчок.

Выйди, апрельское солнце,
Солнце труда и простора!
Лодка просмолена. Парус
Крепкой заштопан иглой.

1924

ОСЕНЬ

Осень морская приносит нам
Гулко клокочущее раздолье.
Ворот рубахи открыт ветрам,
Ветер лицо обдувает солью.
Я в это утро открыл глаза,
Полные тьмы и смолистой дремы,—
Вижу: прозрачное, как слеза,
Море стоит полосой знакомой.
Хворост по дачам приятель мой
С ночи собрал — и теперь протяжно
Чайник звенит... А над головой
Небо обмазано синькой влажной.

Нынче в редакцию не пойду
(Не одолеть мне осенней дури.)
В пыльном сарае свой прут найду,
Леску поправлю на самодуре...
Снова иду на рыбачий труд,
К старому вновь возвращаюсь делу;
Вьется, звенит за кормою прут,
Воду взрезает лесиной белой.
«Что же,— приятель мне говорит,—
Нет скумбрии, искупаться надо!»
В море с размаху! И вот кипит
Солью пропитанная прохлада.
Ветер за солнцем идет кругом:
Утром — низовый, горыщний — ночью...
В сети залезем и спим вдвоем.
Холод шевелит рубахи клочья.
Солнце приветствуют петухи,
Мрак улетает, и месяц тонет;
Так начинаются стихи,—
Ветер случайную рифму гонит.
Слово за словом, строка к строке,
Сердце налито соленой брагой.
Крепко зажат карандаш в руке,
Буквами кроется бумага.
Осень морская приносит нам
Песенный дух и зыбей раздолье.
Ворот рубахи открыт ветрам,
Ветер лицо обдувает солью.

1924

У МОРЯ

Над лиманской солью невеселой
Вечер намечается звездой...
Мне навстречу выбегают села,
Села нависают над водой...

В сумраке, без формы и без веса,
Отбежав за синие пески,
Подымает черная Одесса
Ребра, костяки и позвонки...

Что же? Я и сам еще не знаю,
Где присяду, где приют найду:
На совхозе ль, что ютится с краю,
У рыбачки ль в нищенском саду?

Я пойду тропинкою знакомой
По песку сухому, как навоз,
Мне навстречу выбежит из дому
Косоглазый деревенский пес...

Вспугнутая закружится чайка,
Тени крыльев лягут на песок,
Из окошка выглянет хозяйка,
Поправляя на плечах платок.

Я скажу: «Маруся, неужели
Вырос я и не такой, как был?
Год назад, в осенние недели,
Я на ближнем неводе служил...»

Сердце под голландкою забьется,
Заиграет сердце, запоет.
Но Маруся глянет, повернется,
Улыбнется и в курень пойдет.

Я — не тот. Рыбацкая сноровка
У меня не та, что год назад,—
Вышла сила, и сидит неловко
Неудобный городской наряд.

Над лиманом пролетают галки,
Да в заливе воет пароход...
Я не буду нынче у спасалки
Перекатывать по бревнам бот.

Я не буду жадными глазами
Всматриваться в тлеющий восток,
С переливами и бубенцами
Не заслышу боцманский свисток.

Я пойду дорогою знакомой
По песку, сухому, как навоз;
Мне навстречу выбежит из дому
Космоногий деревенский пес.

1924

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Кто услышал раковины пенье,
Бросит берег — и уйдет в туман;
Даст ему покой и вдохновенье
Окруженный ветром океан...

Кто увидел дым голубоватый,
Подымающийся над водой,
Тот пойдет дорогою проклятой,
Звонкою дорогою морской...

Так и я...
Мое перо писало,
Ум выдумывал,
А голос пел;
Но осенняя пора настала,
И в деревьях ветер прошумел...

И вдали на берегу широком
О песок ударилась волна,
Ветер соль развеял ненароком,
Чайки раскричались дотемна...

Буду скучным я или не буду —
Все равно!
Отныне я другой...
Мне матросская запела удаль,
Мне трещал костер береговой...

Ранним утром
Я уйду с Дальницкой,
Дынь возьму и хлеба в узелке,
Я сегодня
Не поэт Багрицкий,
Я — матрос на греческом дубке...

Свежий ветер закипает брагой,
Сердце ударяет о ребро...
Обернется парусом бумага,
Укрепится мачтою перо...

Этой осенью я понял снова
Скуку поэтической нужды;
Не уйти от берега родного,
От павлиньей
Радужной воды...

Только в море —
Бесшабашней песнь,
Только в море —
Мой разгул широк:
Подгоняй же, ветер вдохновенья,
На борт накренившийся дубок...

1924

НОЧЬ

Уже окончился день — и ночь
Надвигается из-за крыш...
Сапожник откладывает башмак,
Вколотив последний гвоздь;
Неизвестные пьяницы в пивных
Проклинают, поют, хрипят,
Склерозными раками, желчью пивной
Заканчивая день...
Торговец, расталкивая жену,
Окунается в душный пух,
Свой символ веры — ночной горшок
Задвигая под кровать...
Москва встречает десятый час
Перезваниванием проводов,
Свиданьями кошек за трубой,
Началом ночной возни...
И вот, надвинув кепи на лоб
И фотогеничный рот
Дырявым шарфом обмотав,
Идет на промысел вор...
И, уидервудов траурный марш
Покинув до утра,
Конфетные барышни спешат
Встречать героев кино.
Антенны подрагивают в ночи
От холода чуждых слов;
На циферблате десятый час
Отмечен косым углом...
Над столом вождя — телефон иссяк,
И зеленое сукно,
Как болото, всасывает в себя
Пресс-папье и карандаши...

И только мне десятый час
Ничего не приносит в дар:
Ни чая, пахнущего женой,
Ни пачки папирос;
И только мне в десятом часу
Не назначено нигде —
Во тьме подворотни, под фонарем —
Заслышать милый каблук...
А сон обволакивает лицо
Оренбургским густым платком;
А ночь насыпает в мои глаза
Голубиных созвездий пух;
И прямо из прорвы плывет, плывет
Витрин воспаленный строй:
Чудовищной пищей пылает ночь,
Стеклянной наледью блюд...
Там всходит огромная ветчина,
Пунцовая, как закат,
И перистым облаком влажный жир
Ее обволок вокруг.
Там яблок румяные кулаки
Вылазят вон из корзин;
Там ядра апельсинов полны
Взрывчатой кислотой.
Там рыб чешуйчатые мечи
Пылают: «Не заплати!
Мы — голову прочь, мы руки — долой!
И кинем голодным псам!..»
Там круглые торты стоят Москвой,
В кремнях леденцов и слив;
Там тысячу тысяч пирожков,
Румяных, как детский сад,
Осыпала сахарная пурга,
Истыкал цукатный дождь...
А в дверь ненароком: стоит атлет
Средь сине-багровых туш!
Погибшая кровь быков и телят
Цветет на его щеках...
Он вытянет руку — весы не в лад
Качнутся под тягой гирь,
И нож, разрезающий сала пласт,
Летит павлиньим пером,
И пылкие буквы
«МСПО»

Расцветают сами собой
Над этой оголтелой жратвой
(Рычи, желудочный сок!)...
И голод сжимает скулы мои,
И зудом поет в зубах,
И мыльною мышью по горлу вниз
Падает в пищевод...
И я содрогаюсь от скрипа когтей,
От мышьей возни — хвоста,
От медного запаха слюны,
Заливающего гортань...
И в мире остались — одни, одни,
Одни, как поход планет,
Ворота и обручи медных букв,
Начищенные огнем!
Четыре буквы:
«МСПО»,
Четыре куска огня:
Это —
Мир Страстей, Полыхай Огнем!
Это —
Музыка Сфер, Пари
Откровением новым!
Это — Мечта,
Сладострастье, Покой, Обман!
И на что́ мне язык, умевший слова
Ощущать, как плодовый сок?
И на что́ мне глаза, которым дано
Удивляться каждой звезде?
И на что́ мне божественный слух совы,
Различающий крови звон?
И на что́ мне сердце, стучащее в лад
Шагам и стихам моим?!
Лишь поет нищета у моих дверей,
Лишь в печурке юлит огонь,
Лишь иссякла свеча — и луна плывет
В замерзающем стекле...

1926

* * *

От черного хлеба и верной жены
Мы бледною немочью заражены...
Копытом и камнем испытаны годы,

Бессмертной полынью пропитаны воды,—
И горечь полыни на наших губах...
Нам нож — не по кисти,
Перо — не по нраву,
Кирка — не по чести
И слава — не в славу:
Мы — ржавые листья
На ржавых дубах...
Чуть ветер,
Чуть север —
И мы облетаем.
Чей путь мы собою теперь устилаем?
Чьи ноги по ржавчине нашей пройдут?
Потопчут ли нас трубачи молодые?
Взойдут ли над нами созвездья чужие?
Мы — ржавых дубов облетевший уют...
Бездомною стужей уют раздуваем...
Мы в ночь улетаем!
Мы в ночь улетаем!
Как спелые звезды, летим наугад...
Над иамн гремят трубачн молодые,
Над нами восходят созвездья чужие,
Над намн чужие зиамена шумят...
Чуть ветер,
Чуть север —
Срывайтесь за нимн,
Неситесь за ними,
Гонитесь за ннми,
Катитесь в полях,
Запевайте в степях!
За блеском штыка, пролетающим в тучах,
За стуком копыта в берлогах дремучих,
За песней трубы, потонувшей в лесах...
1926

ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Я не запомнил — на каком ночлеге
Пробрал меня грядущей жизни зуд.
Качиулся мнр.
Звезда споткнулась в беге
И заплескалась в голубом тазу.
Я к ней тянулся... Но, сквозь пальцы рея,

Она рванулась — краснобокий язь,
Над колыбелью ржавые евреи
Косых бород скрестили лезвия.
И все навыворот,
Все как не надо.
Стучал сазан в оконное стекло;
Конь щебетал; в ладони ястреб падал;
Плясало дерево.
И детство шло.
Его опресноками иссушали.
Его свечой пытались обмануть.
К нему в упор придвинули скрижали,
Врата, которые не распахнуть.
Еврейские павлины на обивке,
Еврейские скисающие сливки,
Костыль отца и матери чепец —
Всё бормотало мне:
«Подлец! Подлец!»
И только ночью, только на подушке
Мой мир не рассекала борода;
И медленно, как медные полушки,
Из крана в кухне падала вода.
Сворачивалась. Набегала тучей.
Струистое точила лезвие...
— Ну как, скажи, поверит в мир текучий
Еврейское неверие мое?
Меня учили: крыша — это крыша.
Груб табурет. Убит подошвой пол,
Ты должен видеть, понимать и слышать,
На мир облокотиться, как на стол.
А древоточца часовая точность
Уже долбит подпорок бытие.
...Ну как, скажи, поверит в эту прочность
Еврейское неверие мое?
Любовь?
Но съеденные вшами косы;
Ключица, выпирающая косо;
Прыщи; обмазанный селедкой рот
Да шеи лошадиный поворот.
Родители?
Но в сумраке старея,
Горбаты, узловаты и дики,
В меня кидают ржавые евреи
Обросшие щетиной кулаки.
Дверь! Настежь дверь!

Качается снаружи
Обглоданная звездами листва,
Дымится месяц посредине лужи,
Грач вопиет, не помнящий родства.
И вся любовь,
Бегущая навстречу,
И все кликушество
Моих отцов,
И все светила,
Строящие вечер,
И все деревья,
Рвущие лицо,—
Все это встало поперек дороги,
Больными бронхами свистя в груди:
— Отверженный! Возьми свой скарб убогий,
Проклятье и презренье!
Уходи! —
Я покидаю старую кровать:
— Уйти?
Уйду!
Тем лучше!
Наплевать!

1930

ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ

Весна еще в намеке
Холодноватых звезд.
На явор кривобокий
Взлетает черный дрозд.

Фазан взорвался, как фейерверк.
Дробь вырвала хвою. Он
Пернатой кометой рванулся вниз,
В сумятицу вешних трав.

Эрцгерцог вернулся к себе домой.
Разделся. Выпил вина.
И шелковый сеттер у ног его
Расположился, как сфинкс.

Револьвер, которым он был убит
(Системы не вспомнить мне),
В охотничьей лавке еще лежал
Меж спиннингом и ножом.

Грядущий убийца дремал пока,
Голову положив
На юношески твердый кулак
В коричневых волосках.

. . . .

В Одессе каштаны оделись в дым,
И море по вечерам,
Хрипя, поворачивалось на оси,
Подобное колесу.

Мое окно выходило в сад,
И в сумерки, сквозь листву,
Синели газовые рожки
Над вывесками пивных.

И вот на этот шипучий свет,
Гремя миллионом крыл,
Летели скворцы, расшибаясь вдрызг
О стекла и провода.

Весна их гнала из-за черных скал
Бичами морских ветров.

Я вышел...
За мной затворилась дверь...
И ночь, окружив меня
Движеньем крыльев, цветов и звезд,
Возникла на всех углах.

Еврейские домики я прошел.
Я слышал свирепый храп
Биндюжников, спавших на биндюгах.
И в окнах была видна
Суббота в пурпуровом парике,
Идущая со свечой.

Еврейские домики я прошел.
Я вышел к сиянью рельс.
На трамвайной станции млел фонарь,
Окруженный большой весной.

Мне было только семнадцать лет,
Поэтому эта ночь
Клубилась во мне и дышала мной,
Шагала плечом к плечу.
Я был ее зеркалом, двойником,

Второю вселенной был.
Планеты пронизывали меня
Насквозь, как стакан воды,
И мне казалось, что легкий свет
Сочится из пор, как пот.

Трамвайную станцию я прошел.
За ней невесом, как дым,
Асфальтовый путь улетал, клубясь,
На запад — к морским волнам.

И вдруг я услышал протяжный звук:
Над миром плыла труба,
Изнывая от страсти. И я сказал:
«Вот первые журавли!»

Над пылью, над молодостью моей
Раскатывалась труба,
И звезды шарахались, трепеща,
От взмаха широких крыл.

Еще один крутой поворот —
И море пошло ко мне,
Неся на себе обломки планет
И тени пролетных птиц.

Была такая голубизна,
Такая прозрачность шла,
Что повториться в мире опять
Не может такая ночь.

Она поселилась в каждом кремне
Гнездом голубых лучей;
Она превратила сухой бурьян
В студеные хрустали;
Она постаралась вложить себя
В травинку, в песок, во все —
От самой отдаленной звезды
До бутылки на берегу.

За неводом, у зеленых свай,
Где днем рыбаки сидят,
Я человека увидел вдруг,
Недвижного, как валун.
Он молод был, этот человек,

Он юношей был еще,—
В гимназической шапке с большим гербом,
В тужурке, сшитой на рост.

Я пригляделся:
Мне странен был
Этот человек:
Старчески согнутая спина
И молодое лицо.

Лоб, придавивший собой глаза,
Был не по-детски груб,
И подбородок торчал вперед,
Сработанный из кремня.

Вот тут я понял, что это он
И есть душа тишины,
Что тяжестью погасших звезд
Согнуты плечи его,
Что, сам не сознавая того,
Он совместил в себе
Крик журавлей и цветенье трав
В последнюю ночь весны.

Вот тут я понял:
Погибнет ночь,
И вместе с ней отпадет
Обломок мира, в котором он
Родился, ходил, дышал.
И только пузырик взовьется вверх,
Взовьется и пропадет.

И снова звезда. И вода рябит.
И парус уходит в сон.

Меж тем подымается рассвет.
И вот, грохоча ведром,
Прошел рыболов и, сев на скалу,
Поплавками истыкал гладь.

Меж тем подымается рассвет.
И вот на кривой сосне
Воздел свою флейту черный дрозд,
Встречая цветенье дня.

А нам что делать?
Мы побрели
На станцию, мимо дач...

Уже дребезжал трамвайный звонок
За поворотом рельс,
И бледной немочью млел фонарь,
Не погашенный поутру.

Итак, все кончено! Два пути!
Два пыльных маршрута в даль!
Два разных трамвая в два конца
Должны нас теперь умчать!

Но низенький юноша с грубым лбом
К солнцу поднял глаза
И вымолвил:
«В грозную эту ночь

Вы были вдвоем со мной.
Миру не выдумать никогда
Больше таких ночей...
Это последняя... Вот и все!
Прощайте!»
И он ушел.

Тогда, растворив в зеркалах рассвет,
Весь в молниях и звонках,
Пылая лаковой желтизной,
Ко мне подлетел трамвай.

Револьвер вынут из кобуры,
Школяр обойму вложил.
Из-за угла, где навес кафе,
Эрцгерцог едет домой.

. . . .

Печальные дети, что знали мы,
Когда у больших столов
Врачи, постучав по впалой груди,
«Годен!» — кричали нам...

Печальные дети, что знали мы,
Когда, прошагав весь день
В портянках, потных до черноты,
Мы падали на матрац.

Дремота и та избегала нас.
Уже ни свет ни заря
Врывалась казарменная труба
В отроческий покой.

Недосыпая, недолюбя,
Молодость наша шла.

Я спутника своего искал:
Быть может, он скажет мне,
О чем мечтать и в кого стрелять,
Что думать и говорить?

И вот неожиданно у ларька
Я повстречал его.
Он выпрямился... Военный френч,
Как панцирь, сидел на нем,
Плечи, которые тяжесть звезд
Упрямо сгибала вниз,
Чиновничий украшал погон;

И лоб, на который пал
Недавно предсмертный огонь планет,
Чистейший и грубый лоб,
Истыкан был тысячами угрей
И жилами рассечен.

О, где же твой блеск, последняя ночь,
И свист твоего дрозда!

Лужайка — да посредине сапог
У пушечной колеи.
Консервная банка раздроблена
Прикладом. Зеленый суп
Сочится из дырки. Бродячий пес
Облизывает траву.
Деревни скончались.
Потоптан хлеб.
И вечером — прямо в пыль
Планеты стекают в крови густой
Да смутно трубит горнист.
Дымятся костры у больших дорог.
Солдаты колотят вшей.
Над Францией дым.
Над Пруссией вихрь.
И над Россией туман.
Мы плакали над телами друзей,
Любовь погребали мы;
Погибших товарищей имена
Доселе не сходят с губ.

Их честную память хранят холмы
В обветренных будяках,
Крестьянские лошади мнут полынь,

Проросшую нз сердец.
Да нзредка выгребает плуг
Пуговнцу с орлом...

Но мы — мы жнвы наверняка!

Осыпался, отболев,
Скарлатннозною шелухой
Мир, окружавшнй нас.

И вечер иаш трудолюбнв н тнх.
И слово, с которым мы
Боролнсь всю жнзиь,— оио теперь
Подвластно иашей руке.

Мы навык воинов прнобрелн,
Терпенье н меткость глаз,
Уменье хнтрнть, уменье молчать,
Умеиье смотреть в глаза.

Но если, строчки не дописав,
Бессильно падет рука,
И взгляд остановится, н губа
Отвалится к бороде,
И иашн товарищи, поплевав
На руки, стащат иас
В клуб, чтоб мы прокнсалн там
Средь лампочек н цветов,—
Пусть юноша (вузовец, иль поэт,
Иль слесарь — мне все равно)
Придет н встаиет на караул,
Не вытирая слезы.

1932

АЛЕКСАНДРУ БЛОКУ

От славословий аигельского сброда,
Толпящегося за твоей спиной,
О Петербург семиадцатого года,
Ты косолапой двинулся стопой.
И что тебе прохладный шелест крылий,
Коль выстрелы мигают на углах,
Коль дождь сечет, коль в ночь автомобнлн
На нетопырьих мечутся крылах.

Нам нужен мир! Простора мало, мало!
И прямо к звездам, в посвист ветровой,
Из копоти, из сумерек каналов
Ты рыжею восходишь головой.
Былые годы тяжко проскрипели,
Как скарбом нагруженные возы,
Засыпал снег цевницы и свирели,
Но нет по ним в твоих глазах слезы.
Была цыганская любовь, и синий,
В сусальных звездах, детский небосклон.
Все за спиной.
Теперь слепящий иней,
Мигающие выстрелы и стон,
Кронштадтских пушек дальние раскаты.
И ты проходишь в сумраке сыром,
Покачивая головой кудлатой
Над черным адвокатским сюртуком.
И над водой у мертвого канала,
Где кошки мрут и пляшут огоньки,
Тебе цыганка пела и гадала
По тонким линиям твоей руки.
И нагадала: будет город снежный,
Любовь, сжигающая, как огонь,
Путь и печаль...
Но линией мятежной
Рассечена широкая ладонь.
Она сулит убийства и тревогу,
Пожар и кровь и гибельный конец.
Не потому ль на страшную дорогу
Октябрьской ночью ты идешь, певец?
Какие тени в подворотне темной
Вослед тебе глядят в ночную тьму?
С какою ненавистью неуемной
Они мешают шагу твоему.
О широта матросского простора!
Там чайки и рыбачьи паруса,
Там корифеем пушечным «Аврора»
Выводит трехлинеек голоса.
Еще дыханье! Выдох! Вспыхнет! Брызнет!
Ночной огонь над мороком морей...
И если смерть — она прекрасней жизни,
Прославленней, чем тысяча смертей.

1922, 1933



Иосиф Уткин

МОЛОДЕЖИ

Нас годы научили мудро
Смотреть в поток
До глубины,
И в наших юношеских кудрях
До срока —
Снежность седины.

Мы выросли,
Но жар не тает.
Бунтарский жар
В нас не ослаб!
Мы выросли,
Как вырастает
Идущий к пристани корабль.

1925

ДЕВУШКЕ

Ни глупой радости,
Ни грусти многодумной,
И песням ласковым,
Хорошая, не верь.
И в тихой старости
И в молодости шумной
Всего сильней
Нетерпеливый зверь.

Я признаюсь...
От совести не скрыться:
Сомненьям брошенный,
Как раненый, верчусь.

Я признаюсь:
В нас больше любопытства,
Чем настоящих и хороших чувств.

И песни пел
И в пламенные чащи
Всегда душевное носил в груди!
И быть хотел
Простым и настоящим,
Какие будут
Только впереди.

Да, впереди...
Теперь я между теми,
Которые живут и любят

Без труда.
Должно быть, этот век,
Должно быть, это время —
Жестокие и нужные года!

1926

ДВАДЦАТЫЙ

Через
Речную спину,
Через
Лучистый плес
Чугунной паутиной
Повис тяжелый мост.

По краю —
Тишь да ивы,
Для отдыха — добро.
А низом — прихотливо
Речное серебро.

На тишь,
На побережье
Качает паровик...
— Я, милая,
приезжий,
Я
в отпуск,
фронтовик...

Сады родные машут!
Здесь молодость текла,
И золотые чаши
Подняли купола.

Привет вам,
Отчьи веси!
С победой
И весной!..
Но что-то ты не весел,
Мой город дорогой.

Дома тихи
И строги.
И не слыхать ребят.
И куры на дороге,
Как прежде, не пылят.
И яблони бескровны,
И тяжелы шаги,
И на соседских бревнах
Служивый... без ноги.

Да, ничего на свете
Так, запросто, не взять —
Когда родятся дети,
Исходит кровью мать!

Но вот
И наши сени.
Но вот
И милый кров,
Где первые
Сомненья,
Где первая
Любовь.

И в этом
Все, как прежде,—
И сад,
И тишь,
И крик:

— Я,
    бабушка,
        приезжий,

в отпуск,
фронтовик.

И, взгляд последний бросив,
Старуха обмерла:
— Иосиф,
ах, Иосиф,
Я так тебя
ждала!
И я в объятьях стыну...
— Иосиф, это ты?!

. . . .

Чугунной паутиной
Качаются мосты.

И мчатся эшелоны
Солдат,
Солдат,
Солдат!
Тифозные перроны
Под сапогом хрустят.

По бедрам
Бьются фляги,
Ремень, наган — правей.
И синие овраги
Под зарослью бровей.
В броне,
В крови,
В заплатах —
Вперед,
Вперед,
Вперед! —
Страдал и шел
Двадцатый
Неповторимый год!!

1927

ПЕСНЯ ОБ УБИТОМ КОМИССАРЕ

Близко города Тамбова,
Недалеко от села,
Комиссара молодого
Пуля-дура подсекла.

Он склонялся,
Он склонялся,
Падал медленно к сосне
И кому-то улыбался
Тихо-тихо, как во сне.

Умирая в лазарете,
Он сказал:
— Ребята... тут
Есть портрет... Елизавета —
Эту девушку зовут.

Красным гарусом расшитый —
Вот он, шелковый кисет!
Ну, так вы ей... напишите,
Что меня...
в помине нет...

Мы над ним
Не проронили
Ни единого словца.
Мы его похоронили
Честь по чести, как бойца.

Но тамбовской ночью темной,
Уцелевшие в бою,
Мы задумались,
И вспомнил
Каждый девушку свою...

...Я хотел бы, дорогая,
Жизнь свою прожить любя.
Жить — любить.
И, умирая...
Снова вспомнить про тебя!..
1935

ЛЫЖНИ

Вы уедете, я знаю.
За ночь снег опять пройдет.
Лыжня синяя, лесная
Постепенно пропадет.

Я опять пойду средь просек,
Как бывало в эти дни.
Лесорубы, верно, спросят:
— Что ж вы, Павлович, одни?..

Как мне гражданам ответить?
О себе не говорю!
Я сошлюсь на сильный ветер
И, пожалуй, закурю.

Ну, а мне-то...
Ну, а мне-то?..
Ветра нет... ведь это ж факт...
Некурящему поэту
Успокоить сердце как?

Или так и надо ближним,
Так и надо без следа,
Как идущим накрест лыжням,
Расходиться навсегда?..

1935



Илья Сельвинский

* * *

Никогда не перестану удивляться
Девушкам и цветам!
Эта утренняя прохладца
По белым и розовым кустам...
Эти слезы листвы упоенной,
Где сквозится лазурная муть,
Лепестки, что раскрыты удивленно,
Испуганно даже чуть-чуть...
Эта сиящаяся их нежность,
От которой, как шмель, закружись!
И неясная боль надежды
На какую-то возвышенную жизнь...

1920

ВЕЛИКИЙ ОКЕАН

Одиннадцать било. Часики сверь
В кают-компании с цифрами диска.
Солнца нет. Но воздух не сер:
Туман пронизан оранжевой искрой.

Он золотился, роился, мигал,
Пушком по щеке ласкал, колоссальный,
Как будто мимо проносят меха —
Голубые песцы с золотыми глазами.

И эта лазурная мглистость несется
В сухих золотинках над мглою глубин,
Как если б самое солнце
Стало вдруг голубым.

Но вот загораются синие воды
Субтропической широты.
На них маслянисто играют разводы,
Как буквы «О», как женские рты...

О океан, омывающий облако
Океанийских окраин!
Даже с берега, даже около,
Галькой твоей ограян,

Я упиваюсь твоей синевой,
Я улыбаюсь чаще,
И уж не нужно мне ничего —
Ни гор, ни степей, ни чащи.

Недаром храню я, житель земли,
Морскую волну в артериях
С тех пор, как предки мои взошли
Ящерами на берег.

А те из вас, кто возникли не так
И кутаются в одеяла,
Все-таки съездите хоть в поездах
Послушать шум океана.

Кто хоть однажды был у зеркал
Этих просторов — поверьте,
Он унес в дыхательных пузырьках
Порыв великого ветра.

Такого тощища не загрызет,
Такому в беде не согнуться —
Он ленинский обоймет горизонт,
Он глубже поймет революцию

Вдохни ж эти строки! Живи сто лет —
Ведь жизнь хороша, окаянная...

Пускай этот стих на твоем столе
Стоит, как стакан океана.
1932



Дмитрий Кедрин

ПЕСНЯ О ЖИВЫХ И МЕРТВЫХ

Серы, прохладны и немы
Воды глубокой реки.
Тихо колышутся шлемы,
Смутно мерцают штыки.

Гнутся высокие травы,
Пройденной былью шурша.
Грезятся стены Варшавы
И камыши Сиваша.

Ваши седые курганы
Спят над широкой рекой.
Вы разрядили наганы
И улеглись на покой.

Тучи слегка серебристы
В этот предутренний час,
Тихо поют бандуристы
Славные песни о вас.

Слушают грохот крушенья
Своды великой тюрьмы.
Дело ее разрушенья
Кончим, товарищ, мы.

Наша священная ярость
Миру порукой дана:
Будет безоблачна старость,
Молодость будет ясна.

Гневно сквозь сжатые зубы
Плюнь на дешевый уют.
Наши походные трубы
Скоро опять запоют.

Музыкой ясной и строгой
Нас повстречает война.
Выйдем — и будут дорогой
Ваши звучать имена.

Твердо пойдем, побеждая,
Крепко сумеем стоять.
Память о вас молодая
Будет над нами сиять.

Жесткую выдержку вашу
Гордо неся над собой,
Выпьем тяжелую чашу,
Выдержим холод и бой.

Все для того, чтобы каждый,
Смертью дышавший в борьбе,
Мог бы тихонько однажды
В сердце сказать о себе:

«Я создавал это племя,
Миру несущее новь,
Я подарил тебе, время,
Молодость, слово и кровь».

1927

СТРОИТЕЛЬ

Мы разбили под звездами табор
И гвоздем прикололи к шесту
Наш фонарик, раздвинувший слабо
Гуталиновую черноту.
На гранита шершавые плиты
Аккуратно поставили мы
Ватерпасы и теодолиты,
Положили кирки и ломы.
И покуда товарищи спорят,
Я задумался с трубкой у рта:
Завтра утром мы выстроим город,
Назовем этот город — Мечта.
В этом улье хрустальном не будет
Комнатушек, похожих на клеть.
В гулких залах веселые люди
Будут редко грустить и болеть.

Мы сады разобьем, и над ними
Станет, словно комета хвостат,
Неземными ветрами гонимый,
Пролетать голубой стратостат.
Благодарная память потомка!
Ты поклонишься нам до земли.
Мы в тяжелых походных котомках
Для тебя это счастье несли!
Не колеблясь ни влево, ни вправо,
Мы работе смотрели в лицо,
И вздымаются тучные травы
Из сердец наших мертвых отцов...
Тут, одетый в брезентовый китель,
По решоткам у каждой стены,
Шел и я, безыменный строитель
Удивительной этой страны.

1930

ДВОЙНИК

Два месяца в небе, два сердца в груди,
Орел позади, и звезда впереди.

Я поровну слышу и клекот орлиный,
И вижу звезду над родимой долиной:
Во мне перемешаны темень и свет,
Мне Недоросль — прадед и Пушкин — мой дед.

Со мной заодно с колченогой кровати
Утрами встает молодой обыватель,
Он бродит, раздет, и немыт, и небрит,
Дымит папиросой и плоско острит.
На сад, что напротив, на дачу, что рядом,
Глядит мой двойник издевательским взглядом,
Равно неприязненный всем и всему,—
Он в жизнь в эту входит, как узник в тюрьму.

А я человек переходной эпохи...
Хоть в той же постели грызут меня блохи,
Хоть в те же очки я гляжу на зарю
И тех же сортов папиросы курю,
Но славлю жестокость, которая в мире
Клопов выжигает, как в затхлой квартире,
Которая за косы землю берет,

С которой сегодня и я в свой черед
Под знаменем гезов, суровых и босых,
Вперед заношу мой скитальческий посох...
Что ж рядом плетется, смешок затая,
Двойник мой, проклятая косность моя?

Так, пробуя легкими воздух студеный,
Сперва задыхается новорожденный,
Он мерзнет, и свет ему режет глаза,
И тянет его воротиться назад,
В привычную ночь материнской утробы;
Так золото мучат кислотною пробой,
Так все мы в глаза двойника своего
Глядим и решаем вопрос: кто кого?

Мы вместе живем, мы неплохо знакомы,
И сильно не ладим с моим двойником мы:
То он меня ломит, то я его мну,
И, чуть отдохнув, продолжаем войну.
К эпохе моей, к человечества маю
Себя я за шиворот приподымаю.
Пусть больно от этого мне самому,
Пускай тяжело,— я себя подыму!
И если мой голос бывает печален,
Я знаю: в нем фальшь никогда не жила!..
Огромная совесть стоит за плечами,
Огромная жизнь расправляет крыла!
1934

ДОЛЖНИК

Подгулявший шутник, белозубый, как турок,
Захмелел, прислонился к столбу и поник.
Я окурок мой кинул. Он поднял окурок,
Раскурил и сказал, благодарный должник

«Приходи в крематорий, спроси Иванова,
Ты добряк, я сожгу тебя даром, браток».
Я запомнил слова обещанья хмельного
И бегущий вдоль потного лба завиток.

Почтальоны приходят, но писем с Урала
Мне в Таганку не носят в суме на боку.
Если ты умерла или ждать перестала,
Разлюбила меня,— я пойду к должнику.

Я приду в крематорий, спущусь в кочегарку,
Где он дырья чинит на коленях штанов,
Подведу его к топке, пылающей жарко,
И шепну ему грустно: «Сожги, Иванов!»
1934

БРОДЯГА

Есть у каждого бродяги
Сундучок воспоминаний.
Пусть не верует бродяга
И ни в птичий грай, ни в чох,—

Ни на призраки богатства
В тихом обмороке сна, ни
На вино не променяет
Он заветный сундучок.

Там за дружбою слежалой,
Под враждою закоптелой,
Между чувств, что стали трухлой
Связкой высохших грибов,—

Перевязана тесемкой
И в газете пожелтелой,
Как мышонок, притаилась
Неуклюжая любовь.

Если якорь брига выбран,
В кабачке распита брага,
Ставни синие забиты
Навсегда в родном дому,—
Уплывая, все раздарит
Собутыльникам бродяга,
Только этот желтый сверток
Не покажет никому...

Будет день: в борты, как в щеки,
Оплеухи волн забьют — и
«Все наверх! — засвищет боцман.—
К нам идет девятый вал!»
Перед тем как твердо выйти
В шторм из маленькой каюты,
Развернет бродяга сверток,
Мокрый ворот разорвав.

И когда вода раздавит
В трюме крепкие бочонки,
Он увидит, погружаясь
В атлантическую тьму:
Тонколицая колдунья,
Большеглазая девчонка
С фотографии грошовой
Улыбается ему.

1934

ЛЮБОВЬ

Щекотка губ и холодок зубов,
Огонь, блуждающий в потемках тела,
Пот меж грудей... и это есть — любовь?
И это все, чего ты так хотела?

Да! Страсть такая, что в глазах темно!
Но ночь минует, легкая, как птица...
А я-то думал, что любовь — вино,
Которым можно навсегда упиться!

1936

* * *

Когда кислородных подушек
Уж станет ненадобно мне —
Жена моя свечку потушит,
И легче вздохнется жене.

Она меня ландышем сбрызнет,
Что в жизни не жаловал я,
И, как подобает на тризне,
Не очень напьются друзья.

Чахоточный критик, от сплетен
Которого я изнемог,
В публичной «Вечерней газете»
Уронит слезу в некролог.

Потом будет мартовский дождик
В сосновую крышку стучать
И мрачный подпивший извозчик
На чахлую клячу кричать.

Потом, перед вечным жилищем
Простясь и покончив со мной,
Друзья мои прямо с кладбища
Зайдут освежиться в пивной.

Покойника словом надгробным
Почтят и припомнят, что он
Был малость педант, но способный,
Слегка скучноват, но умен.

А между крестами погоста,
Перчаткой зажавшая рот,
Одета печально и просто,
Высокая дама пройдет.

И в мартовских сумерках длинных,
Слегка задохнувшись от слез,
Положит на мокрый суглинок
Весенние зарева роз.

1936

КОФЕЙНЯ

«...Имеющий в кармане мускус не кричит об этом на улицах. Запах мускуса говорит за него».

Саади

У поэтов есть такой обычай —
В круг сойдясь, оплевывать друг друга.
Магомет, в Омара пальцем тыча,
Лил ушатом на беднягу ругань.

Он в сердцах порвал на нем сорочку
И визжал в лицо, от злобы пьяный:
«Ты украл пятнадцатую строчку,
Низкий вор, из моего «Дивана»!

За твоими подлыми следами
Кто пойдет из думающих здраво?»
Старики кивали бородами,
Молодые говорили: «Браво!»

А Омар плевал в него с порога
И шипел: «Презренная бездарность!

Да минет тебя любовь пророка
Или падишаха благодарность!

Ты бесплоден! Ты молчишь годами!
Быть певцом ты не имеешь права!»
Старики кивали бородами,
Молодые говорили: «Браво!»

Только некто пил свой кофе молча,
А потом сказал: «Аллаха ради!
Для чего пролито столько желчи?»
Это был блистательный Саади.

И минуло время. Их обоих
Завалил холодный снег забвенья.
Стал Саади золотой трубою,
И Саади слушала кофейня.

Как ароматические травы,
Слово пахло медом и плодами,
Юноши не говорили: «Браво!»,
Старцы не кивали бородами.

Он заворожил их песней птичьей,
Песней жаворонка в росах луга...
У поэтов есть такой обычай —
В круг сойдясь, оплевывать друг друга.
1936

СОЛОВЕЙ

Несчастный, больной и порочный
По мокрому саду бреду.
Свистит соловей полуночный
Под низким окошком в саду.

Свистит соловей окаянный
В саду под окошком избы.
«Несчастный, порочный и пьяный,
Какой тебе надо судьбы?

Рябиной горчит и брусникой
Тридцатая осень в крови.
Ты сам свое горе накликал,
Милуйся же с ним и живи.

А помнишь, как в лунные ночи,
Один между звезд и дубов,
Я щелкал тебе и пророчил
Удачу твою и любовь?..»

Молчи, одичалая птица!
Мрачна твоя горькая власть.
Сильнее нельзя опуститься,
Страшней невозможно упасть!

Рябиной и горькой брусникой
Тропинки пропахли в бору.
Я сам свое горе накликал
И сам с этим горем умру.

Но в час, когда комья с лопаты
Повалятся в яму, звеня,
Ты вороном станешь, проклятый,
За то, что морочил меня!

1936

ГЛУХАРЬ

Выдь на зорьке и ступай на север
По болотам, камушкам и мхам.
Распустив хвоста колючий веер,
На сосне красуется глухарь.

Тонкий дух весенней благодати,
Свет звезды — как первая слеза...
И глухарь, кудесник бородатый,
Закрывает желтые глаза.

Из дремотных облаков исторгла
Яркий блеск холодная заря,
И звенит, чумная от восторга,
Зоревая песня глухаря.

Счастлив тем, что чувствует и дышит,
Красотой восхода упоен,—
Ничего не видит и не слышит,
Ничего не замечает он!

Он поет листву купав болотных,
Паутинку, белку и зарю,
И в упор подкравшийся охотник
Из берданки бьет по глухарю...

Может, так же в счастья день желанный,
В час, когда я буду петь, горя,
И в меня ударит смерть нежданно,
Как его дробиика — в глухаря.

1938

БЕССМЕРТИЕ

Кем я был? Могильиою травою?
Хрупкой галькою береговою?
Круглобоким облачком над бездной?
Ноздреватою рудой железиой?

Та трава могильная сначала
Ветерок дыханием встречала.
Тучка плакала слезою длииной,
Пролетая иад родной долиной.

И когда я говорю стихами —
От кого в них голос и дыханье?
Этот голос — от прабабки-тучи,
Эти вздохи — от травы горючей!

Кем я буду? Комом серой глины?
Белым камнем посреди долииы?
Струйкой, что ие устает катиться?
Перышком в крыле у певчей птицы?

Кем бы я ни стал и кем бы ни был —
Вечеи мир под этим вечным небом:
Если стану я водой зеленой —
Зазвенит оиа одушевленно,

Если буду я густой травою —
Побежит она волной живою.

В мире все бессмертно: даже гнилость.
Отчего же людям смерть приснилась?

1938

ЗЯБЛИК

Весной в саду я зяблика поймал.
Его лучок захлопнул пастью волчьей.
Лесной певец, он был пуглив и мал,
Но, как герой, неволю встретил молча.

Он петь привык лесное торжество
Под светлым солнышком на клейкой ветке.
Нет! Золотая песенка его
Не прозвучит в убогой этой клетке!

Упрямец! Он не походил на нас,
Больных людей, уступчивых и дряблых:
Нахохлившись, он молчаливо гас,
Невольник мой, мой горделивый зяблик.

Горсть муравьиных лакомых яиц
Не вызвала его счастливой трели.
В глаза ручных моих домашних птиц
Его глаза презрительно смотрели.

Он все глядел на поле за окном
Сквозь частых проволок густую сетку,
Но я задернул грубым полотном
Его слегка качавшуюся клетку.

И, чувствуя, как за его тюрьмой
Весна цветет все чище, все чудесней,—
Он засвистал!.. Что делать, милый мой?
В неволе остается только песня!

1939

СВАДЬБА

Царь Дакии,
Господень бич,
Аттила,—
Предшественник Железного Хромца,
Рожденного седым,
С кровавым сгустком
В ладони детской,—
Поводырь убийц,

Кормивший смертью с острия меча
Растерзанный и падший мир,
Работник,
Оравший твердь копьем,

Дикарь,
С петель
Сорвавший дверь Европы,—
Был уродец.

Большеголовый,
Щуплый, как дитя,
Он походил на карлика,
И копоть
Изрубленной мечами смуглоты
На шишковатом лбу его лежала.

Жег взгляд его, как греческий огонь,
Рыжели волосы его, как ворох
Изломанных орлиных перьев.
Мир
В его ладони детской был — как птица,
Как воробей,
Которого вольна,
Играя, задушить рука ребенка.

Водоворот его орды крутил
Тьму человечьих щеп,
Всю сволочь мира:
Германец — увалень,
Проныры — беглый раб,
Грек — ренегат, порочный и лукавый,
Косой монгол и вороватый скиф
Кладь громоздили на ее телеги.

Костры шипели.
Женщины бранились.
В навозе дети пачкали зады.
Ослы рыдали.
На горбах верблюжьих,
Бродя, скисало в бурдюках вино.
Косматые лошадки в тороках
Едва тащили, оступаясь, всю
Монастырей разграбленную святость.

Вонючий мул в оческах гривы нес
Бесценные закладки папских библий.
И по пути колол ему бока
Украденным клейнодом —
Царским скиптром —
Хромой дикарь,
Свою дурную хворь
Одетым в рубища патрицианкам
Даривший снисходительно...
Орда
Шла в золоте,
На кладах почивала!

Один Аттила — голову во сне
Покоил на простой луке седельной,
Был целомудр,
Пил только воду,
Ел
Отвар ячменный в деревянной чаше.
Он лишь один — диковинный урод —
Не понимал, как хмель врачует сердце,
Как мучит женская любовь,
Как страсть
Сухим морозом тело сотрясает.
Косматый волхв славянский говорил,
Что, глядя в зеркало меча,
Аттила
Провидит будущее,
Тайный смысл
Безмерного течения на Запад
Азийских толп...
И впрямь Аттила знал
Судьбу свою — водителя народов.
Зажавший плоть в железном кулаке,
В поту ходивший с лейкою кровавой
Над пажитью костей и черепов,
Садовник бед, он жил для урожая,
Собрать который внукам суждено!

Кто знает — где Аттила повстречал
Прелестную парфянскую царевну?
Неведомо!
Кто знает — какова
Она была?
Бог весть!

Но посетило
Аттилу чувство,
И свила любовь
Свое гнездо в его дремучем сердце.

В бревенчатом дубовом терему
Играли свадьбу.
На столах дубовых
Дымилась снедь.
Дубовых скамей ряд
Под грузом ляжек каменных ломился.
Пыланьем факелов,
Мерцаньем плошек
Был озарен тот сумрачный чертог.
Свет ударял в сарматские щиты,
Блуждал в мечах, перекрестивших стены,
Лизал ножи...
Кабанья голова,
На пир ощерясь мертвыми клыками,
Венчала стол,
И голуби в меду
Дразнили нежностью неизреченной!

Уже скамейки рушились,
Уже
Ребрастый пес, пинаемый ногами,
Лизал блевоту с деревянных ртов
Давно бесчувственных, как бревна, пьяниц.
Сброд пировал.
Тут колотил шута
Воловьей костью варвар низколобый,
Там хохотал, зажмурив очи, гунн,
Багроволикий и рыжебородый,
Блаженно запустивший пятерню
В копну волос свалявшихся и вшивых.

Звучала брань.
Гудели днища бубнов.
Стонали домбры.
Детским альтом пел
Седой кастрат, бежавший из капеллы.
И длился пир...
А над бесчинством пира,
Над дикой свадьбой,
Очумев в дыму,

Меж закопченных стен чертога
Летал, на цепь посаженный, орел —
Полуслепой, встревоженный, тяжелый.
Он факелы горящие сшибал
Отяжелевшими в плену крылами,
И в лужах гасли уголья, шипя,
И бражников огарки обжигали,
И сброд рычал,
И тень орлиных крыл,
Как тень беды, носилась по чертогу!..

Средь буйства сборища
На грубом троне
Звездой сиял чудовищный жених.
Впервые в жизни сбросив плащ верблюжий
С широких плеч солдата, он надел
И бронзовые серьги, и железный
Венец царя.
Впервые в жизни он
У смуглой кисти застегнул широкий
Серебряный браслет,
И в первый раз
Застежек золоченые жуки
Его хитон пурпуровый пятнали.

Он кубками вливал в себя вино
И мясо жирное терзал руками.
Был потен лоб его.
С блестящих губ
Вдоль подбородка жир бараний стылый,
Белея, тек на бороду его.
Как у совы полночной,
Округлились
Его вином налитые глаза.

Его икота била.
Молотками
Гвоздил его железные виски
Всесильный хмель.
В текучих смерчах — черных
И пламенных —
Плыл перед ним чертог.
Сквозь черноту и пламя проступали
В глазах подобья шаткие вещей
И рушились в бездонные провалы!
Хмель клал его плашмя,

Хмель наливал
Железом руки,
Темнотой — глазницы,
Но с каменным упрямством дикаря,
Которым он создал себя,
Которым
Он в долгих битвах изводил врагов,
Дикарь борол и в этом ратоборстве:
Поверженный,
Он поднимался вновь,
Пил, хохотал, и ел, и сквернословил!

Так веселился он.
Казалось, весь
Он хочет выплеснуть себя, как чашу.
Казалось, что единым духом — всю
Он хочет выпить жизнь свою.
Казалось,
Всю мощь души,
Всю тела чистоту
Аттила хочет расточить в разгуле!

Когда ж, шатаясь,
Весь побагровев,
Весь потрясаем диким вожделеньем,
Ступил Аттила на ночной порог
Невесты сокровенного покоя,—
Не кончив песни, замолчал кастрат,
Утихли домбры,
Смолкли крики пира,
И тот порог посыпали пшеном...

Любовь!
Ты дверь, куда мы все стучим,
Путь в то гнездо, где девять кратких лун
Мы, прислонив колени к подбородку,
Блаженно ощущаем бытие,
Еще не отягченное сознаньем!..

Ночь шла.
Как вдруг
Из брачного чертога
К пирующим донесся женский вопль..
Валя столы,
Гудя пчелиным роем,
Толпою свадьба ринулась туда,

Взломала дверь и замерла у входа:
Мерцал ночник,
У ложа на ковре,
Закинув голову, лежал Аттила.
Он умирал.
Икая и хрипя,
Он скреб ковер и поводил ногами,
Как бы отталкивая смерть.
Зрачки
Остекленевшие свои уставя
На ком-то зримом одному ему,
Он коченел, мертвел и ужасался.
И если бы все полчища его,
Звеня мечами, кинулись на помощь
К нему,
И плотно б сдвинули щиты,
И копьями б его загородили,—
Раздвинув копья,
Разведя мечи,
Прошел бы среди них его противник,
За шиворот поднял бы дикаря,
Поставил бы на страшный поединок
И поборол бы вновь...
Так он лежал,
Весь расточенный,
Весь опустошенный
И двигал шеей,
Как бы удивлен,
Что руки смерти
Крепче рук Аттилы.
Так сердца взрывчатая полнота
Разорвала воловью оболочку —
И он погиб,
И женщина была
В его пути тем камнем, о который
Споткнулась жизнь его на всем скаку!

Мерцал ночник,
И девушка в углу,
Стуча зубами, молча содрогалась.
Как спирт и сахар, тек в окно рассвет,
Кричал петух.
И выпитая чаша
У ног вождя валялась на полу,
И сам он был — как выпитая чаша.

Тогда была отведена река,
Кремнистое и гальчатое русло
Обнажено лопатами,—
И в нем
Была рабами вырыта могила.

Волы в ярмах, украшенных цветами,
Торжественно везли один в другом —
Гроб золотой, серебряный и медный.
И в третьем, самом маленьком гробу —
Уродливый,
Немой,
Большеголовый,
Покоился невиданный мертвец.

Сыграли тризну, и вождя зарыли.
Разравнивая холм,
Над ним прошли
Бесчисленные полчища азийцев,
Реку вернули в прежнее русло,
Рабов зарезали
И скрылись в степи.
И черная властительная ночь,
В оправе грубых северных созвездий,
Осела крепким
Угольным пластом,
Крылом совы простерлась над могилой.
1933, 1940

ОСЕННЯЯ ПЕСНЯ

Улетают птицы за́ море,
Миновало время жатв,
На холодном сером мраморе
Листья желтые лежат.

Солнце спряталось за ситцевой
Занавескою небес,
Черно-бурою лисицею
Под горой свернулся лес.

По воздушной легкой лесенке
Опустился и повис
Над окном — ненастья вестником —
Паучок-парашютист.

В эту ночь по кровлям тесаным,
В трубах песни заводя,
Заскребутся духи осени.
Стукнут пальчики дождя.

В сад, покрытый ржавой влагою,
Завтра утром выйдешь ты
И увидишь — за ночь — наголо
Облетевшие цветы.

На листве рябин продрогнувших
Заблестит холодный пот.
Дождик, серый как воробышек,
Их по ягодке склюет.

1937—1941



Борис Корнилов

ЛОШАДЬ

Дни-мальчишки,
Вы ушли, хорошие,
Мне оставили одни слова,—
И во сне я рыженькую лошадь
В губы мягкие расцеловал.

Гладил уши, морду
Тихо гладил
И глядел в печальные глаза.
Был с тобой, как и бывало,
Рядом,
Но не знал, о чем тебе сказать.

Не сказал, что есть другие кони,
Из железа кони,
Из огня...
Ты б меня, мой дорогой, не понял,
Ты б не понял нового меня.

Говорил о полевом, о прошлом,
Как в полях, у старенькой сохи,
Как в лугах немятых и некошеных
Я читал тебе
Свои стихи...

Мне так дорого и так мне любо
Дни мои любить и вспоминать,
Как, смеясь, тебе совал я в губы
Хлеб, что утром мне давала мать.

Потому ты не поймешь железа,
Что завод деревне подарил,

Хорошо которым
Землю резать,
Но нельзя с которым говорить.

Дни-мальчишки,
Вы ушли, хорошие,
Мне оставили одни слова,—
И во сне я рыженькую лошадь
В губы мягкие расцеловал.
1925

* * *

Под равнодушный шепот
Старушечьей тоски
Ты будешь дома штопать
Дешевые носки.

И кошка пялит зенки
На ленточку косы,
И тикают на стенке
Жестяные часы.

И лампа керосином
Доверху налита.
По вечерам, по синим
Ушли твои лета.

И вянет новый веник,
Опять пусты леса,
Для матери и денег
Забытая краса.

А милый не дивится,
Уже давно одна.
Ты — старая девица
И замуж негодна.

Болят худые пальцы,
И дума об одном,—
Что вот седые зайцы
Гуляют под окном.

Постылые иголки,
А за стеной зовут,

Хохочут комсомолки,
Хохочут и живут.

И материнский шепот...
Уйти бы от тоски,—
Но снова будешь штопать
Дешевые носки.

1926

РУСАЛКА

Медвежья дорога — поганая гать,
набитая рыбой река —
и мы до зари запекаем опять
медвежьи окорока.

В дыму, на отлете, ревут комары
и крылышками стучат,
от горя, от голода, от жары
летит комарье назад.

Летит комарье,
летит воронье
к береговым кустам —
и слушают русалки там
охотничье вранье.

Один говорит:
— На Иванов день
закинул невода.
Вода не вода, а дребедень,
такая была вода.

Ребят промысловые омута,
качают поплавки,
туманом покрытые омута
охотнику не с руки.

Рябая вода — рыбаку беда,—
иду снимать невода.
Наверху, надо мною, тонет луна,
как пробковый поплавок,
в мои глаза ударяет она,
падая на восток.

Звезда сияет на всех путях —
при звездочке, при луне
упала из невода
и на локтях
добыча ползет ко мне.

Вода стекает по грудям,
бежит по животу,
и я прибираю ее к рукам —
такую красоту.

Теперь у желтого огня,
теперь поет она,
живет на кухне у меня
русалка как жена.

Она готовит мне уху,
на волчьем спит меху,
она ласкает кожей свежей
на шкуре вытертой медвежьей.

Охотник молчит.
Застилает сосна
четыре стороны света,
над белой волною гуляет весна
и песня русалочья эта.

А я, веселый и молодой,
иду по омутам,
я поджидаю тебя над водой,
а ты поджидаешь там.

Я песни пою,
я чищу ружье,
вдыхаю дым табака,
я на зиму таскаю в жилье
медвежьи окорока.

Дубовые приготовлю дрова,
сложу кирпичную печь,
широкую сделаю кровать,
чтоб можно было лечь.

Иди, обитательница омутов,
женщина с рыбьим хвостом,

теперь навеки тебе готов
и хлеб,
и муж,
и дом.

Но вот —
наступает с утра ветерок,
последний свист соловья,
я с лодки ночью сбиваю замок,
я вымок,
я высох
и снова намок,
и снова высохну я.

Тяжелые руки мои на руле.
Вода на моей бороде.
И дочь
и жена у меня —
на земле,
и промысел —
на воде.

Февраль 1929

РАССКАЗ МОЕГО ТОВАРИЩА

1

Выхожу на улицу —
рваною тучей,
лиловатым небом,
комьями огня,
наказаньем-скукою
и звездой падучей
встретила полночная
природа меня.

Поднял воротник,
надвинул на лоб кепи,
папиросу в зубы —
шагаю, пою...
Вижу —
развалились голубые степи,
конница в засаде,
пехота в бою.

Командира роты
разрывает к черту,
пронимает стужей,
а жары — пуды.
Моему коню
слепая пуля в морду,
падают подносчики
патронов и воды.

Милая мама,
горячее дело.
Чувствую —
застукают меня на этот раз:
рухну я, порубан,
вытяну тело,
выкачу тяжелый
полированный глаз.

Пусть меня покончат —
главная обида,
что, сопровождаемые
жирной луной,
сохлые звезды
ужасного вида
тоже, как шрапнели,
рвутся надо мной.

И темнеет сразу —
только их и видели —
в темноте кудрявые
чахнут ковыли,
щелкают кузнечики,
где-то победители,
как подругу, под руку
песню повели.

2

Вот жарища адова,
жарь, моя,
Красная...
Ать, два...
Армия

Пулеметчики-чики,
бомбометчики-чики,
все молодчики-чики
начеку.
Всыпали, как ангелу,
господину Врангелю,
выдали полпорции
Колчаку.

Потихоньку в уголки
смылись белые полки,
генералы-сволочи
лязгают по-волчьи.

А кругом по округу
стон стоит —
мы идем до окрику:
— ...Стой...
— ...Свои...
И подохли, уськая
(песенке привал),
армия французская,
русский генерал.
Как победа близкая,
власть советская —
русская,
английская
и немецкая.
Вот жарища адова,
жарь, моя,
Красная...
Ать, два...
Армия.

3

Засыхает песня,
кровоточит рана,
червячки слюнявые
в провале синих щек;
что ни говорите,
умираю рано,
жить бы да жить бы
еще бы...
еще...

Так и выжил.
Госпиталь,
койка,
сестра...
— В душу, в бога, в господа,—
тишииа — остра.

Там за занавескою
спрятали от иас
иашу власть советскую —
боевой приказ.

Где же это видано
такое житье,
чтобы было выдаио
мие мое ружье.

Дорогие...
Ох, пора —
душит меия,
убирайте доктора,
подавай коия...

Заиавеска белая,
и сестра маячит,
червячки качаются,
строятся в ряды —
краем уха слышу:
— Ничего не значит,
успокойся, парень,
выпей воды...

4

Выиес огнестрельную,
рваиую одну —
голова лохматая
стяиута швом,
все воспоминаиия
уходят ко диу,
всякая боль
заживет иа живом.

Выхожу на улицу —
кости стучат,
сердце качается,
мир в кулаке,
зубы — как собрание
рыжих волчат,
мышцы — как мыши
бегают в руке.

Так что не напрасно
бился я и жил я —
широкая рука моя ряба,
жилы, набитые кровью,
сухожилья,
так что наша жизнь —
есть борьба.
1931

* * *

Ты как рыба выплываешь с этого
прошлогоднего глухого дна,
за твоею кофтой маркизетовой
только скука затхлая одна.

Ты опять, моя супруга, кружишься,—
золотая белка,
колесо,—
и опять застыло, словно лужица,
неприятное твое лицо.

Этой ночью,
что упала замертво,
голубая — трупа голубей,—
ни лица, ни с алыми губами рта,
ничего не помню, хоть убей...

Я опять живу
и дело делаю —
наплевать, что по судьбе такой
просвистал
и проворонил белую,
мутный сон,
сомнительный покой...

Ты ушла,
тебя теперь не вижу я,
только песня плавает, пыля,—
для твоей ноги
да будет, рыжая,
легким пухом
рыхлая земля.

У меня не то —
за мной заметана
на земле побывка и гульба,
а по следу высыпала — вот она —
рота песен,
вылазка,
пальба...

Мы не те неловкие бездельники,
невысок чей сиплый голосок,—
снова четверги и понедельники
под ноги летят наискосок,
стынут пули,
пулемет, тиктикая,
задыхается — ему невмочь,—
на поля карабкается тихая,
притворяется, подлюга ночь.

Мне ли помнить эту, рыжеватую,
молодую, в розовом соку,
те года,
под стеганою ватою,
залежавшиеся на боку?

Не моя печаль —
путями скорыми
я по жизни козырем летел...

И когда меня,
играя шпорами,
поведет поручик на расстрел,—
я припомню детство, одиночество,
погляжу на ободок луны
и забуду вовсе имя, отчество
той белесой, как луна, жены.
1931

СМЕРТЬ

Может быть,
а может быть — не может,
может, я живу последний день,
весь недолгий век мой — выжат, прожит,
впереди тоска и дребедень.

Шляпа,
шлепанцы,
табак турецкий,
никуда не годная жена,
ночью — звезды,
утром — ветер резкий,
днем и ночью — сон и тишина.

К чаю — масло,
и компот к обеду,
— Спать, папаша! — вечером кричат...
Буду жить, как подобает деду,
на коленях пестовать внучат.

День за днем,
и день придет, который
всё прикончит — и еду и сны;
дальше — панихида, крематорий —
все мои товарищи грустны.

И они ногою на погосте
ходят с палочками, дребезжат,
и мундштук во рту слоновой кости
деснами лиловыми зажат.

За окном — по капле, по листочку
жизнь свою наращивает сад;
всё до дна знакомо — точка в точку,
как и год и два тому назад.

День за днем —
и вот ударят грозы,
как тоска ударила в меня,
подрезая начисто березы
голубыми струйками огня.

И летят надломанные сучья,
свернутая в трубочку кора,

и опять захлопнута до случая
неба окаянная дыра.

Но нелепо повторять дословно
старый аналогии прием,
мы в конце, тяжелые, как бревна,
над своею гибелью встаем.

Мы стоим стеною — деревами,
наши песни, фабрики, дела,
и нефтепроводами и рвами
нефть ли, кровь ли наша потекла.

Если старости
пройдемся краем,
дребезжа и проживая зря,
и поймем, что — амба — умираем,
пулеметчики и слесаря.

Скажем:
— Всё же молодостью лучшая
и непревзойденная была
наша слава,
наша Революция,
в наши воплощенная дела.

1931

ФРОНТОВИКИ

Ты запомни, друг мой ситный,
как, оружием звеня,
нам давали ужин сытный,
состоящий из огня.

Ловко пуля била, шельма,—
свет в очах моих померк,
только помню ус Вильгельма,
указующий наверх.

Неприятные вначале
испытали мы часы,—
как штыки тогда торчали
знаменитые усы.

Непогода дула злая,
в небе тучи велики,
во спасенье Николая
мы поперли на штыки.

Как бараны мы поперли
со стесненьем в груди —
тонкий вой качался в горле,
офицеры позади...

Сиятельные мальчики полков его величества,
мундиры в лакированных и узеньких ремнях
увешаны медалями, ботфорты замшей вычистя,
как бы перед фотографом сидели на конях.

За неудобства мелкие в походе вроде простыни,
за волосок, не срезанный с напудренной щеки,
украшенные свежими на физии коростами
и синяками круглыми ходили денщики.

А что такое простыни? Мы простыней не видели,
нас накормили досыта похлебкой из огня,
шинель моя тяжелая, источенная гнидами,—
она и одеяло мне, она и простыня.

А письма невеселые мы получали с родины,
что наша участь скверная — ой-ой нехороша,
что мы сначала проданы, потом опять запроданы,
в конечном счете дешевы — не стоим ни гроша.

Что дома пища знатная — в муку осина смолота,
и здорово качало нас от этих новостей,
но ничего там не было — в России — кроме голода,
что щупальцы вытягивал из разных волостей.

А отдых в лучшем случае один — тифозный госпиталь,
где пациент блаженствует и ест на серебре,—
мы плюнули на родину и харкнули на господа,
и место наше верное нашли мы в Октябре.

Держава мать Российская, мы нахлебались дымного,
Тебе за то почтение во век веков летит —
благодарим поклонами — и в первый раз у Зимнего
мы проявили маленький, но всё же аппетит.

Мясное было кушанье, а штык острөр, как вилочка.
Свою качая родину, пошли фронтовики,
и пригодилась страшная и фронтовая выучка,
штыки четырехгранные...
Да здравствуют штыки!

1933

ЕЛКА

Рябины пламенные грозди,
и ветра голубого вой,
и небо в золотой коросте
над неприкрытой головой.
И ничего —
ни зла, ни грусти.
Я в мире темном и пустом,
лишь хрустнут под ногою грузди,
чуть-чуть прикрытые листом.
Здесь всё рассудку незнакомо,
здесь делай всё — хоть не дыши,
здесь ни завета,
ни закона,
ни заповеди,
ни души.
Сюда как бы всего к истоку,
здесь пухлым елкам нет числа.
Как много их...
Но тут же сбоку
еще одна проиэросла,
еще младенец двухнедельный,
он по колено в землю врыт,
уже с иголочки,
нательной
зеленой шубкою покрыт.
Так и течет, шумя плечами,
пошатываясь,
ну, живи,
расти, не думая ночами
о гибели и о любви,
что где-то смерть,
кого-то гонят,
что слезы льются в тишине
и кто-то на воде не тонет
и не сгорает на огне.

Живи —
и ие горюй,
ие сетуй,
а я подумаю в пути:
быть может, легче жизни этой
мие, дорогая, ие иайти.
А я пророс огием и злобой,
посыпан пеплом и золой,—
широколобый,
иизколобый,
иабитый песией и хулой.
Ходил иа праздиик я престольный,
гармоиь иадев через плечо,
с такою песней непристойиой,
что богу было горячо.
Меня ии разу не встречали
заботой друга и жеиы —
так без тоски и без печали
уйду из этой тишииы.
Уйду из этой жизни прошлой,
веселой злобы ие тая,—
и в землю втоптаиа подошвой —
как елка — молодость моя.
1934

* * *

Спичка отгорела и погасла —
Мы ие прикурили от нее,
А луиа — сияющее масло —
Уходила тихо в бытие.
И тогда, протягивая руку,
Думая о бедиом, о своем,
Полюбил я горькую разлуку,
Без которой мы ие проживем.
Будем помиить грохот иа вокзале,
Беспокойиый,
Тягостный вокзал,
Что сказали,
Что ие досказали,
Потому что поезд побежал.
Все уедем в пропасть голубую,
Скажут будущие: молод был,
Девушку веселую, любую,

Как реку весеннюю любил...
Унесет она
И укачает,
И у ней ни ярости, ни зла,
А впадая в океан, не чает,
Что меня с собою унесла.
Вот и всё.
Когда вы уезжали,
Я подумал,
Только не сказал,
О реке подумал,
О вокзале,
О земле, похожей на вокзал.
1935

МОЯ АФРИКА

Под небом Африки моей
Вздыхать о сумрачной России.
Александр Пушкин

Зима пришла большая, завывая,
за ней морозы — тысяча друзей,
и для нее дорожка пуховая
по улице постелена по всей,
не мятая,
помытая,
глухая —
она легла на улицы, дома...
Попахивая холодом,
порхая,
по ней гуляет в серебре зима.
Война.
Из петроградских переулков
рванулся дым, прозрачен и жесток,
через мосты,
на Зимний
и на Пулков,
на Украину,
к югу,
на Восток.
Все боевые батальоны класса
во всей своей законченной красе
с Гвоздильного,
Балтийского,

Айваза,
с Путиловского,
Трубочного...
Все...
Они пошли...
Кому судьба какая?
Вот этот парень упадет во тьму,
и воронье, хрипя и спотыкаясь,
подпрыгивая, двинется к нему.
А тот, от Парвиайнена, высокий,
умоется водицею донской,
обрежется прибрежною осокой
и захлебнется собственной тоской.
Кто принесет назад пережитое?
Шинели офицерского сукна,
почетное оружье золотое,
серебряные к сердцу ордена
и славу как военную награду,
что с орденами наравне в чести?..
Кому из них опять по Петрограду
знамена доведется понести?

И Петроград.
На вид пустой, хоть выжги,
ни беготней, ничем не занятой,
закрылся на замки и на задвижки,
укрылся с головою темнотой,—
темны дома,
и в темноте круглы
гранитные, тяжелые углы.
Как будто бы уснувший безобидно,
забытый всеми, вымерший до дна,—
и даже с Исаакия не видно
хоть лампой освещенного окна,
хотя б коптилкою,
хоть свечкой сальной,
хоть звездочкой рождественской сусальной.
Зима.
Война.
Метельная погода.
Всё кануло в метелицу, во тьму...
Зимою восемнадцатого года
семнадцать лет герою моему.
Семнадцати —
еще совсем зеленым,

еще такого молоком корми —
он в документах значился
Семеном
Добычиным,
из города Перми,
учащийся...
Учащиеся...
Что ж в них!
И дабы не «учащимся» начать
«*Учащийся*» — зачеркнуто,
«*Художник*» — начертано...
Поставлена печать.
А на печати явственное — РОСТА [1].
Всё по закону.
Правильно и просто.
Предание времен не столь старинных
дошло до нас преградам вопреки,
что клеили под утро на витринах
плакаты красочные от руки.
Вернее, то была карикатура —
кармин и тушь,
и острое перо,
и подпись сочинения, что
Шкура
фамилию меняет
на *Шкуро*.
Или такая:
Гадину Краснова
Сегодня били деятельно снова.
Красноармеец шел, скрипя подсумком,
или в атаку конница пошла,—
под каждым обязательно рисунком
и подпись надлежащая была.
Всё это вместе называлось — РОСТА.
Всезнающа,
насмешлива,
страшна...
Казалось, это женщина,
и роста,
пожалуй, поднебесного она.
Ей видно всё — на юге, на востоке,
ей понимать незнамо кем дано,
где у войны притоки и истоки,

[1] РОСТА — Российское телеграфное агентство.

где потушили,
где подожжено.
Она глядела золотым и бычьим
блестящим глазом через все века,
и для нее писал Семен Добычин
Краснова,
Врангеля
и Колчака,
красноармейца,
спекулянта злого,
того, другого, пятого, любого...

Он голодал.
Натянута на ребра,
трещала кожа.
Мучило, трясло.
И всё она — сухая рыба — вобла,
всё вобла — каждодневно, как назло.
Вот обещали — выдадут конины...
Не может быть...
Когда?..
Конины?..
Где?..
И растопить бы в комнате камины,
разрезать мясо на сковороде...
Оно трещало бы в жиру,
и мякоть,
поджаренная впору с чесноком,
бы подана была...
Хотелось плакать
и песни петь на пиршестве таком.
Ему уха приснилась из налима,
ватрушки, розоваты и мягки,
несут баранину неумолимо
ему на стол родные пермяки,
на сладкое чего-то там из вишен,
посудину густого молока
и самовар.
Но самовар излишен —
ну, можно меду —
капельку...
слегка...
Теперь заснуть — часов примерно на семь,
как незаметно время пробежит,—
он падает под липу ли,

под ясень,
н сон во сне уютен и свежит.

Но всё плывет —
деревья, песия... мимо,—
не иадо спать,
совсем ие надо спать...

Вот кисточки
и блюдечко кармнна —
опять работа,
оторопь опять...
Кармии ли?..
Не вареиье лн?..
Добычни
попробовал...
Поганое — иевмочь...
По-прежиему помчался день обычен —
а впрочем — деиь лн?
Может, вечер?
Ночь?

У нас темнеет в Ленинграде рано,
густая иочь — владычица зимой,
окоииая иадоедает рама,
с пяти часов подериутая тьмой.
Хозяйкн ждут своих мужей усталых,—
оии домой приходят до шести...
И двориики сидят на пьедесталах
Поляриыми медведями в шерсти.

Уже иахохлился пушистый чижик,
под ним тюльпаиы мощиые цветут,
и с улицы отъявлеииых мальчншек
домой мамаши за ушн ведут.
А иочь идет.
Оиа вползает в стеиы,
оиа берет во тьму за домом дом,
оиа владычествует...
Скоро все мы
за чижиком иахохлимся, усием.
На двориике поблескивает бляха,
ои захрапел в предутреиием дыму,
и только где-то пьяиица гуляка
ие спит — поет, что весело ему.
Добычии встал.

И тонкие омыл он
под краном руки.
Поглядел в окно.
А ходики, тиктикая уныло,
показывали за полночь давно.
Знобило что-то.
Ударяло в холод,
и в изморозь,
и в голод,
и в тоску.
И тонкий череп, будто бы надколот,
разваливался,
падал по куску.

Потом пошел
тяжелым снегом талым,—
кидало в сторону, валило с ног,
на лестнице Добычина шатало,
но он свое бессилье превозмог.
Он шел домой.
Да нет — куда же шел он?
Дома шагали рядом у плеча,
и снег живой под валенком тяжелым
похрустывал, как вошь,
как саранча.
Метелица гуляла, потаскуха,
по Невскому.
Морозить начало.
И ни огня.
Ни говора.
Ни стука.
Нигде.
Ни человека.
Ничего.
С немалыми причудами поземка:
то завивает змейку и венок,
то сделает веселого бесенка —
бесенок прыг...
Рассыпался у ног.
То дразнится невиданною рожей
и осыпает острою порошей,
беснуется, на выдумки хитра,
повоевать до ясной, до хорошей
до радостной погоды,
до утра.

По всей по глади Невского проспекта
(Добычин увидал через пургу)
хлыстов радеет яростная секта,
и он в ее бушующем кругу.
Она с распущенными волосами,
она одна жива под небесами —
метет платками, вышитыми алым,
подскочит вверх
и стелется опять
и под одним стоцветным одеялом
его с собой укладывает спать.
И боги темные с икон старинных,
кровавым намалеваны,
грубы,—
туда же вниз.
На снеговых перинах
вповалку с ними божии рабы.
Скорей домой —
но улица туманна,
морозами набитая битком...
Скорей домой,
где теплота дивана
и чайника и воблы с кипятком...

Скорей домой —
но перед ним со стоном,
с ужимкою приплясывает снег...
Скорей домой —
и вдруг перед Семеном
огромный возникает человек.
Он шел вперед, тяжелый над снегами,
поскрипывая, грохоча, звеня
шевровыми своими сапогами,
начищенными сажей до огня.
Он подвигался, фыркая могуче,
шагал по бесенятам и венкам,
и галифе, лиловые, как тучи,
не отставая, плыли по бокам.
Шло от него железное сиянье,
туманности, мечта, ацетилен...
И руки у него по-обезьяньи
висели, доставая до колен.
Он отряхался —
все на нем звенело,

он оступался, по снегу скользя,
и сквозь пургу ладонь его синела,
но так синеть от холода нельзя.
Не человек, не призрак и не леший,
кавалерийской стянутый бекешей.
Ремнями светлыми перевитая,
производя сверкание и гром,
была его бекеша золотая
отделана мерлушки серебром.
За ним, на пол-аршина отставая,
не в лад гремела шашка боевая
нарядной, золоченою ножной,
и на ремнях, от черноты горящих,
висел недвижно маузера ящик,
как будто безобидный и смешной.
Он мог убить врага
или на милость
махнуть рукой:
иди, мол, уходи...
Он шел с войны,
война за ним дымилась
и клокотала бурей впереди.
Она ему навеки повелела,
чтобы в ладонь,
прозрачна и чиста,
на злой папахе, сломанной налево,
алела пятипалая звезда.

Он надвигался прямо на Семена,
который в стены спрятаться не мог,
вместилище оружия и звона,
земли здоровье, сбитое в комок.
Казалось, это бредовое —
словом,
метель вокруг ходила колесом,
а он откуда выходец?
С лиловым,
огромным, оплывающим лицом...
Глаза глядели яростно и косо,
в ночи огнями белыми горя,
широкого, приплюснутого носа
пошевелилась черная ноздря.
И дернулась, до десен обнажая
все зубы белочистые, губа
отпяченная,

жирная,
большая,
мурашками покрыта и груба.
Он шел вперед,
на памятник похожий,
на севере,
в метели,
чернокожий...

Как тучу пронесло перед Семеном
и охватило жаром и зимой,
и оглушило грохотом и звоном,
и ослепило золотом и тьмой...
Метель шумела:
— Мы тебя уложим,
постель у нас мягка и хороша...
А он глядел вослед за чернокожим,
в пургу,
не понимая, не дыша...
Хотел за ним —
а ноги как чужие...
Душило...
Надавило на плечо
и стыло,
стыло,
стыло в каждой жиле,
потом и хорошо и горячо...

Текут моря —
и вот он берег дальний,
где отдохнуть от горести не грех —
мы ляжем под кокосовою пальмой,
я принесу кокосовый орех...
Усни, усни...
Неправда, не пора ли
забыть... Уснуть...
Всё хорошо вдали...
Виденья перепутались и врали,
и понесло.
Добычина спасли —
его полуживого подобрали
и сразу же в больницу увезли.

Тяжелый год — по-боевому грозный,—
он угрожал нам тучею-копной

он подбирался, дикий и тифозный,
и зажигал, багровый и сыпной.
Курносая была, пожалуй, рада,
насытилась на несколько веков,—
от Киева почти до Петрограда
поленницы лежали мертвяков.
Был человек — уснул,
глядишь — не дышит...
И ни за что — костей охапка, хлам...
Температура за сорок
и выше,
и разрывало сердце пополам.

Завалены больницы до отказа,
страна больная — подчистую, сплошь,—
по ней ползет кровавая зараза,
тифозная, распаренная вошь.
На битву с нею —
люди на дозорах,
земля лежит могилою — дырой —
замучена.
Температура сорок.
И за сорок.
И пахнет камфарой.

Добычина четвертая палата
совсем забита —
коек пятьдесят.
Тесемочки кофейного халата
не шелохнутся —
мертвые висят.
Запахло сукровицей.
Воздух спертый.
И, накаляя простынь добела,
опять огонь гуляет по четвертой
(четвертая предсмертная была).
Такой жары,
такого горя — вдоволь...
За что меня?
Ужели не простят?

Несет, качает в темноте бредовой,
и огненные обручи свистят —
про горький дым,
слепящий нас навеки,

про черную, могильную беду,
про то, что мало жизни в человеке...
И чудится Добычину в бреду:
текут пески куда-то золотые.
кипящие,
огнями залитые,
ни темноты,
ни ветра,
ни воды,
ни свежести, хоть еле уловимой,
и только в небо красное лавиной
ползет песок, смывая все следы.
Застынь, песок...
Остановись...
Не мучай
жарой, переходящею в туман...
Вот по песку,
по Африке дремучей,
цепочкой растянулся караван.
Курчавы негры,
кожа вся лилова.
На неграх стопудовые тюки —
они идут, не говоря ни слова,
темны,
широкоплечи,
высоки.
Их сотни три,
а может, меньше — двести...
Неважно сколько...
Главное — все вместе
носильщики,
как лошади они...
Куда идут?
На негров не похожи,
обуты в сапоги шевровой кожи,
одетые в бекеши и ремни.
Жарки кавалерийские рубахи,
клокочет сердца пламенный кусок,
тесны ремни,
и тяжелы папахи,
и шпоры задевают за песок.
Песок мерцает, шпорами изрытый,
и негры тонут в море золотом...
Широкополой шляпою покрытый,
погонщик белый гонит их кнутом.

Всё завертелось в дикой карусели,
а негры вырастают из песка,—
на них тюки, как облака, осели,
на них папахи, словно облака,
ремни скрипучи,
сапоги скрипучи,
по-львиному оскалены клыки,
и галифе лиловые, как тучи, -
и лица голубые велики,
и падая
и снова вырастая,
хрипят, а дышат пылью золотой —
их всех несет жары струя густая
по Африке, огнями залитой.
Песок течет, дымясь и высыхая,
тюками душит,
солнце пепелит,
и закружилась Африка глухая,
ни жить, ни петь,
ни плакать не велит.
За что такая страшная расплата?
Добычин бредит неграми, жарой...
Открыл глаза —
четвертая палата,
сиделка дремлет,
пахнет камфарой.
На столике стакан воды отварной...
Немного воздуха,
Глоток питья —
и снова бестолочь
и дым угарный,
и, может, полминуты забытья.
И снова в мире грохота и воя
живет каким-то ужасом одним —
опять одно и то же бредовое,
огромное,
и гонятся за ним.
Он падает, Добычин,
уползая
в кустарники колючие...
Рывком
за ним летит пятнистая борзая
и по земле волочит языком
и нюхает.
Брыластая.

сухая,
с тяжелым клокотанием дыша,
глазами то горя,
то потухая,
найдет его звериная душа.
Нашла его.
Захохотала хрипло,
залаяла собачья голова...
Язык висит,
а на язык прилипла
какая-то поганая трава.
Глядит в глаза.
Несет невыносимой,
зловонной,
тошнотворной беленой,—
вонючее, как трупное,—
и псиной.
Нельзя дышать.
И брызгает слюной.
Ужели жизни близко увяданье?
Погибель непонятна и глупа,
и на собачье злобное рыданье
бежит осатанелая толпа.
Уже алеет небо голубое,
всё жарче солнечное колесо,
и вяжут белокурые ковбои
Добычина волосяным лассо.
Его волочат по корням еловым
и бьют прикладами наперебой,
он — не Добычин,
он — с лицом лиловым,
с отпяченной и жирною губой.
Он африканец, раб и чернокожий,
он — бедный трус,
а белые смелы...
Он кожею на белых непохожий,
и только зубы у него белы.
И волосы тяжелые курчавы,
на кулаки его пошел свинец,
под небом Африки его начало,
и здесь, в Америке, его конец.
Покрыто тело
страха острым зудом,
прощай, земля...
Его зовут: идем!

Ведут судить
и судят самосудом —
и судят Линча старого судом
За то, что черен —
по причине этой...
И он идет —
в глазах его круги,—
в бекешу золотистую одетый,
в шевровые обутый сапоги.
Нога болит —
портянкой, видно, стерта,
немного жмут нагрудные ремни,
застегнута на горле гимнастерка,—
ему велят:
— Скорее расстегни...
Петля готова.
Сук дубовый тоже,
наверно, тело выдержит —
хорош.
И вешают.
И по лиловой коже
еще бежит веселой зыбью дрожь.
В последний раз
сквозь листья вырезные,
дубовые,
сквозь облака сквозные
в небесную глядит голубизну,
где нет людей
ни черных
и ни белых,
где ничего не знают о пределах,
где солнце опускается ко сну.
Но петля душит...
Воздуха и света!
Оставьте жить!..
И нет земли у ног,
и каплют слезы маленькие с веток,
кругом темно,
и хрустнул позвонок...
За что такая страшная расплата?
Добычин бредит неграми, жарой...
Открыл глаза —
четвертая палата,
сиделка дремлет,
пахнет камфарой.

Недели две Добычина носила,
кружила бесноватая, звеня,
сыпного тифа
пламенная сила
по берегам безумья и огня.
Недели две боролась молодая
Добычина старательная плоть
с погибелью,
тоскуя, увядая,
и все-таки хотела побороть.
Недели две — две вечности летели,
огромные,
пылающие,
две...
Всё Африка,
всё негры,
всё метели
в больной его кружились голове.
И этот бред
единый образ выжег,
соединил, как цельное, в одно
всё, что Добычин
вычитал из книжек,
из «Дяди Тома хижины» давно.
И только негры.
Будто для парада,
прошли перед Добычиным они,
обутые в шевровые —
что надо...
Одетые в бекеши и ремни.
В кавалерийских шерстяных рубахах —
всё было настоящее добро:
оружие
и звезды на папахах,
кавказское на саблях серебро.
И, всем понятиям противореча,
прошли они тяжелою стеной,
по-видимому, та ночная встреча
была тому единственной виной
(когда в тифу,
в дыму,
в буране резком
он шел домой
и чувствовал: горю...

И встретил негра
(верить ли?)
на Невском,
одетого, как выше говорю).
Зиать, потому
И ие было покоя
Добычииу и за полночь
и в иочь,
хотя, по правде,
зрелище такое,
пожалуй, н здоровому невмочь.
На самом деле —
ночью,
в Петрограде,
в метелицу
(запомиится навек)
в бряцающем
воинствеином наряде
громадиый
чернокожий человек.
(У иас в России —
волки,
сиег
и Волга,
дожди растят мохнатую траву,
леса...)
Добычии
сомневался долго,
что он такое видел наяву.
До самой выпнски из лазарета
стаиковая,
цветиста,
тяжела,
молииеносная картииа эта
в его воображеиии жила.
Чем ближе дело шло к выздоровленью,
надоедали доктора, кровать,
по твердому душевному веленью,
ои зиал, что — буду это рисовать,
что скоро... скоро....
Через две иедели
я иарисую эту
хоть одну
про иегра, уходящего в метели,
в Россию сумрачиую,
на войиу.

Ои вышел из больницы.
Стало таять.
Есть теплота в небесной синеве.
Уже весна,
как раньше, золотая
и полыиьи всё шире на Неве.
Всё зимиее и злое забывая,
весиа, весиа —
как весело с тобой!
И хлюпает,
и брызжет мостовая,
и всё же хорошо иа мостовой.
Опять гадаю о поездке дальией
до берегов озер или морей,
о девушке моей сеитимеитальиой,
о самой лучшей участи моей.
Веду свою весеиию беседу
и забываю, льдиками звеия,
что из-за леии к морю не поеду,
что разлюбила девушка меня.

Окраииа,
Московская застава —
бревеичатые иизкие дома,
тиха, и молчалива, и устала,
а почему — ие ведаешь сама.
Березы машут хилыми руками.
Ты счастья не видала отродясь,
кисейиой заиавеской и замками,
стеной ото всего отгородясь.
Вся в горестиых и сумеречиых пятиах,
тебе бы только спрятаться скорей
от иепослушиых,
злых
и непоиятных,
веселых сыиовей и дочерей.
Без боли,
без раздумий,
без сомнеиья,
ие плача,
не жалея,
не любя,
без позволеиья
и благословенья
оии иавек уходят от тебя.

У них любовь и ненависть другая,
а ты скорби
и скорби не таи,
и, лампой керосиновой моргая,
заплачут окна серые твои.
Здесь каждый дом к несчастиям привычен,
знать, потому печален и суров,
и неприветлив...

И когда Добычин
пришел сюда в один из вечеров —
на лестнице всё так же
сохнет веник,
видна забота,
маленький покой,
опять скрипят четырнадцать ступенек,
качаются перила под рукой.
Он постучал.
— Елена дома?
— Дома.
Крюки и цепи лязгнули спеша.
— Елена, здравствуй!
— В кои веки... Сема...
Где пропадал, пропащая душа?
Пел самовар хвалебную покою,
что тот покой — начало всех начал,
и кот ходил мохнатою дугою
и коготками по полу стучал.
Мурлыкая, он лазил на колени,
свивался в серебристое кольцо...
Опять Елена...

(Впрочем, о Елене.
Она в рассказе новое лицо.)
Шестнадцать лет.
Но плечи налитые,
тяжелые.
Глаза — как небеса,
а волосы до звона золотые,
огромные —
до пояса коса.
Нездешняя, какая-то лесная,
оборки распушились по плечам,
и непонятная.
Почем я знаю,

какие сиы ей снятся по иочам,
какие песни вечером тревожат,
о чем вчера скучала у окна.
Да и сама оиа сказать ие может,
какая настоящая она.

Вы все такие —
в кофточках из ситца,
любимые,—
другими вам не быть,—
вам иадо десять раз перебеситься,
и переплакать,
и перелюбить.
И позабыть.
И сиова, вспоминая,
подумаешь,
осмотришься кругом —
и всё пе так,
и ты теперь иная,
поешь другое,
плачешь о другом.
Всё по-другому в этом синем мире,
иа сеиокосе,
в городе,
в лесу...
А я запомню года иа четыре
волос твоих пушистую лису.
Запомию всё, что ие было и было.
Румяна ли? Румяиа и бела.
Любила ли? Пожалуй, ие любила,
и все-таки любимая была.

Шестиадцать лет.
Из Петрограда родом.
Смешиые стоптаиные каблуки.
Служила в исполкоме счетоводом
и выдавала служащим пайки.
Стрельба машинки.
Льется кровь — чериила —
зеленая,
жирна и холодиа...
Своих родиых она похоронила,
жила, скучала, плакала одиа.
Но молодости ясные закоиы
(оиа всегда потребует свое),—

и вот они с Добычиным знакомы,
он провожает до дому ее,
он говорит:
— Я нарисую воздух,
грозу,
в зеленых молниях орла —
и над грозою,
над орлом,
на звездах
чтобы моя любимая была.
Я нарисую так, чтоб слышно было —
десятый вал прогрохотал у скал,
чтобы меня любимая любила,
чтобы знамена ветер полоскал.
Орел разрушит молний паутину,
и волны хлещут понизу, грубы...
И скажут люди, посмотрев картину,
что то изображение борьбы,
что образ мой велик и символичен;
то наша Революция, звеня,
летит вперед...
И назовут меня:
художник Революции Добычин.
Мечтание, как песня до рассвета,
нисколько не противное уму,
огромное и сладкое...
А это
и дорого и радостно ему.
Мила любови темная дорога,
тиха,
неутомительна,
длинна.
И много ль надо девушке?
Немного —
которая к тому же влюблена.
Все золотое.
Вечер непорочен
и, кажется, уже неповторим...

(Любви в рассказе воздано.
Но, впрочем,
мы о любви еще поговорим.)

Тяжелый год — по-боевому грозный,—
земля в крови, посыпана золой,—

повсюду фронт:
в Архангельске — морозный,
на Украине — пламенный и злой.
Башлык, черкеска, галифе — наряды...
Война, война...
И песни далеки...
Идут на бой дроздовские отряды
И Каппеля отборные полки.
И побежали к морю, завывая
дурным, истошным голосом, леса...
греми, лети, тачанка боевая,
во все свои четыре колеса.
Гуляй вовсю по родине красивой,
носи расшитый золотом погон,
в Орле воруй,
в Бердичеве насилуй,
зеленым трупом пахнет самогон.
Ты, родина, в огне великом крепла.
Идут дроздовцы, воя и пыля,
и где прошли — седая туча пепла,
где ночевали — мертвая земля,
заглохшее, кладбищенское место,
осина обгорела,
тишина...
И нет невесты — где была невеста,
и нет жены — где плакала жена.
Так нет же,
не в покорности спасенье
(запомни это правило земли),
мы покидали и любовь и семьи
во имя славы, радости, семьи!
Седлали чистокровных полукровок —
седые степи, белая трава,
на бархатных полотнищах багровых
мы написали страшные слова.
Такое позабудется едва ли,—
посередине зарева и тьмы
мы за любовь за нашу воевали,
и ненависть приветствовали мы.
Ни сожаленье,
ни тоска
ни разу,
что, может быть,
судьба — кусок свинца...

(Но мы вернемся все-таки к рассказу,
которому недолго до конца.)
Мурлычет кот — кусок седого пуха.
Молчит Елена.
Самовар горит.
И о разлуке тягостно и глухо
вполголоса Добычин говорит:
— Я не могу...
Она неотвратима...
Пойми меня,
уж несколько недель,
как я рисую —
эта же картина
про негра, уходящего в метель,
и все не то...
Он шел тогда, сверкая,
покачиваясь,
фыркая,
звеня,
и шашка и бекеша не такая,
какая на картине у меня.
И все не так,
все пакостно,
все худо...
Ужели это мне не по плечу?
Хоть раз его увидеть.
Кто?
Откуда?
Все разузнать, поговорить хочу.
Ты отпусти меня, не беспокоясь,—
я никогда не попаду в беду,
приеду скоро...
Сяду в агитпоезд...
Его на фронте все-таки найду...
Не плачь, моя...
Все чепуха пустая...

Добычин встал.
Добычин говорит.
Мурлычет кошка, когти выпуская.
Елена плачет.
Самовар горит.

Страна летела, дикая, лесная —
бои,

передвижение,
привал,
тринадцатая армия,
восьмая...
И только где Добычин не бывал!
Выспрашивал, мечту оберегая.
Война была совсем невесела,
и конница Шкуро и Улагая
еще вовсю хоругвями цвела.
Еще горели села и местечки
со всем своим накопленным добром,
но все-таки погоны на уздечке
уздечку украшали серебром.
И говорили конники:
— Деникин,
валяй, мотай,
не наводи тоску,
из головы, собака, сука, выкинь
Россию, православную Москву...
А мы тебя закончим на амине,
на Страшном, гад, покаешься суде...
И только негра не было в помине,
как говорили конники, нигде.
— Китайцы здесь, конечно, воевали,
офицеров закапывали в грязь...

И только раз,
однажды на привале,
с конноармейцами разговорясь...

Конноармеец, маленький и юркий,
веселой рожею румян и бел,
за полчаса стоянки и закурки
рассказывал,
захлебывался,
пел...
Он говорил на стороны, на обе,
шамкая,
декламируя слегка,
о смерти,
о победе
и о злобе,
о командире своего полка

— За командира нашего милого
я расскажу, товарищи, два слова.

Я был при нем,
когда его убили,
и беляков я видел торжество.
Ему приятно, земляки, в могиле,
что не забыли все-таки его,
что поминаем добрыми словами
и отомстить кляемся подлецам,
казачьими качаем головами,
а слезы протекают по усам.
Он был черен,
с опухшими губами,
он с Африки — далекой стороны,
но, как и мы,
донские и с Кубани,
стремился до свободы и войны.
Не за награды
и не за медали —
за то, чтоб африканским буржуям,
капиталистам африканским дали,
как и у нас, в России, по шеям,
он с нами шел —
на белом,
на буланом,
погиб за нас
от огнестрельных ран...
Его крестили в Африке Виланом,
что правильно по-русскому Иван.
Ушла его усмешка костяная,
перешагнул житейскую межу...
Теперь, бойцы,
тоскуя и стеная,
я за его погибель расскажу.
Когда пришло его распоряженье,
что надо для разбития оков,
для то есть полного уничтоженья,
пошли мы лавою на беляков.
Ну, думаю, Россия,
кровью вымой,
что на твоей нагадили груди...
И командир
на самой
на любимой,
на белой
на кобыле
впереди.

Ну, как сейчас
его я вижу бурку —
летит вперед,
оружием звеня...
(Отсыпьте-ка махорки на закурку,
волнения замучили меня.)
У беляков же
мнения иные —
не за свободу.
В золоте погон.
Лежат у пулеметов номерные
готовые.
Командуют: огонь!
И дали жару.
Двадцать два «максима»
пошли косить
жарчее и сильней,
что сами знаете, невыносимо.
Скорее заворачивай коней!
Мы все назад...
За нами белых сила...
Где командир?
А он на беляков
один пошел...
— Да здравствует Россия
и полное разбитие оков!
Какой красивый...
Мать его любила...
К полковнику
в карьер,
наискосок,
сам черный — образина,
а кобыла
вся белая, что сахарный песок.
Как резанул полковника гурдою [1],
вся поалела рыжая трава.
Качнул полковник
головой седою —
налево сам,
направо голова.
Но и ему осталось жить недолго —
пробита грудь,
отрубана рука...

[1] Шашка особой закалки.

Ой, поминай, Россия,
мама Волга,
ты командира нашего полка!
Москва и Тула,
Киев и Саратов,
пожалуйста, запомните навек,
что он, конечно,
родом из арапов,
но абсолютно русский человек.
Он воевал за нас,
не за медали,
а мы, когда ударила беда,
геройскую кончину наблюдали,
и многие сгорели со стыда.
Не вытерпев подобного примера,
коней поворотили боевых —
до самой смерти,
не сходя с карьера,
уж лучше в мертвых,
нежели в живых.
Так вот дела какие были,
брат мой,
под городом Воронежем,
в дыму,—
мы командира
привезли обратно,
и почести мы сделали ему.
Когда-нибудь и я,
веселый, шалый,
прилягу на могильную кровать...
Но думаю,
что в Африке, пожалуй,
мне за него придется воевать.
И я уверен,
поздно или рано
я упаду в пороховой туман,
меня зароют,
белого Вилана,
который был по-русскому — Иван..
Он замолчал.
Прошел по бездорожью
веселый ветер,
свистнул вдалеке...
От ветра, что ли,
прохватило дрожью,

забегали мурашки по руке.
И стало все Добычину понятно,
смятением подуло и бедой,
зашевелились темные, как пятна,
румянцы под пушистой бородой.
Над ним береза сирая простерла
четыре замечательных крыла,
тоска схватила горькая за горло —
все кончено,—
картина умерла.
Она ушла под гробовую кровлю,
написанная золотом и кровью,
знаменами,
железом и огнем,
казачьей песней ярою,
любою
победой,
пулеметною стрельбою
и к бою перекованным конем.

Все снова закурили.
Помолчали.
Подумали.
Костер лежал у ног.
Один сказал:
— Веселые печали,
оно бывает всякое, сынок.
Мы человека —
это же обида —
должны всегда рассматривать с лица,
Другая сука ангельского вида...
— А как похоронили мертвеца?

— Его похоронили на рассвете,
мы все за ним
поэскадронно шли,
на орудийном повезли лафете,
знамена преклонили до земли.
Его коню завидовали кони —
поджарые, степные жеребцы,
когда коня
в малиновой попоне
за гробом проводили под уздцы.
На нем была кавказская рубаха,
он, как живой,

наряженный лежал,
на крышке гроба черная папаха,
лихая сабля,
золотой кинжал.
И возложили ордена на груди,
пылающие радостным огнем,
салютовали трижды из орудий
и тосковали тягостно о нем.
Ему спокойно, земляки, в могиле,
поет вода подземная, звеня...
Хотелось бы, чтоб так похоронили
когда-нибудь товарищи меня.

Он замолчал.
И вот завыли трубы,
и кони зашарахались в пыли.
— Сидай на конь!
— Сидай на конь, голубы,—
запели эскадронные вдали.
Бойцы сказали:
— Порубаем гада!
Знамена, рдея, пышные висят.
И вся кавалерийская бригада
ушла до места боя на рысях.
Они пошли тропинками лесными,
просторами потоптанных полей,
и навсегда ушел Добычин с ними,
и ты его, товарищ, не жалей.

Пожалуй, все.
И вместо эпилога
мне остается рассказать немного
(последние мгновения любви).
Дай на прощанье
дружеские руки,
поговорим о горе,
о разлуке,
о Пушкине, о славе, о любви.
Пришел к Елене.
И меня встречая,
мурлычет кот,
свивается кольцом.
Шипит стакан дымящегося чая.
Поет Елена, теплая лицом.

Нам хорошо.
Любви большая сила,
веселая
клокочет и поет...
— А я письмо сегодня получила,—
Елена мне письмо передает.
И я читаю.
Сумрак бьется черный
в мои глаза...
«Родная, не зови...
Пишу тебе со станции Касторной
о гибели, о славе, о любви.
Нет места ни печали,
ни бессилью,
ни горести...
Как умер он в бою
за сумрачную,
за свою Россию,
Так я умру за Африку мою».

1934—1935



Леонид Мартынов

* * *

Мы — футуристы невольные,
Все, кто живем сейчас.
Звезды остроугольные —
Вот для сердец каркас!

Проволока колючая —
Вот из чего сплетены
Лавры благополучия
После всемирной войны.

Отгородимся от прошлого,
Стертого в порошок,
Прошлого, болью поросшего,
Скошенного под корешок.

Разве что только под лупами
Станет оно видней...
Пахнут землей и тулупами
Девушки наших дней.

1921

* * *

Зацелованный футурист
И обласканный графоман,
Сладкий запах накрашенных уст
Из угла, где хрипит граммофон,
Через тусклые бюсты матрон
Гнется белый девический бюст.
Почему же из этих уст
Не струится пронзительный свист?

Не ходи в буржуазный дом,
Перед обществом скучных дам
Не разменивайся, поэт!..

1921

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ БУЛЬВАР

Провинциальный бульвар.
Извозчики балагурят.
Люди проходят, восстав от сна.
Так и бывает: проходят бури,
И наступает тишина.

Что из того, что так недавно
Стыли на стенах кровь и мозг!
Толстые люди проходят плавно
Через бульвар, где истлел киоск.

Что из того, что разрушенных зданий
Ясные бреши на восток!
Кончились, кончились дни восстаний,
Членовредительства и тревог.

И только один, о небывалом
Крича, в истрепанных башмаках
Мечется бедный поэт по вокзалам,
Свой чемоданчик мотая в руках.

1921

СЕРЫЙ ЧАС

Серый час был мутен и обманчив,
И хотелось закричать кому-то:
«Помогите! Я уже не мальчик
Заблудился в поисках уюта!»

Но из полумрака отвечало
Лунное морщинистое рыло:
— Что же! Удивительного мало!
И меня туманами закрыло.

И пошли смеясь мы и ругаясь,
И туман куда-то в водостоки
Уползал, клубясь и содрогаясь,
И вставало солнце на востоке.
1922

* * *

Застыли в полете четыре весла. Форштевень ударил в песок.
Молчали товарищи. Шлюпка ждала. Он вышел на низкий мысок.
Чуть видимый город мерцал вдалеке. Был северный ветер суров.
И глухо чернели в холодном песке следы прошлогодних костров.
Взглянул он. И медленно в сумрак ушел. Ища, ничего не нашел:
Едва ли остается след каблуков среди этих зыбких песков.
Спугнул только чайку. Вернулся назад. Товарищи молча сидят.
Им ясно, что в городе где-то она,
А здесь лишь песок и волна.
1924

НЕЖНОСТЬ

Вы поблекли. Я — странник, корнчневый весь.
Нам и встретиться будет теперь неприятно.
Только нежность, когда-то забытая здесь,
Заставляет меня возвратиться обратно.

Я войду, не здороваясь, громко скажу:
— Сторож спит, дверь открыта, какая небрежность!
Не бледнейте, не бойтесь! Ничем не грожу,
Но прошу вас: отдайте мне прежнюю нежность.

Унесу на чердак и поставлю во мрак
Там, где мышь поселилась в дырявом штиблете.
Я старинную нежность снесу на чердак,
Чтоб ее не нашли беспризорные дети.
1924

ЛЕТОПИСЕЦ

Где книги наши?
Я отвечу:
— Они во мгле библиотек.

Но с тихой вкрадчивою речью
Подходит этот человек.
— Идемте!
— А куда зовете? Вы кто?
— Я сельский букинист.
Я дам вам книгу в переплете
Из серебра, где каждый лист
То ал, то бел, то желт, то розов,
То дымчат, как полдневный зной,
То ледянист, как от морозов...
Идемте! Следуйте за мной!
— Но почему в пустую ригу
Меня вы молча завели?
— Терпенье! Золотую книгу
Я выдам вам из-под земли!
Какие-то берет он колья,
Какой-то шест, вернее — цеп,
И отмыкает вход в подполье,
Напоминающее склеп.
Здесь веники, и расстегаи,
И душегреи, и пимы,
Но вот и статуя нагая
Выглядывает изо тьмы.
— Вот, разбирайтесь!..—
Тишь, прохлада.
Со щами кислыми ушат...
О да! Здесь нечто вроде склада,
И в этом складе — прямо клад!
Да, это мудрость! Но источник
Сей мудрости необъясним:
Я вижу — Даниил-заточник
И Ванька-ключник рядом с ним...
Здесь книги есть для разных вкусов
На полке этой и на той:
Для коневодов — князь Урусов,
Для сердцеведов — граф Толстой.
Волюмы, рукописи, свитки...
Чего-чего тут только нет!
Через оконце жидкий, жидкий

Трепещущий ложится свет.
Но вот та книга в переплете,
Он о которой говорил.
Действительно, вся в позолоте,
В пыльце, как с бабочкиных крыл.
Читать я начинаю тотчас,
С рисунков не спуская глаз,
Внимательно, сосредоточась...
Прошли минуты или час?
Нет! Дни огромней, чем комбайны,
Плывут оттуда, издали,
Где открывается бескрайный
Простор родной моей земли.
Где полдни азиатски жарки,
Полыни шелест прян и сух.
А на лугах, в цвету боярки,
Поярки пляшут и доярки,
Когда в дуду дудит пастух.

— Вы
Продаете
Эту книгу? —
Я говорю...
Но где же он?
Его уж нет.
Пустую ригу
Я обхожу со всех сторон.
На дворике светло и чисто.
Порхают бабочки в саду...

Вы не встречали букиниста?
Я где теперь его найду?!

1929

НОЧНЫЕ СТРАННИКИ

«Кто вы, ночные странники, по тротуарам шаталы?
Шапки на лоб надвинуты, руки в карманы спрятаны...»
Сада ограда черная тянется, тянется, тянется.
Вдоль я иду, и следует
Рядом
Ночная странница.

Будут за перекрестками ночи еще морознее.
В инее за киосками стынут трамваи поздние.
Словно перед облавою, в темных кварталах паника:
— Слушай, ночная странница,
Разве ты бросишь странника?

Эхо тревожного оклика
Вторится зданьями старыми.
Два наших сложных облика движутся над тротуарами.
И за решеткой заржавленной, там,
где далеко пока еще
Высится, непоставленным,
цоколь какой-то сверкающий,
Близко ли или далеко ли,—
это когда мы состаримся,—
Там на мерцающем цоколе так мы вдвоем и останемся
Вместе, ночная странница!

1932

СОН ПОДСОЛНУХА

Старый хрен растет со мною рядом,
Стонут репы, что земля черна,
И детей своим нехитрым ядом
Отравить мечтает белена.

Солнце! Скрылось ты за облаками.
Скоро огородница придет,
Мощными шершавыми руками
По венцу тихонько проведет.

— Семя,— говорит она,— созрело!
Мы его поджарим и сгрызем.—
Так открутит голову. А тело
Упадет, ломаясь, в чернозем.

Уцелею ли, простой подсолнух,
Если не сумею в эту ночь
Напряженьем сил, еще неполных,
Цепкость этих рук превозмочь?

Ну, рванись! Употреби усилья,
Глядя ввысь, в лазоревую ширь,
Листья, превращаемые в крылья,
Над землей упрямо растопырь.

Ну, рванись! Употреби усилья,
Ведь летает даже нетопырь.
Листья, превращаемые в крылья,
Над землею мощно растопырь.

Пусть бегут и улица и дворня,
Пусть кричат:
— Сгрызем его, сгрызем!—
Взвейся в небо, осыпая с корня
На головы жирный чернозем!

Но земля,
Упорная, за корень
Уцепилась:
— Ты куда? Постой!
Поволнуйся, горд и непокорен.
Это и зовется красотой!

1933

ЯСНОЕ СОЛНЦЕ

Я, зажмурившись, подумал: «Солнце!»
И сцепились буквы вдруг в кольцо,
Образуя мыслимого солнца
Ясное и красное лицо,—
Безо всяческих зловещих пятен,
И протуберанцев, и корон...

Я дремал на солнце. Был приятен
Этот мой немудрый полусон,
Будто вправду озарило солнце
Лес, и ос, и сонное сельцо,
И под солнцем я лежал на солнце,
Бросившись на свежее сенцо.

И тогда я поглядел на солнце,
И не то, что был я ослеплен,
Но как будто бы затмили солнце
Пятна в черном образе ворон,
И они в глазах моих плясали,
Налетевшие со всех сторон,
Каркая, что нет на свете солнца
Без протуберанцев и корон!

1934

Константин Симонов

СЕВЕРНАЯ ПЕСНЯ

Мужчине — на кой ему черт порошки,
Пилюли, микстуры, облатки.
От горя нас спальные лечат мешки,
Походные наши палатки.

С порога дорога идет на восток,
На север уходит другая,
Собачья упряжка, последний свисток —
Но где ж ты, моя дорогая?

Тут нету ее, нас не любит она,
Что ж делать, не плакать же, братцы!
Махни мне платочком хоть ты, старина,—
Так легче в дорогу собраться.

Как будто меня провожает жена,
Махни мне платочком из двери,
Но только усы свои сбрей, старина,
Не то я тебе не поверю.

С порога дорога идет на восток,
На север уходит другая,
Собачья упряжка, последний свисток.
Прощай же, моя дорогая!

1938—1939

* * *

Всю жизнь любил он рисовать войну,
Беззвездной ночью наскочив на мину,
Он вместе с кораблем пошел ко дну,
Не дописав последнюю картину.

Всю жизнь лечиться люди шли к нему,
Всю жизнь он смерть преследовал жестоко
И умер, сам привив себе чуму,
Последний опыт кончив раньше срока.

Всю жизнь привык он пробовать сердца.
Начав еще мальчишкою с «ньюпора»,
Он в сорок лет разбился, до конца
Не испытав последнего мотора.

Никак не можем помириться с тем,
Что люди умирают не в постели,
Что гибнут вдруг, не дописав поэм,
Не долечив, не долетев до цели.

Как будто есть последние дела,
Как будто можно, кончив все заботы,
В кругу семьи усесться у стола
И отдыхать под старость от работы...
1939

ИЗГНАННИК

Испанским республиканцам

Нет больше родины. Нет неба, нет земли.
Нет хлеба, нет воды. Всё взято.
Земля. Он даже не успел в слезах, в пыли
Припасть к ней пересохшим ртом солдата.

Чужое море билось за кормой,
В чужое небо пену волн швыряя.
Чужие люди ехали «домой»,
Над ухом это слово повторяя.

Он знал язык. Его жалели вслух
За костыли и за потертый ранец,
А он, к несчастью, не был глух,
Бездомная собака, иностранец.

Он высадился в Лондоне. Семь дней
Искал он комнату. Еще бы!
Ведь он искал чердак, чтоб был бедней
Последней лондонской трущобы.

И наконец нашел. В нем потолки текли,
На плитах пола промокали туфли,
Он на ночь у стены поставил костыли —
Они к утру от сырости разбухли.

Два раза в день спускался он в подвал
И медленно, скрывая нетерпенье,
Ел черствый здешний хлеб и запивал
Вонючим пивом за два пенни.

Он по ночам смотрел на потолок
И удивлялся, ничего не слыша:
Где «юнкерсы», где неба черный клок
И звезды сквозь разодранную крышу?

На третий месяц здесь, на чердаке,
Его нашел старик, прибывший с юга;
Старик был в штатском платье, в котелке,
Они едва смогли узнать друг друга.

Старик спешил. Он выложил на стол
Приказ и деньги — это означало,
Что первый час отчаянья прошел,
Пора домой, чтоб всё начать сначала.

Но он не может. «Слышишь, не могу!» —
Он показал на раненую ногу.
Старик молчал. «Ей-богу, я не лгу,
Я должен отдохнуть еще немного».

Старик молчал. «Еще хоть месяц так,
А там — пускай опять штыки, застенки, мавры».
Старик с улыбкой расстегнул пиджак
И вынул из кармана ветку лавра.

Три лавровых листка. Кто он такой,
Чтоб забывать на родину дорогу?
Он их смотрел на свет. Он гладил их рукой,
Губами осторожно трогал.

Как он посмел забыть? Три лавровых листка.
Что может быть прочней и проще?
Не всё еще потеряно, пока
Там не завяли лавровые рощи.

Он в полночь выехал. Как родина близка,
Как долго пароход идет в тумане...

. . . .

Когда он был убит, три лавровых листка
Среди бумаг нашли в его кармане.

1939

ОРЛЫ

Там, где им приказали командиры,
С пустыми карабинами в руках
Они лежали мертвые, в мундирах,
В заморских неуклюжих башмаках.

Еще отбой приказом отдан не был,
Земля с усталым грохотом тряслась,
Ждя похорон, они смотрели в небо;
Им птицы не выклевывали глаз.

Тень от крыла орлиного ни разу
Еще по лицам мертвых не прошла.
Над всею степью, сколько видно глазу,
Я не встречал ни одного орла.

Еще вчера в батальные картины
Художники по памяти отцов
Вписали полуночные равнины
И стаи птиц над грудой мертвецов

Но этот день я не сравню с вчерашним,
Мы, люди, привыкаем ко всему,
Но поле боя было слишком страшным:
Орлы боялись подлетать к нему.

У пыльных юрт второго эшелона,
Легко привыкнув к тыловым огням,
На вешках полевого телефона
Они теперь сидят по целым дням,

Восточный ветер, вешками колыша,
У них ерошит перья на спине,
И кажется: орлы дрожат, заслыша
Одно напоминанье о войне.

1939



Дэвид Бурлюк

УТВЕРЖДЕНИЕ БОДРОСТИ

Каждый молод, молод, молод,
В жьивоте чертовский голод,
Так идите же за мииой...
За моей спииой.
Я бросаю гордый клич,
Этот краткий спич!
Будем кушать камии, травы,
Сладость, горечь и отравы,
Будем лопать пустоту,
Глубину и высоту.
Птиц, зверей, чудовищ, рыб,
Ветер, глииы, соль и зыбь!
Каждый молод, молод, молод,
В жьивоте чертовский голод.
Все, что встретим иа пути,
Может в пищу нам идти.

ПРИЗЫВ

Приемля вапахи и отрицая вонь...

Русь — одии сплошиой клоповник!..
Всюду вшей ползет обоз,
Носит золото саиовиик,
Мужичок, что весь промозг.

Осень... тонем студиой... слякоть...
«Номера» — ие заходи:
Обкусают звери мякоть —
Ночь «цеитральиых» — проведи.

Всюду липкою тряпицей
У грудиого заткиут рот!..
Есть? — вопли десятерицей —
Тошноты моря и рвот.

Русь грязевое болото
Тяиет гиойный, пьяный смрад..
Слабы вывезть нечистоты
Поселеиье, пристаиь, град.

Грязь зовут — враги — отчизиой!
Разве в этом «русский быт»?
Поскорее правим тризиу —
Празднествам параш, корыт!..

Моем мощиой, бодрой шваброй
Милой родииы удел
Все, кто духом юио-храбрым
Торопясь, не оскудел!

918



Василий Каменский

ЖОНГЛЕР

Згара-амба
Згара-амба
Згара-амба
Амб.
        Амб-згара-амба
        Амб-згара-амба
        Амб-згара-амба
        Амб.
Шар-шор-шур-шир.
Чин-драх-там-дззз.
        Шар-диск
        Ламп-диск
        Брось-диск
        Иск-иск-иск-иск.
Пень. Лень. День. Тень.
Перевень. Перемень.
Пок. Лок. Док. Ток.
Перемок. Перескок.
Рча-рча
Амс.
        Сень. Синь. Сан. Сон.
        Небесон. Чудесон.
        Словолей. Соловей аловей.
        Чок-й-чок.
        Ей. Лей. Млей. Милей.
        Чу сверчок.
        Взгам-бара-лязг-вэмай.
        Ам-ара-язг-май.
Раскину ласкину из амбара слов
И в шатре ало-шелковой айзы,
Где мое детство чудесно росло,
Пропою барбала-баралайзы.
Эль-лё-лё.

Наденет тонкое трико
Поэт (уста — свирели)
И станет в ритме над рекой
Бросать золотострели.

Бросай — лови
И барчум-ба.
Лови и згара-амба.
Осой-ови и арчум-ба
Зови икара амба.
Пой песню, смейся и сияй
Бессмысленным глиором.
Поэтом будь — зайли-заяй,
Будь истинным жонглером.

Бросай — лови.
Дороже струй
Блеск вскинутого слова,
Эсаина вий.
И торжествуй
В час звонкого улова.

Событий яркий горизонт
Мы претворим в пунцарий.
Гори — озон,
Греми — грозон —
И молнепроизь гонцарий.
Мудрец — я верю тайнам чар —
Волшебным перезвам
И кольцам сказочных вещар,
Запястьям бирюзовым.
Певец — я жажду пенья птиц
И северных сияний,
Игру играющих зариц,
Судьбу словослияний.
Пророк — провижу грань вселен
Грядущей гениэмы,
Когда весной в цветах зелен
Взойдут без слов поэмы.

Жонглер — я точен барчум-ба
В бессмысленности айзы:
Бросая диск на чарум-ба,
Пою всем баралайзы.
Искусство мира — карусель,
Блистанность над глиором
И словозвонная бесцель,
И надо быть жонглером.

Верь: станет стень стеной —
Бродячий словокант
Зайдет во двор с цинной
Сыграть устами мант.
И в розовом трико нинам,
Жонглируя словалью,
Он вскинет на престол фиам
Дурманной чаровалью.
И всяк поймет, что словоцель
В играйне блеска-диска,
Искусство мира — карусель —
В зарайне золотиска.
Сияй сиярч. Буби бубенч.
На тройке трой в триоле.
Пусть чуют все, что словозвенч —
Есть истина на воле.
Лети в разлет на тихостан
Стихийностью бнарма
И ловистан —
И бросайстан —
Словольность — жонглиарма.
Я-арамба́ произить сердцаль
Готов до звезд-вселента.
Моя поэма — созерцаль,
Бряцальная словента.
Поэт — я верю в барчум-ба —
Чин-драх
Тар-чари-амба,
В загар чумбай
Славчин в горах
Брианта загорамба.
Эль-лё-лё.
Начинаю.
Згара-амба.
Згара-амба
Безграиара-бесконцамба.
Цалипара.
Там-тара-тра
Цца-уап.

1922

НОЧЬ ЛЕСНАЯ

Серебряным лебедем
Солнце всплывало
По глубокому озеру
Синих небес.
Утро, туманное
Сняв покрывало,
Шло гулять на поля
И в проснувшийся лес,
В зелень — блеск.
А в лесу птичий свист
Переливно-лучист.
И в алмазах росы
Блестит трепетный лист
Изумрудной
Прозрачной красы.
Утро любит своей
Тишины полосу,
Хорошо в эту пору
В лесу:
Зачарован покой
Хвойных
Плавных гирлянд.
Глянь — повис голубой
На цветке бриллиант.
Слухом душу
Наполни, согрей —
Звуки тайны несут:
Много птиц и зверей
На Урале в лесу.
Там, где тень,
Сядь на пень
И тихонько вникай —
Что сулит
Обещающий день.
Жуй малину свою.
Наблюдай и вдыхай
Ароматов струю
И будь мудр —
Пей с любовью красу.
Думай: много ли
Солнечных утр
Ты увидишь в лесу?

А ведь тут
Звуки жизни
Симфонию ткут.
Пей с наслаждением
День по глотку.
Только лишь
Тишь —
Слышь:
Мышка лазит в норе
У самых ног,
Где мох.
Жук ползет по коре
У самых глаз.
Будто для ласк.
Муравьи —
На игольной горе.
Кто им помог?
Бабочки —
В летной игре.
Рыжая белка,
Как свечка, зажглась
На сосновом суку.
Вздумалось власть
Проявить барсуку:
Заботливо роет
Зверюга лесной
Ход запасной.
Ястреб летит
По-над лесом,
Планирует бесом,—
Птички в тревоге:
Враг на дороге.
Эй, берегись!
Тишь.
Слышь:
Клест кривоклювый
Поет, будто
Трель мандолины.
Где-то дятел
Стучит
И кричит из долины.
Где-то рябчик
Вспорхнул
У пунцовой малины.

Где-то заяц,
Ушастый красавец,
Сучок обломил.
Заяц серенький мил:
Видно, бродит лисица
(А серый боится),
И за нею следит
Осторожная птица.
Подает другим весть —
Кто-то страшный тут есть.
Снова только лишь
Тишь.
Слышь:
Где-то хрустко
Мнет ветвь
Иль куница,
Иль медведь,
Или рысь. Чуй.
Или лось.
Много звуков,
Тайных стуков
В тишине лилось.

День-деньской
Так до зари,
Когда смолкнут
На осинах глухари.
Когда вяхирь
Перед сном
Проворкует
О лесном
Закате дня,
Ко сну маня,
Ночь под синей
Шалью мглы
В лес войдет
Во все углы.
Тихо.
Только пробежит
Прохладный ветер.
Чуть раскинет
Листьев веер,
Чуть потреплет
Сон гирлянд.

И теперь
Уже на иебе
Заиграет бриллиант.
И еще другой...
Кругом краса.
И теперь уж
Россыпь звезд —
Самоцветная роса.
Или будто
Блесткий зуд —
Светлячки
Небес ползут.
Снова тишь.
Летает мышь.
Будто тихо.
Нет, не верь —
Где-то рыщет,
Ищет пищу
Лютый зверь —
Коварный волк
Или медведица —
Ой, в кого-то
Нюхом метится.
Все возможно.
Ночь лесиая
На Урале —
Это сказка-быль тайги:
Там, где мышки
Дием играли —
Ночью шкуру береги.
Там, где утром
Пели птицы —
Филин перья
Рвет синицы.
Там,
Где бегали зайчата —
Землю роет
Лапа чья-то.
И опять — чу,
Треск сухой:
Кто-то
Крадется лихой.
Но не страшно.
Ночь пестра.

Хорошо спать
   У костра,
В котелке
   Чаек варить,
С другом нежно
   Говорить
И под чарочку винца
   Хрумкать
      Сочность огурца.

1939



Велимир Хлебников

ЕДИНАЯ КНИГА

Я видел, что черные Веды,
Коран и Евангелие,
И в шелковых досках
Книги монголов,
Сами из праха степей,
Из кизяка благовонного,
Как это делают
Калмычки каждой зарей,—
Сложили костер
И сами легли на него.
Белые вдовы в облаке дыма скрывались,
Чтобы ускорить приход
Книги единой,
Чьи страницы, большие моря,
Что трепещут крылами бабочки синей,
А шелковинка — закладка,
Где остановился взором читатель.
Реки великие синим потоком:
Волга, где Разину ночью поют,
Желтый Нил, где молятся солнцу,
Янцзекиянг, где жижа густая людей,
И ты, Миссисипи, где янки
Носят штанами звездное небо,
В звездное небо окутали ноги,
И Ганг, где темные люди — деревья ума,
И Дунай, где в белом белые люди
В белых рубахах стоят над водой,
И Замбези, где люди черней сапога,
И бурная Обь, где бога секут
И ставят в угол глазами
Во время еды чего-нибудь жирного,
И Темза, где серая скука.
Род человечества — книги читатель.

И на обложке — надпись творца,
Имя мое, письмена голубые.
Да ты небрежно читаешь,
Больше внимания,
Слишком рассеян и смотришь лентяем.
Точно уроки закона божия,
Эти горные цепи и большие моря.
Эту единую книгу
Скоро ты, скоро прочтешь.
В этих страницах прыгает кит
И орел, огибая страницу угла,
Садится на волны морские, груди морей,
Чтоб отдохнуть на постели орлана.
1920

СЛОВО О ЭЛЬ

Когда судов широкий вес
Был пролит на груди,
Мы говорили: видишь — лямка
На шее бурлака.
Когда камней бесился бег,
Листом в долину упадая,
Мы говорили — то лавина.
Когда плеск волн удар в моржа,
Мы говорили — это ласты.
Когда зимой снега хранили
Шаги ночные зверолова,
Мы говорили — это лыжи.
Когда волна лелеет чели
И носит ношу человека,
Мы говорили — это лодка.
Когда широкое копыто
В болотной топи держит лося,
Мы говорили — это лапа.
И про широкие рога
Мы говорили — лось и лань.
Через осипший пароход
Я увидал кривую лопасть:
Она толкала тяжесть вод
И луч воды забыл, где пропасть.
Когда доска на груди воина
Ловила копья и стрелу,
Мы говорили — это латы.

Когда цветов широкий лист
Облавой ловит лёт луча,
Мы говорим — протяжный лист.
Когда умножены листы,
Мы говорили — это лес.
Когда у ласточек протяжное перо
Блеснет, как лужа ливня синего,
И птица льется лужей нош,
И лег на лист летуньи вес,
Мы говорим — она летает,
Блистая глазом самозванки.
Когда лежу я на лежанке
На ложе лога на лугу,
Я сам из тела сделал лодку,
И лень на тело упадает.
Ленивец, лодырь или лодка, кто я?
И здесь и там пролита лень.
Когда в ладонь сливались пальцы,
Когда не движет легот листья,
Мы говорили — слабый ветер,
Когда вода — широкий камень,
Широкий пол из снега,—
Мы говорили — это лед.
Лед — белый лист воды.
Кто не лежит во время бега
Звериным телом, но стоит,
Ему названье дали — люд,
Мы воду черпаем из ложки.
Он одинок, он выскочка зверей,
Его хребет стоит как тополь,
А не лежит хребтом зверей,
Прямостоячее двуногое
Тебя назвали через люд.
Где лужей пролилися пальцы,
Мы говорили — то ладонь.
Когда мы легки, мы летим.
Когда с людьми мы, люди, легки,
— Любим. Любимые — людимы.

Эль — это легкие Лели.
Точек возвышенный ливень,
Эль — это луч весовой,
Воткнутый в площадь ладьи.
Нить ливня и лужа.
Эль — путь точки с высоты,

Остановленный широкой
Плоскостью.
В любви сокрыт приказ
Любить людей,
И люди те, кого любить должны мы.
Матери ливнем любимец —
Лужа дитя.
Если шириною площади остановлена
точка —
это *Эль.*

Сила движения, уменьшенная
Площадью приложения,— *это Эль.*
Таков силовой прибор,
Скрытый за Эль.

1920

* * *

Русь, певучая в месяце Ай,
Ты собираешь в лукошко грибы
— рыжик и груздь, и сыроежка —
В месяц Ау.
Он голодай. Падает май.
Гнешь пояса в месяц страдник,
Черный и темный ночами грозник.
В серпня времена вяжешь снопы.
Жницы в полях.
И в осенины смотришь на небо,
На ясное бабие лето.
В месяц реун
Слушаешь зверя, смотришь на зарево.
Свадьбы справляешь в зазимье,
В свадебник месяц,
Глухарями украсив дугу.
Братчины после приходят,
Брага и пиво и вечера.
За ними зимник.
Мчишься на лыжах, зайца подозрив.
И синий зимы перелом —
Месяц просинец. Саням раздолье.
Дороги широкие!
Идет бокогрей.

Лепишь снегур,
Даешь им метлу
И угли для глаза.
Тает и тает снегура.
После пролетье, свистун.
Свисти с голодухи в кулак.
И наконец месяц цветень.
По Батыевой дороге
Полетели грачи.
Это он — заиграй-овраги,
На оврагах мать-мачеха
Золотыми звездочками.
И она от водки бога
Охмелела и пьяна.

1920

МОРЕ

Бьются синие которы
И зеленые ямуры.
Эй, на палубу, поморы,
Эй, на палубу, музуры,
Голубые удальцы!
Ветер баловень — а-ха-ха!
Дал пощечину с размаха,
Судно село кукарачь,
Скинув парус, мчится вскачь.
Волны скачут лата-тах!
Волны скачут а-ца-ца!
Точно дочери отца.
За морцом летит морцо.
Море бешеное взы-ы!
Море, море, но-но-но!
Эти пади, эти кручи
И зеленая крутель.
Темный вали кумоворот,
В тучах облако и мра
Белым баловнем плывут.
Моря катится охава,
А на небе виснет зга —
Эта дзыга синей хляби,
Кубари веселых волн.
Море вертится юлой,

Море грезит и моргует
И могилами торгует.
Наше оханное судно
Полететь по морю будно,
Дико гонятся две влаги —
Обе в пене и белаге,
И волною кокова
Сбита, лебедя глава.
Море плачет, море вакает,
Черным молния варакает.
Что же, скоро стихнет вза,
Наша дикая гроза?
Скоро выглянет ваража
И исчезнет ветер вражий?
Дырой дикль сняет в небе,
Буря шутит и шигаит,
Небо тучи великанит.
Эй, на палубу, поморы,
Эй, на палубу, музуры,
Ветер славить, молодцы!
Ветра с морем нелады
Доведут нас до беды.
Судно бьется, судну ва-ва!
Ветер бьется в самый корог,
Остов бьется и трещит.
Будь он проклят, ветер-ворог —
От тебя молитва щит.
Ветер лапою ошкуя
Снова бросится, тоскуя,
Грозно вырастет волна,
Возрастая в гневе старом.
И опять волны ударом
Вся ладья потрясена.
Завтра море будет отеть,
Солнце небо позолотит.
Буря киш, буря кши!
Почернел суровый юг,
Занялась ночная темень.
Это нам пришел каюк,
Это нам приходит неман.
Судну ва-ва, море бяка,
Море сделало бо-бо!
Волны, синие борзые,
Скачут возле господина,
Заяц тучи на руке.

И волнисто-белой грудью
Грозят люду и безлюдью,
Полны злости, полны скуки.
В небе черном серый кукиш,
Небо тучам кажет шиш.
Эй ты, палуба лихая,
Что задумалась, молчишь?
Ветер лапою медвежьей
Нас голубит, гладит, нежит.
Будет небо голубо,
А пока же нам бо-бо.
Буря носится волчком,
По-морскому бога хая.
А пока же, охохонюшки,
Ветру молимся тихонечко.
1920

ИРАНСКАЯ ПЕСНЯ

Как по речке по Ирану,
По его зеленым струям,
По его глубоким сваям,
Сладкой около воды
Ходят двое чудаков
Да стреляют судаков.
Они целят рыбе в лоб,
Стой, голубушка, стоп!
Они ходят, приговаривают.
Верю, память не соврет.
Уху варят и поваривают.
«Эх, не жизнь, а жестянка!»
Ходит в небе самолет,
Братвой облаку удалой,
Где же скатерть-самобранка,
Самолетова жена?
Иль случайно запоздала,
Иль в острог погружена?
Верю сказкам наперед:
Прежде сказки — станут былью,
Но когда дойдет черед,
Мое мясо станет пылью.
И когда знамена оптом
Пронесет толпа, ликуя,

Я проснусь, в землю втоптан,
Пыльным черепом тоскуя.
Или все свои права
Брошу будущему в печку?
Эй, черней, лугов трава!
Каменей навеки, речка!

1921

* * *

Я видел юношу-пророка,
Припавшего к стеклянным волосам
лесного водопада.
Где старые мшистые деревья
стояли в сумраке важно, как старики,
И перебирали на руках четки
ползучих растений.
Стеклянной пуповиной летела в пропасть цепь
Стеклянных матерей и дочерей,
внизу река шумела
Рождения водопада, где мать воды и дети
менялися местами.
Деревья заполняли свечами своих веток
Пустой объем ущелья, и азбукой столетий
толпилися утесы.
А камни-великаны, как плечи лесной девы
Под белою волной,
Что за морем искал священник наготы.
Он Разиным поклялся быть напротив.
Ужели снова бросит в море княжну?
Противо-Разин грезит.
Нет! Нет! Свидетели — высокие деревья!
Студеною волною покрыв себя
И холода живого узнав язык и разум,
Другого мира ледяную красу тела,
Наш юноша поет:
«С русалкою Зоргама обручен
Навеки я,
Волну очеловечив.
Тот сделал волной деву».
Деревья шептали речи столетий.

1921

* * *

Ра, видящий очи свои в ржавой и красной
болотной воде,
Созерцающий свой сон и себя
В мышонке, тихо ворующем болотный злак,
В молодом лягушонке, надувшем белые пузыри
в знак мужества,
В траве зеленой, порезавшей красным
почерком стан у девушки, согнутой с серпом,
Собиравшей осоку для топлива и дома,
В струях рыб, волнующих травы,
пускающих кверху пузырьки,
Окруженный Волгой глаз.
Ра, продолженный в тысяче зверей
и растений,
Ра, дерево с живыми, бегающими и думающими
листами, испускающими шорохи, стоны.
Волга глаз,
Тысячи очей смотрят на него,
тысячи зир и зин.
И Разин,
Мывший ноги,
Поднял голову и долго смотрел на Ра,
Так что тугая шея покраснела узкой чертой.

1921

ГОЛОД

Почему лоси и зайцы по лесу скачут,
Прочь удаляясь?
Люди съели кору осины,
Елей побеги зеленые...
Жены и дети бродят в лесах
И собирают березы листы
Для щей, для окрошки, борща,
Елей верхушки и серебряный мох,—
Пища лесная!
Дети, разведчики леса,
Бродят по рощам,
Жарят в костре белых червей,
Заячью капусту и гусениц жирных
Или больших пауков — они слаще ореха.
Ловят кротов и ящериц серых,
Гадов шипящих стреляют из лука,

Хлебцы пекут из лебеды.
За мотыльками от голода,
Глянька, бегают:
Целый набрали мешок,
Будет сегодня из бабочек борщ —
Мамка сварит.
На зайца, что нежно
Прыжками скачет по лесу,
Дети, точно во сне,
Точно на светлого мира видение,
Все засмотрелись
Большими глазами, святыми от голода,
Правде не веря.
Но он убегает проворным видением,
Кончиком уха черные сквозь сосны.
И вдогонку ему стрела понеслась,
Но поздно —
Сытный обед ускакал!
А дети стоят очарованные...
«Бабочка, глянь-ка, там пролетела...»
Лови и беги! А там голубая!..
Хмуро в лесу. Волк прибежал
Издалека
На место, где в прошлом году
Он скушал овцу.
Долго крутился юлой, крутобокий,
Все место обнюхал.
Но ничего не осталось — дела муравьев,—
Кроме сухого копытца.
Огорченный, комковатые ребра поджал
И утек за леса.
Тетеревов алобровых и глухарей
Серогрудых,
Заснувших под снегом,
Будет давить лапой тяжелой,
Облаком снега осыпан...
Лисичка, огневка пушистая,
Комочком на пень взобралась
И размышляла, горюя...
Разве собакою стать? Людям
На службу пойти?
Сеток растянуто много — ложись в любую...
Опасно, съедят, как съели собак!
И стала лисица лапками мыться,
Покрытая парусом красным хвоста.

Белка ворчала:
«Где же мои орехи и желуди?
Я не святая, кушать я тоже хочу».
Тихо.
Прозрачно.
Сосна целовалась с осиной.
Может, назавтра их срубят на завтрак.
1921

* * *

Вши тупо молилися мне,
Каждое утро ползли по одежде,
Каждое утро я казнил их,
Слушая трески,
Но они появлялись вновь спокойным прибоем.

Мой белый божественный мозг
Я отдал, Россия, тебе.
Будь мною, будь Хлебниковым.
Сваи вбивал в ум народа и оси,
Сделал я свайную хату —
«Мы будетляне».
Все это делал как нищий,
Как вор, всюду проклятый людьми.
1921

* * *

Я вышел юношей, один
В глухую ночь,
Покрытый до земли
Тугими волосами.
Кругом стояла ночь
И было одиноко,
Хотелося друзей,
Хотелося себя.
Я волосы зажег,
Бросался лоскутами колец
И зажигал кругом себя.
Зажег поля, деревья,
И стало веселей.

Горело Хлебникова поле.
И огненное Я пылало в темноте.
Теперь я ухожу,
Зажегши волосами...
И вместо Я
Стояло — Мы.

1922

* * *

Еще раз, еще раз
Я для вас вечерняя
Звезда.
Горе моряку, взявшему
Неверный угол своей ладьи
И звезды:
Он разобьется о камни,
О подводные мели.
Горе и вам, взявшим
Неверный угол сердца ко мне:
Вы разобьетесь о камни,
И камни будут насмехаться
Над вами,
Как вы насмехались
Надо мной.

1922

ТРИ СЕСТРЫ

Как воды далеких озер
За темными ветками ивы,
Молчали глаза у сестер,
А все они были красивы.
Одна, зачарована богом
Жестоких людских образов,
Стояла под звездным чертогом
И слушала полночи зов.

А та замолчала навеки,
Душой простодушнее дурочки,
Боролися черные веки
С зрачками усталой снегурочки.
Лукавый язык из окошка на птичнике
Прохожего дразнит цыгана,

То, полная песен язычника,
Молчит на вершине кургана.
Она серебристые глины
Любила дикарского тела,
На сене, на стоге овина
Лежать — ей знакомое дело.
И, полная неба и лени,
Жует голубые цветы,
И в мертвом засохнувшем сене
Плыла в голубые черты.

Порой, быть одетой устав,
Оденет речную волну,
Учить своей груди устав
Дозволит ветров шалуну.
Она одуванчиком тела
Летит к одуванчику мира.
И сказка ручейная пела,
Глаза человека — секира.

И в пропасть вечернего неба
Смотрели девичьи глаза,
И волосы черного хлеба
От ветра упали назад.
Была точно смуглый зверок,
Где синие блещут глазенки;
Небес синева, как намек,
Блеснет на ресницах теленка.

И волосы — золота темного мед —
Похожи на черного солнца восток;
Как черная бабочка небо сосет
И хоботом узким пьет неба цветок.
И неба священный подсолнух
То золотом черным, то синим отливом
Блеснет по разметанным волнам,
Проходит, как ветер по нивам.

Идет, как священник, и темной рукой
Дает темным волнам и сон и покой.
То, может быть, Пушкин иль Ленский
По ниве идет деревенской;
И слабая кашка запутает ноги
Случайному гостю сельской дороги.

Другая окутана сказкой
Умерших событий,
К ней тянутся часто за лаской
Другого дыхания нити.
Она величаво, как мать,
Проходит сквозь призраки вишни
И любит глаза подымать,
Где звезды раскинул всевышний.

Дрожали лучи поговоркою,
И время столетьями цедится,
И смотрит задумчиво-зоркая,
Как слабо шагает Медведица.
И дышит старинная вольница,
Ушкуйницы гордая стать.
О, строгая ликом раскольница,
Поморов отшельница-мать.

Стонавших радостно черемух
Зовет бушующий костер,
Там в стороне от глаз знакомых
Находишь, дикая, шатер.
И, точно хохот обезьяны,
Взлетели косы выше плеч,
И ветров синие цыганы
Ведут взволнованную речь.
Чтоб мертвецы забыли сны,
Она несет костер весны,
Его накинули на плечи,
Забывши облик человечий.

30 марта 1920, 1922



Владимир Маяковский

* * *

Нам грязным что может казаться привольнее —
сплошною ванною туча, и вы в ней.
В холодных прозрачнейших пахнущих молнией
купаетесь в душах душистейших ливней.

А может быть, это в жизни будет,
на что же иначе, когда не на это,
поэтов каких-то придумали люди.
Или я в насмешку назван поэтом?
1920

* * *

Коммунисты, все руки тянутся к вам
ждут — революция? Не она ли?
Не красная ль к нам идет Москва,
звеня в Интернационале?!
Известие за известием, революция, борьба,
забастовка железнодорожных линий...
Увидели в Берлине большевика, а не раба —
бьет буржуев в Берлине.
Ломая границ узы,
шагая горами веков,
и к вам придет, французы,
красная правда большевиков.
Все к большевизму ведут пути,
не уйти из-под красного вала,
Коммуне по Англии неминуемо пройти,
рабочие выйдут из подвалов.
Что для правды волн ворох,
что ей верст мерка!

В Америку Коммуна придет. Как порох,
вспыхнет рабочая Америка.
Есть ли страна, где рабочих нет,
где нет труда и капитала?!
Рабочее сердце в каждой стране
большевистская правда напитала.
Не пощадит никого удар,
дней пройдет гряда,
и будут жить под властью труда
все страны и все города.
Не страшны никакие узы.
Эту правду не задуть, как солнце никогда
ни один не задует толстопузый!

1920, март

ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЧКА ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

Слава тебе, краснозвездный герой!
Землю кровью вымыв,
во славу коммуны,
к горе за горой
шедший твердынями Крыма.
Они проползали танками рвы,
выпятив пушек шеи, —
телами рвы заполняли вы,
по трупам перейдя перешеек.
Они
за окопами взрыли окоп,
хлестали свинцовой рекою, —
а вы
отобрали у них Перекоп
чуть не голой рукою.
Не только тобой завоеван Крым
и белых разбита орава, —
удар твой двойной:
завоевано им
трудиться великое право.
И если
в солнце жизнь суждена
за этими днями хмурыми,
мы знаем —
вашей отвагой она
взята в перекопском штурме.

В одну благодарность сливаем слова
тебе,
краснозвездная лава.
Во веки веков, товарищи,
вам —
слава, слава, слава!

1920—1921

ЛЮБЛЮ

ОБЫКНОВЕННО ТАК

Любовь любому рожденному дадена,—
но между служб,
доходов
и прочего
со дня на́ день
очерствевает сердечная почва.
На сердце тело надето,
на тело — рубаха.
Но и этого мало!
Один —
идиот! —
манжеты наделал
и груди стал заливать крахмалом.
Под старость спохватятся.
Женщина мажется.
Мужчина по Мюллеру мельницей машется.
Но поздно.
Морщинами множится кожица.
Любовь поцветет,
поцветет —
и скукожится.

МАЛЬЧИШКОЙ

Я в меру любовью был одаренный.
Но с детства
людьё
трудами муштровано.
А я —
убёг на берег Риона
и шлялся,
ни чёрта не делая ровно.

Сердилась мама:
«Мальчишка паршивый!»
Грозился папаша поясом выстегать.
А я,
разживясь трехрублевкой фальшивой,
играл с солдатьём под забором в «три
листика».
Без груза рубах,
без башмачного груза
жарился в кутаисском зное.
Выворачивал солнцу то спину,
то пузо —
пока под ложечкой не заноет.
Дивилось солнце:
«Чуть виден весь-то!
А тоже —
с сердечком.
Старается малым!
Откуда
в этом
в аршине
место —
и мне,
и реке,
и стовёрстым скалам?!»

ЮНОШЕЙ

Юношеству занятий масса.
Грамматикам учим дурней и дур мы.
Меня ж
из 5-го вышибли класса.
Пошли швырять в московские тюрьмы.
В вашем
квартирном
маленьком мирике
для спален растут кучерявые лирики.
Что выищешь в этих болоночьих лириках?!
Меня вот
любить
учили
в Бутырках.
Что мне тоска о Булонском лесе?!
Что мне вздох от видов на́ море?!
Я вот
в «Бюро похоронных процессий»

влюбнлся
в глазок 103 камеры.
Глядят ежедневное солнце,
зазна́ются.
«Чего — мол — стоют лучёнышкн эти?»
А я
за стенного
за желтого зайца
отдал тогда бы — все на свете.

МОЙ УНИВЕРСИТЕТ

Французскнй знаете.
Де́лнте.
Множнте.
Склоняете чу́дно.
Ну н склоняйте!
Скажнте —
а с домом спеться
можете?
Язык трамвайскнй вы понимаете?
Птенец человечнй,
чуть только вывелся —
за кннжкн рукой,
за тетрадные дестн.
А я обучался азбуке с вывесок,
лнстая странnцы железа н жестн.
Землю возьмут,
обкорнав,
ободрав ее —
учат.
И вся она — с крохотный глобус.
А я
бокамн учнл географню —
недаром же
наземь
ночевкой хлопаюсь!
Мутят Иловайскнх больные вопросы:
— Была ль рыжа борода Барбароссы? —
Пускай!
Не копаюсь в пропы́ленном вздоре я —
любая в Москве мне нзвестна нсторня!
Берут Добролюбова (чтоб зло
ненавндеть), —
фамнлья ж протнв,

скулит родо[illegible]зя.
Я
жирных
с детства привык ненавидеть,
всегда себя
за обед продавая.
Научатся,
сядут —
чтоб нравиться даме,
мыслишки звякают лбенками
медненькими.
А я
говорил
с одними домами.
Одни водокачки мне собеседниками.
Окном слуховым внимательно слушая,
ловили крыши — что брошу в уши я.
А после
о ночи
и друг о друге
трещали,
язык ворочая — флюгер.

ВЗРОСЛОЕ

У взрослых дела.
В рублях карманы.
Любить?
Пожалуйста!
Рубликов зá сто.
А я,
бездомный,
ручища
в рваный
в карман засунул
и шлялся, глазастый.
Ночь.
Надеваете лучшее платье.
Душой отдыхаете на женах, на вдовах.
Меня
Москва душила в объятьях
кольцом своих бесконечных Садовых.
В сердца,
в часишки
любовницы тикают.

В восторге партеры любовного ложа.
Столиц сердцебиение дикое
ловил я,
Страстною площадью лежа.
Враспашку —
сердце почти что снаружи —
себя открываю и солнцу и луже.
Входите страстями!
Любовями влазьте!
Отныне я сердцем править не властен.
У прочих знаю сердца дом я.
Оно в груди — любому известно!
На мне ж
с ума сошла анатомия.
Сплошное сердце —
гудит повсеместно.
О, сколько их,
одних только вёсен,
за 20 лет в распалённого ввалено!
Их груз нерастраченный — просто несносен.
Несносен не так,
для стиха,
а буквально.

ЧТО ВЫШЛО

Больше чем можно,
больше чем надо —
будто
поэтовым бредом во сне навис —
комок сердечный разросся громадой:
громада любовь,
громада ненависть.
Под ношей
ноги
шагали шатко —
ты знаешь,
я же
ладно слажен —
и всё же
тащусь сердечным придатком,
плеч подгибая косую сажень.
Взбухаю стихов молоком
— и не вылиться —
некуда, кажется — полнится заново.

Я вытомлен лирикой —
мира кормилица,
гипербола
праобраза Мопассанова.

ЗОВУ

Поднял силачом,
понес акробатом.
Как избирателей сзывают на митинг,
как сёла
в пожар
созывают набатом —
я звал:
«А вот оно!
Вот!
Возьмите!»
Когда
такая махина ахала —
не глядя,
пылью,
грязью,
сугробом,
дамьё
от меня
ракетой шарахалось:
«Нам чтобы поменьше,
нам вроде танго́ бы...»
Нести не могу —
и несу мою ношу.
Хочу ее бросить —
и знаю,
не брошу!
Распора не сдержат рёбровы дуги.
Грудная клетка трещала с натуги.

ТЫ

Пришла —
деловито,
за рыком,
за ростом,
взглянув,
разглядела просто мальчика.

Взяла,
отобрала сердце
и просто
пошла играть —
как девочка мячиком.
И каждая —
чудо будто видится —
где дама вкопалась,
а где девица.
«Такого любить?
Да этакий ринется!
Должно, укротительница.
Должно, из зверинца!»
А я ликую.
Нет его —
ига!
От радости себя не помня,
скакал,
индейцем свадебным прыгал,
так было весело,
было легко мне.

НЕВОЗМОЖНО

Один не смогу —
не снесу рояля
(тем более —
несгораемый шкаф).
А если не шкаф,
не рояль,
то я ли
сердце снес бы, обратно взяв.
Банкиры знают:
«Богаты без края мы.
Карманов не хватит —
кладем в несгораемый».
Любовь
в тебя —
богатством в железо —
запрятал,
хожу
и радуюсь Крезом.
И разве,
если захочется очень,
улыбку возьму,

пол-улыбки
и мельче,
с другими кутя,
протрачу в полночи
рублей пятнадцать лирической мелочи.

ТАК И СО МНОЙ

Флоты — и то стекаются в гавани.
Поезд — и то к вокзалу гонит.
Ну, а меня к тебе и подавней
— я же люблю! —
тянет и клонит.
Скупой спускается пушкинский рыцарь
подвалом своим любоваться и рыться.
Так я
к тебе возвращаюсь, любимая.
Мое это сердце,
любуюсь моим я.
Домой возвращаетесь радостно.
Грязь вы
с себя соскребаете, бреясь и моясь.
Так я
к тебе возвращаюсь,—
разве,
к тебе идя,
не иду домой я?!
Земных принимает земное лоно.
К конечной мы возвращаемся цели.
Так я
к тебе
тянусь неуклонно,
еле расстались,
развиделись еле.

ВЫВОД

Не смоют любовь
ни ссоры,
ни вёрсты.
Продумана,
выверена,
проверена.
Подъемля торжественно стих
строкопёрстый,

клянусь —
люблю
неизменно и верно!

1922

ТАМАРА И ДЕМОН

От этого Терека
в поэтах
истерика.
Я Терек не видел.
Большая потерийка.
Из омнибуса
вразвалку
сошел,
поплевывал в Терек с берега,
совал ему
в пену
палку.
Чего же хорошего?
Полный развал!
Шумит,
как Есенин в участке.
Как будто бы
Терек
сорганизовал,
проездом в Боржом,
Луначарский.
Хочу отвернуть
заносчивый нос
и чувствую:
стыну на грани я,
овладевает мною
гипноз,
воды
и пены играние.
Вот башня,
револьвером
небу к виску,
разит
красотою нетроганой.
Поди,
подчини ее
преду искусств —

Петру Семенычу
Когану.
Стою,
и злоба взяла меня,
что эту
дикость и выступы
с такой бездарностью
я
променял
на славу,
рецензии,
диспуты.
Мне место
не в «Красных нивах»,
а здесь,
и не построчно,
а даром
реветь
стараться в голос во весь,
срывая
струны гитарам.
Я знаю мой голос:
паршивый тон,
но страшен
силою ярой.
Кто видывал,
не усомнится,
что
я
был бы услышан Тамарой.
Царица крепится,
взвинчена хоть,
величественно
делает пальчиком.
Но я ей
сразу:
— А мне начхать,
царица вы
или прачка!
Тем более
с песен —
какой гонорар?!
А стирка —
в семью копейка

А даром
немного дарит гора:
лишь воду —
поди,
попей-ка! —
Взъярилась царица,
к кинжалу рука.
Козой,
из берданки ударенной.
Но я ей
по-своему,
вы ж знаете как —
под ручку...
любезно...
— Сударыня!
Чего кипятитесь,
как паровоз?
Мы
общей лирики лента.
Я знаю давно вас,
мне много про вас
говаривал
некий Лермонтов.
Он клялся,
что страстью
и равных нет...
Таким мне
мерещился образ твой.
Любви я заждался,
мне 30 лет.
Полюбим друг друга.
Попросту.
Да так,
чтоб скала
распостелилась в пух.
От черта скраду
и от бога я!
Ну что тебе Демон?
Фантазия!
Дух!
К тому ж староват —
мифология.
Не кинь меня в пропасть,
будь добра.

От этой ли
струшу боли я?
Мне даже
пиджак не жаль ободрать,
а грудь и бока —
тем более.
Отсюда
дашь
хороший удар —
и в Терек
замертво треснется.
В Москве
больнее спускают...
— куда!
ступеньки считаешь —
лестница.
Я кончил
и дело мое сторона.
И пусть,
озверев от помарок,
про это
пишет себе Пастернак.
А мы...
соглашайся, Тамара!
История дальше
уже не для книг.
Я скромный,
и я
бастую.
Сам Демон слетел,
подслушал,
и сник,
и скрылся,
смердя
впустую.
К нам Лермонтов сходит,
презрев времена.
Сияет —
«Счастливая парочка!»
Люблю я гостей.
Бутылку вина!
Налей гусару, Тамарочка!
1924

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

Испанский камень
слепящ и бел,
а стены —
зубьями пил.
Пароход
до двенадцати
уголь ел
и пресную воду пил.
Повел
пароход
окованным носом
и в час,
сопя,
вобрал якоря
и понесся.
Европа
скрылась, мельчась.
Бегут
по бортам
водяные глыбы,
огромные,
как года.
Надо мною птицы,
подо мною рыбы,
а кругом —
вода.
Недели
грудью своей атлетической —
то работяга,
то в стельку пьян —
вздыхает
и гремит
Атлантический
океан.
«Мне бы, братцы,
К Сахаре подобраться...
Развернись и плюнь —
пароход внизу.
Хочу топлю,
хочу везу.
Выходи сухой —
сварю ухой.
Людей не надо нам —
малы к обеду.

Не трону...
ладно...
пускай едут...»
Волны
будоражить мастера́:
детство выплеснут;
другому —
голос милой.
Ну, а мне б
опять
знамена простирать!
Вон —
пошло́,
затарахте́ло,
загромило!
И снова
вода
присмирела сквозная,
и нет
никаких сомнений ни в ком.
И вдруг,
откуда-то —
черт его знает! —
встает
из глубин
водяничий Ревком.
И гвардия капель —
воды партизаны —
взбираются
ввысь
с океанского рва,
до неба метнутся
и падают заново,
порфиру пены в клочки изодрав.
И снова
спаялись во́ды в одно,
волне
повелев
разбурлиться вождем.
И прет волнища
с под тучи
на дно —
приказы
и лозунги
сыплет дождем.

И волны
клянутся
всеводному Цику
оружие бурь
до победы не класть.
И вот победили —
экватору в циркуль
Советов-капель бескрайняя власть.
Последних волн небольшие митинги
шумят
о чем-то
в возвышенном стиле.
И вот
океан
улыбнулся умытенький
и замер
на время
в покое и в штиле.
Смотрю за перила.
Старайтесь, приятели!
Под трапом,
нависшим
ажурным мостком,
при океанском предприятии
потеет
над чем-то
волновий местком.
И под водой
деловито и тихо
дворцом
растет
кораллов плетенка,
чтоб легше жилось
трудовой китихе
с рабочим китом
и дошкольным китенком.
Уже
и луну
положили дорожкой.
Хоть прямо
на пузе,
как пó суху, лазь.
Но враг не суется —
в небо
сторожко

глядит,
не сморгнув,
Атлантический глаз.
То стынешь
в блеске лунного лака,
то стонешь,
облитый пеною ран.
Смотрю,
смотрю —
и всегда одинаков,
любим,
близок мне океан.
Вовек
твой грохот
удержит ухо.
В глаза
тебя
опрокинуть рад.
По шири,
по делу,
по крови,
по духу —
моей революции
старший брат.
1925

ТОВАРИЩУ НЕТТЕ, ПАРОХОДУ И ЧЕЛОВЕКУ

Я недаром вздрогнул.
Не загробный вздор.
В порт,
горящий,
как расплавленное лето,
разворачивался
и входил
товарищ «Теодор
Нетте».
Это — он.
Я узнаю его.
В блюдечках-очках спасательных кругов.
— Здравствуй, Нетте!
Как я рад, что ты живой
дымной жизнью труб,
канатов
крюков.

Подойди сюда!
Тебе не мелко?
От Батума,
чай, котлами покипел...
Помнишь, Нетте,—
в бытность человеком
ты пивал чаи
со мною в дип-купе?
Медлил ты.
Захрапывали сони.
Глаз
кося
в печати сургуча,
напролет
болтал о Ромке Якобсоне
и смешно потел,
стихи уча.
Засыпал к утру.
Курок
аж палец свел...
Суньтеся —
кому охота!
Думал ли,
что через год всего
встречусь я
с тобою —
с пароходом.
За кормой лунища.
Ну и здóрово!
Залегла,
просторы нá-двое порвав.
Будто нáвек
за собой
из битвы коридоровой
тянешь след героя,
светел и кровав.
В коммунизм из книжки верят средне.
«Мало ли,
что можно
в книжке намолоть!»
А такое — оживит
внезапно «бредни»

и покажет
коммунизма
естество и плоть.
Мы живем,
зажатые
железной клятвой.
За нее —
на крест,
и пулею чешите:
это —
чтобы в мире
без Россий,
без Латвий,
жить единым
человечьим общежитьем.
В наших жилах —
кровь, а не водица.
Мы идем
сквозь револьверный лай,
чтобы,
умирая,
воплотиться
в пароходы,
в строчки
и в другие долгие дела.

Мне бы жить и жить,
сквозь годы мчась.
Но в конце хочу —
других желаний нету —
встретить я хочу
мой смертный час
так,
как встретил смерть
товарищ Нетте.

15 июля, Ялта
1926

СЕРГЕЮ ЕСЕНИНУ

Вы ушли,
как говорится,
в мир в иной.

Пустота...
Летите,
в звезды врезываясь.
Ни тебе аванса,
ни пивной.
Трезвость.
Нет, Есенин,
это
не насмешка.
В горле
горе комом —
не смешок.
Вижу —
взрезанной рукой помешкав,
собственных
костей
качаете мешок.
— Прекратите!
Бросьте!
Вы в своем уме ли?
Дать,
чтоб щеки
заливал
смертельный мел?!
Вы ж
такое
загибать умели,
что другой
на свете
не умел.
Почему?
Зачем?
Недоуменье смяло.
Критики бормочут:
— Этому вина
то...
да сё...
а главное,
что смычки мало,
в результате
много пива и вина.—
Дескать,
заменить бы вам
богему
классом,

класс влиял на вас,
и было б не до драк.
Ну, а класс-то
жажду
заливает квасом?
Класс — он тоже
выпить не дурак.
Дескать,
к вам приставить бы
кого из напостóв —
стали б
содержанием
премного одарённей.
Вы бы
в день
писали
строк по стó,
утомительно
и длинно,
как Доронин.
А по-моему,
осуществись
такая бредь,
на себя бы
раньше наложили руки.
Лучше уж
от водки умереть,
чем от скуки!
Не откроют
нам
причин потери
ни петля,
ни ножик перочинный.
Может,
окажись
чернила в «Англетере»,
вены
резать
не было б причины.
Подражатели обрадовались:
бис!
Над собою
чуть не взвод
расправу учинил.

Почему же
увеличивать
число самоубийств?
Лучше
увеличь
изготовление чернил!
Навсегда
теперь
язык
в зубах затворится.
Тяжело
и неуместно
разводить мистерии.
У народа,
у языкотворца,
умер
звонкий
забулдыга подмастерье.
И несут
стихов заупокойный лом,
с прошлых
с похорон
не переделавши почти
В холм
тупые рифмы
загонять колом —
разве так
поэта
надо бы почтить?
Вам
и памятник еще не слит,—
где он,
бронзы звон
или гранита грань? —
а к решеткам памяти
уже
понанесли
посвящений
и воспоминаний дрянь.
Ваше имя
в платочки рассоплено,
ваше слово
слюнявит Собинов
и выводит
под березкой дохлой —

«Ни слова,
о дру-уг мой,
ни вздо-о-о-о-ха».
Эх,
поговорить бы иначе
с этим самым
с Леонидом Лоэнгринычем!
Встать бы здесь
гремящим скандалистом:
— Не позволю
мямлить стих
и мять! —
Оглушить бы
их
трехпалым свистом
в бабушку
и в бога душу мать!
Чтобы разнеслась
бездарнейшая пóгань,
раздувая
темь
пиджачных парусов,
чтобы
врассыпную
разбежался Коган,
встреченных
увеча
пиками усов.
Дрянь
пока что
мало поредела.
Дела много —
только поспевать.
Надо
жизнь
сначала переделать,
переделав —
можно воспевать.
Это время —
трудновато для пера,
но скажите
вы,
калеки и калекши,
где,
когда,

какой великий выбирал
путь,
чтобы протоптанней
и легше?
Слово —
полководец человечьей силы.
Марш!
Чтоб время
сзади
ядрами рвалось.
К старым дням
чтоб ветром
относило
только
путаницу волос.
Для веселия
планета наша
мало оборудована.
Надо
вырвать
радость
у грядущих дней.
В этой жизни
помереть
не трудно.
Сделать жизнь
значительно трудней.

1926

ПОСЛАНИЕ ПРОЛЕТАРСКИМ ПОЭТАМ

Товарищи,
позвольте
без позы,
без маски —
как старший товарищ,
неглупый и чуткий,
поразговариваю с вами,
товарищ Безыменский,
товарищ Светлов,
товарищ Уткин.
Мы спорим,
аж глотки просят лужения,

мы
задыхаемся
от эстрадных побед,
а у меня к вам, товарищи,
деловое предложение:
давайте
устроим
веселый обед!
Расстелим внизу
комплименты ковровые,
если зуб на кого —
отпилим зуб;
розданные
Луначарским
венки лавровые —
сложим
в общий
товарищеский суп.
Решим,
что все
по-своему правы.
Каждый поет
по своему
голоску!
Разрежем
общую курицу славы
и каждому
выдадим
по равному куску.
Бросим друг другу
шпильки подсовывать,
разведем
изысканный
словесный ажур.
А когда мне
товарищи
предоставят слово —
я это слово возьму
и скажу:
— Я кажусь вам
академиком
с большим задом,
один, мол, я
жрец
поэзий непролазных.

А мне
в действительности
единственное надо —
чтоб больше поэтов
хороших
и разных.
Многие
пользуются
напостóвской тряскою,
с тем
чтоб себя
обозвать получше.
— Мы, мол, единственные,
мы пролетарские... —
А я, по-вашему, что —
валютчик?
Я
по существу
мастеровой, братцы,
не люблю я
этой
философии нýдовой.
Засучу рукавчики:
работать?
драться?
Сделайте одолжение,
а нý, давай!
Есть
перед нами огромная работа —
каждому человеку
нужное стихачество.
Давайте работать
до седьмого пота
над поднятием количества,
над улучшением качества.
Я меряю
по коммуне
стихов сорта,
в коммуну
душа
потому влюблена,
что коммуна,
по-моему,
огромная высота,

что коммуна,
по-моему,
глубочайшая глубина.
А в поэзии
нет
ни друзей,
ни родных,
по протекции
не свяжешь
рифм лычки́.
Оставим
распределение
орденов и наградных,
бросим, товарищи,
наклеивать ярлычки.
Не хочу
похвастать
мыслью новенькой,
но по-моему —
утверждаю без авторской спеси —
коммуна —
это место,
где исчезнут чиновники
и где будет
много
стихов и песен.
Стоит
изумиться
рифмочек парой нам —
мы
почитаем поэтика гением.
Одного
называют
красным Байроном,
другого —
самым красным Гейнем.
Одного боюсь —
за вас и сам, —
чтоб не обмелели
наши души,
чтоб мы
не возвели
в коммунистический сан
плоскость раешников
и ерунду частушек.

Мы духом одно,
понимаете сами:
по линии сердца
нет раздела.
Если
вы не за нас,
а мы
не с вами,
то черта ль
нам
остается делать?
А если я
вас
когда-нибудь крою
и на вас
замахивается
перо-рука,
то я, как говорится,
добыл это кровью,
я
больше вашего
рифмы строгал.
Товарищи,
бросим
замашки торгашьи
— моя, мол, поэзия —
мой лабаз! —
всё, что я сделал,
все это ваше —
рифмы,
темы,
дикция,
бас!
Что может быть
капризней славы
и пепельней?
В гроб, что ли,
брать,
когда умру?
Наплевать мне, товарищи,
в высшей степени
на деньги,
на славу
и на прочую муру!

Чем нам
делить
поэтическую власть,
сгрудим
нежность слов
и слова-бичи,
и давайте
без завистей
и без фамилий
класть
в коммунову стройку
слова-кирпичи.
Давайте,
товарищи,
шагать в ногу.
Нам не надо
брюзжащего
лысого парика!
А ругаться захочется —
врагов много
по другую сторону
красных баррикад.

1926

СЛУЖАКА

Появились
молодые
превоспитанные люди —
Мопров
знаки золотые
им
увенчивают груди.
Парт-комар
из МККа
не подточит
парню
носа:
к сроку
вписана
строка
проф-
и парт-
и прочих взносов.

Честен он,
как честен вол,
В место
в собственное
вросся
и не видит
ничего
дальше
собственного носа.
Коммунизм
по книге сдав,
перевызубривши «измы»,
он
покончил навсегда
с мыслями
о коммунизме.
Что заглядывать далече?!
Циркуляр
сиди
и жди.
— Нам, мол,
с вами
думать неча,
если
думают вожди.—
Мелких дельцов
пару шор
он
надел
на глаза оба,
чтоб служилось
хорошо
безмятежно,
узколобо.
День — этап
растрат и лести,
день,
когда
простор подлизам,—
это
для него
и есть
самый
рассоциализм.

До коммуны
перегон
не покрыть
на этой кляче,
как нарочно
создан
он
для чиновничьих делячеств.
Блещут
знаки золотые,
гордо
выпячены
груди,
ходят
тихо
молодые
приспособленные люди.
О коряги
якорятся
там,
где тихая вода...
А на стенке
декорацией
Карлы-марлы борода.
Мы томимся неизвестностью,
что нам делать
с ихней честностью?
Комсомолец,
живя
в твои лета,
октябрьским
озоном
дыша,
помни,
что каждый день —
этап,
к цели
намеченный
шаг.
Не наши —
которые
времени в зад
уперли
лбов
медь;

быть коммунистом —
значит дерзать,
думать,
хотеть,
сметь.
У нас
еще
не Эдем и рай,—
мещанская
тина с цвелью.
Работая,
мелочи соразмеряй
с огромной
поставленной целью.

1928

(НЕОКОНЧЕННОЕ)

(I)

Любит? не любит? Я руки ломаю
и пальцы
разбрасываю разломавши
так рвут загадав и пускают
по маю
венчики встречных ромашек
пускай седины обнаруживает стрижка и бритье
Пусть серебро годов вызванивает
уймою
надеюсь верую вовеки не придет
ко мне позорное благоразумие

(II)

Уже второй
должно быть ты легла
А может быть
и у тебя такое
Я не спешу
И молниями телеграмм
мне незачем
тебя
будить и беспокоить

(III)

море уходит вспять
море уходит спать
Как говорят инцидент исперчен
любовная лодка разбилась о быт
С тобой мы в расчете
И не к чему перечень
взаимных болей бед и обид

(IV)

Уже второй должно быть ты легла
В ночи Млечпуть серебряной Окою
Я не спешу и молниями телеграмм
Мне незачем тебя будить и беспокоить
как говорят инцидент исперчен
любовная лодка разбилась о быт
С тобой мы в расчете и не к чему перечень
взаимных болей бед и обид
Ты посмотри какая в мире тишь
Ночь обложила небо звездной данью
в такие вот часы встаешь и говоришь
векам истории и мирозданию

(V)

Я знаю силу слов я знаю слов набат
Они не те которым рукоплещут ложи
От слов таких срываются гроба
шагать четверкою своих дубовых ножек
Бывает выбросят не напечатав не издав
Но слово мчится подтянув подпруги
звенит века и подползают поезда
лизать поэзии мозолистые руки
Я знаю силу слов Глядится пустяком
Опавшим лепестком под каблуками танца
Но человек душой губами костяком

1928—1930



Николай Асеев

СТИХИ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ

1

Выстрелом дважды и трижды
воздух разорван на клочья...
Пули ответной не выждав,
скрылся стрелявший за ночью.

И, опираясь об угол,
раны темнея обновкой,
жалко смеясь от испуга,
падал убитый неловко.

Он опускался, опускался,
и небо хлынуло в зрачки.
Чего он, глупый, испугался?
Вон звезд веселые значки,

А вот земля совсем сырая...
Чуть-чуть покалывает бок.
Но землю с небом, умирая,
он все никак связать не мог!

2

Ах, еще, и еще, и еще нам
надо видеть, как камни красны,
чтобы взором, тоской не крещенным,
переснились бы страшные сны.

Чтобы губы, не знавшие крика,
превратились бы в гулкую медь,
чтоб от мала бы всем до велика
ни о чем не осталось жалеть.

Этот клич — не упрек, не обида!
Это — волк завывает во тьме,

под кошмою кошмара завидя
по снегам зашагавшую смерть.

Он, всю жизнь по безлюдью кочуя,
изучал издалека врагов
и опять из-под ветра почуял
приближенье беззвучных шагов.

Смерть несет через локоть двустволку,
немы сосны, и звезды молчат.
Как же мне, одинокому волку,
не окликнуть далеких волчат!

3

Тебя расстреляли — меня расстреляли,
и выстрелов трели ударились в дали,
даль растерялась — расстрелилась даль,
но даже и дали живому не жаль.

Тебя расстреляли — меня расстреляли,
мы вместе любили, мы вместе дышали,
в одном наши щеки горели бреду.
Уходишь? И я за тобою иду!

На пасмурном небе затихнувший вечер,
как мертвое тело, висит, изувечен,
и голубь, летящий изломом, как кречет,
и зверь, изрыгающий скверные речи.

Тебя расстреляли — меня расстреляли,
мы сердце о сердце, как время, сверяли,
и как же я встану с тобою, расстрелян,
пред будущим звонким и свежим апрелем?!

4

Если мир еще нами не занят
(нас судьба не случайно свела) —
ведь у самых сердец партизанят
наши песни и наши дела!

Если кровь напоенной рубахи
заскорузла в заржавленный лед —
верь, восставший! Размерены взмахи,
продолжается ярый полет!

Пусть таежные тропы кривые
накаляются нашим огнем...
Верь! Бычачью вселенскую выю
на колене своем перегнем!

Верь! Поэтово слово не сгинет.
Он с тобой — тот же загнанный зверь.
Той же служит единой богине
бесконечных побед и потерь!

1921

ЖАР-ПТИЦА В ГОРОДЕ

Ветка в стакане горячим следом
прямо из комнат в поля вела
с громом и с градом, с пролитым летом,
с песней ночною вокруг села.

Запах заспорил с книгой и с другом,
свежесть изрезала разум и дом;
тщетно гремела улицы ругань —
вечер был связан и в чащу ведом.

Молния молча, в тучах мелькая,
к окнам манила, к себе звала:
«Миленький, выйди! Не высока я.
Хочешь, ударюсь о край стола?!

Миленький, вырвись из-под подушек,
комнат и споров, строчек и ран,
иначе — ветром будет задушен
город за пойманный мой майоран!

Иначе — трубам в небе коптиться,
яблокам блекнуть в твоем саду.
Разве не чуешь? Я же — Жар-птица —
в клетку стальную не попаду!

Город закурен, грязен и горек,
шелест безлиствен в лавках менял.
Миленький, выбеги на пригорок,
лестниц не круче! Лови меня!»

Блеском стрельнула белее мела
белого моря в небе волна!..
Город и говор — все онемело,
все обольнула пламенней льна.

Я изловчился: ремень на привод,
пар из сирены... Сказка проста:
в громе и в граде прянула криво,
в пальцах шипит — перо от хвоста!

1922

В ТЕ ДНИ, КАК БЫЛИ МЫ МОЛОДЫ...

На жизнь болоночью
плюнувши,
завернутую в кружева,
еще
Маяковский
юношей
шумел,
басил,
бушевал.
Еще не умерший
Хлебников,
как тополи,
лепетал;
теперь
над глиняным склепом его
лишь ветер
да лебеда.
В те дни
мы все были молоды...
Шагая, швырялись дверьми.
И шли поезда
из Вологды,
и мглились штыки
в Перми.
Мы знали —
будет по-нашему:
взорвет тоской
эшелон!..
Не только в песне
вынашивать,

что в каждом сердце
жило.
И так и сбылось
и сдюжилось,
что пелось
сердцу в ночах:
подернуло
сизой стужею
семейств бурдючных очаг.
Мы пели:
вот отольются им
тугие слезы
веков.
Да здравствует Революция,
сломившая
власть стариков!
Но время,
незнамо,
неведомо,
подкралось
и к нашим дням.
И стала ходить
с подседами
вокруг
и моя родня.
И стала
морщеной кожею
желтеть
на ветках недель.
И стало
очень похоже
на прежнюю
канитель.
Пускай голова
не кружится,
я крикну сам
про нее:
сюда,
молодое мужество,
шугай
с пути воронье!
Скребись
по строчкам линованным,
рассветом озарено,

чтоб стало опять
все ново нам,
тряхни еще стариной!
Пусть вновь
и вновь отольются ей
седые слезы
веков.
Да здравствует Революция,
сломившая
власть стариков!

1925

ДОМ

Дом стоит у города на въезде,
окнами в метелицу и тьму;
близостью созвездий
думалось и бредилось ему.
Било в стекла заревое пламя,
плыл рекой туман;
дом дышал густыми коноплями,
свежестью, сводящею с ума.
Он хотел крыльцом скрипучим дергать,
хлопать ставней, крышей грохотать;
дом хотел шататься от восторга,
что вокруг такая благодать;
что его, до стрех обстав, подсолнух
рыжей рожей застил от других,
точно плыл он на прохладных волнах
калачей и лопухов тугих.
Что с того, что был он деревянным,
что пришторан к камню, в землю врос,—
от него тянулись караваны
свежих рощ и вороненых гроз.
Он кружился с ним, плыл и таял
и живущим помыслы кружил;
до него от самого Китая
долетали синие стрижи.
Он кружился и гримасы корчил,
млел огнями, тьмою лиловел,
и его ветров весенних кормчий
вел других ковчегов в голове.
А когда рябила осень лужи
и брало метелицей кусты,

дому становилось хуже:
он стоял примолкшим и пустым.
Только это — с улицы казалось,
а внутри он полон был и жив;
даже если вызывал он жалость,
сам себя, смеясь, ловил на лжи,
так как — зорь зарозовевший иней,
стекол заалмаженный узор
вспыхивал и цвел, как хвост павлиний,
синей и зеленой бирюзой.
И, дымясь под первою порошей,
коренастый, тихий, небольшой,
он вставал опять такой хороший,
со своею дымчатой душой.
И, тепло запечное не тратя
и забив оконные пазы,
по косым линованным тетрадям
он твердил столетние азы.
И, такой же тишью невредимы,
заморозком взятые в тиски,
по соседству подымались дымы —
буден безголосые свистки.
В доме — плыли тени
кошки, кружки, фикуса, луны,
детских откровений и смятений,
тишины и старины.
Сквозь пазы растрескавшихся кафель
плыл жарок и затоплял края,
где басовый стариковский кашель
гул вливал в рассохшийся рояль.
В доме пели птицы —
сойки, коноплянки и клесты.
И теперь еще мне щебет снится,
зори, росы, травы и кусты.
И теперь... Глаза бы не глядели,
уши бы не слушали иной,
кроме той предрассветной трели,
что будила детство за стеной.
И когда, тавровое мещанство,
я теперь смотрю тебе в глаза,
я не знаю, где я умещался,
кто мне это в уши насказал.
Может, в клетке, может, из-за прутьев,
горькой болью полный позарез,

в сны мои протискивался грудью
свежезаневоленный скворец?!
Потому не дни, не имена я,—
темный страх в подзорье затая,
лишь тебя по бревнам вспоминаю,
дом мой, сон мой, ненависть моя!

1926—1927

РУССКАЯ СКАЗКА

1

Говорила моя забава,
моя лада, любовь и слава:
«Вся-то жизнь твоя — небылица,
вечно с былью людской ты в ссоре,
ходишь — ищешь иные лица,
ожидаешь другие зори.

2

Люди чинно живут на свете,
расселясь на века, на версты,
только ты, схватившись за ветер,
головою в бурю уперся,
только ты, ни на что не схоже,
называешь сукно — рогожей».

3

Отвечал я моей забаве,
моей ладе, любви и славе:
«Мне слова твои не по мерке,
и не впору упрек твой льстивый,
еще зори мои не смеркли,
еще ими я жив, счастливый.

4

Мне ль повадку не знать людскую,
обведешь меня словом ты ли?..
Люди больше меня тоскуют:
видишь — ветер винтом схватили,
видишь — в воздух уперлись пяткой,
на машине качаясь шаткой.

5

Только тем и живут и дышат —
довести до конца уменье:
как такие вздумать снаряды,
чтоб не падать вниз на каменья,
чтобы каждый — вольный и дошлый —
наступал на облак подошвой.

6

И я знаю такую сказку,
что начать, так дух захолонет!
Мне ее под вагона тряску
рассказали в том эшелоне,
что, как пойманный в клетку, рыскал
по отрезанной Уссурийской.

7

Есть у многих рваные раны.
да своя болит на погоду;
есть на свете разные страны,
да от той, что узнал,— нет ходу.
Если все их смешаю в кучу,
то и то тебе не наскучу.

8

Оглянись на страну большую
полоснет пестротой по глазу.
Люди в ней не живут — бушуют,
только шума не слышно сразу,—
от ее голубого вала
и меня кипеть подмывало.

9

Вот расплакалась мать над сыном
в том краю, что со мною рядом;
в этом — пахнет пот керосином,
рыбий жир в другом — виноградом:
и сбежались к уральской круче
горностаевым мехом тучи.

10

Вот идет верблюд, колыхаем
барханами песен плачевных,
и на нем, клоиясь малахаем,
выплывает дикий кочевник;
среди зарев степных и марев
он улиткою льнет к Самаре.

11

А из вятских лесов дремучих,
из болот и ключей гремучих,
из глухих углов Кереметн,
по деревьям путь переметив,
верст за сотню, а то сот за пять —
пробирается легкий лапоть.

12

Вот из дымного Дагестаиа,
избочась иа коне потливом,
вьется всадник осиным станом,
сииеватым щеки отливом.
А другой, разомчась из Чечни,
ликом врезался в ветер встречный.

13

А еще в глухом отдаленье,
где морская глыбь посинела,
тупотят копыта олеиьи
под луною окоченелой:
Медный остров, выселок хмурый,
шлет покрытых звериной шкурой.

14

Отовсюду летят и мчатся,
звонит повод, скрипит подпруга,—
это стягиваются домочадцы,
что не знали в лицо друг друга.
Из становий и из урочищ
собирает их старший родич.

15

Он лежит под стеною кремлевской,
невелик и негрозен с виду,
но к нему — всех слез переплески,
всех окраин людских обиды,
не заботясь временн тратой,
поспешают вдогон за правдой.

16

Он своею силой не хвастал,
не носил одежды парчовой,
но до льдов, до снежного наста,
им вконец весь край раскорчеван.
В Бухаре и в Нижнем Тагиле
говорят о его могиле.

17

Что же ты грустишь, моя лада,
о моей непонятной песне?
Радо сердце или не радо
жить с такою судьбою вместе?!
Если рада слушать такое —
не проси от меня покоя.

18

Знать, недаром на свете живу я,
если слезы умею плавить,
если песню сторожевую
я умею вехой поставить.
Пусть других она будет глуше,—
ты ее, пригорюнясь, слушай!»

1927

* * *

Летят недели кувырком
и дни порожняком.
Встречаемся по сумеркам
украдкой да тайком.
Встречаемся — не ссоримся,
расстаемся — не ждем
по дальним нашим горницам,
под сереньким дождем.

Не видимся по месяцам:
ни дружбы, ни родни.
Столетия поместятся
в пустые эти дни.
А встретимся — все сызнова:
с чего опять начать?
Скорее, дождик, сбрызгивай
пустых ночей печаль.
Все тихонько да простенько:
влеченье двух полов
да разговоры родственников,
высмеивающих зло.
Как звери когти стачивают
о сучьев пустяки,—
последних сил остачею
скребу тебе стихи.
В пустой денек холодненький,
заежившись свежо,
ты, может, скажешь: «Родненький»,—
оставшись мне чужой.
И это странно весело
и страшно хорошо —
касаться только песнею
твоих плечей и щек.
И ты мне сердце выстели
одним словцом простым,
чтоб билось только издали
на складках злых простынь;
чтоб день, как в винограднике,
был полон и тяжел;
чтоб ты была мне навеки
далекой и чужой.

1928

ПЕРЕБОР РИФМ

Не гордись,
что, все ломая,
мнет рука твоя,
жизнь
под рокоты трамвая
перекатывая.
И не очень-то
надейся,
рифм нескромница,

что такие
лет по десять
после помнятся.
Десять лет — большие сроки:
в зимнем высвисте
могут даже
эти строки
сплыть и выцвести.
Ты сама
всегда смеялась
над романтикой...
Смелость —
в ярость,
зрелость —
в вялость,
стих — в грамматику.
Так и все
войдет в порядок,
все прикончится,
от весенних
лихорадок
спать захочется.
Жизнь без грома
и без шума
иа мечты
променяв,
хочешь,
буду так же думать,
как и ты
про меня?
Хочешь,
буду в ту же мерку
лучше
лучшего
под цыганскую
венгерку
жизнь
зашучивать?
Видишь, вот он,
сизый вечер,
съест тирады все...
К теплой
силе человечьей
жмись
да радуйся!

К теплой силе,
к свежей коже,
к синим
высверкам,
к городским
да непрохожим
дальним выселкам.
1929

ИСКУССТВО

Осенними астрами
день дышал,—
отчаяние
и жалость! —
как будто бы
старого мира душа
в последние сны
снаряжалась;
как будто бы
ветер коснулся струны
и пел
тонкоствольный ящик
о днях
позолоченной старины,
оконченных
и уходящих.
И город —
гудел ему в унисон,
бледнея
и лиловея,
в мечтаний тонкий дым
занесен,
цветочной пылью
овеян.
Осенними астрами
день шелестел
и листьями
увядающими,
и горечь горела
на каждом листе,
но это бы
не беда еще!
Когда же небес
зеленый клинок

дохиул
студеиой прохладою,—
у дия ие стало заботы иной,
как —
к горлу его прикладывать.
И сколько бы люди
забот и дум
о судьбах его
ни тратили,—
ои шел — бессвязиый,
в жару и бреду,
бродягой
и шпагоглотателем.
Ои шел и пел,
облака расчесав,
про говор
волны дуиайской;
ои шел и пел
о летящих часах,
о листьях, летящих иаискось.
Ои песней
мир отдавал на слом,
и ие было горше
уст вам,
чем те,
что песией до иас доиесло,
что имя его —
искусство.
1930

ШТОРМОВАЯ

Непогода моя жестокая,
не прекращайся, шуми,
хлопай тентами и окиами,
парусами, дверьми.

Непогода моя осеииая,
иалетай, беспорядок чинн,—
в этом шуме и есть спасение
от осенней густой тишииы.

Непогода моя душевиая —
от волны иа волиу прыжок,—
пусть грозит кораблю крушение,
хорошо ему и свежо.

Пусть летит он, врывая бока свои
в ледяную тугую пыль,
пусть повертывается, показывая
то корму, то бушприт, то кнль.

Если гибнуть — то всеми мачтами,
всем, что песня в пути дала,
разметав, как снасти, все начатые
и неоконченные дела.

Чтоб наморщилась гладь рябинами,
чтобы путь кипел добела,
непогода моя любимая,
чтоб трепало вкось вымпела.

Пусть грозит кораблю крушение,
он осилил крутой прыжок,—
непогода моя душевная,
хорошо ему и свежо!
1932

О СМЕРТИ

Меня застрелит белый офицер
не так — так этак.
Он, целясь,— не изменится в лице
он очень меток.

И на суде произнесет он речь,
предельно краток,
что больше нечего ему беречь,
что нет здесь пряток.

Что женщину я у него отбил,
что самой лучшей...
Что сбились здесь в обнимку три судьбы,
обычный случай.

Но он не скажет, заслонив глаза,
что — всех красивей —
она звалась пятнадцать лет назад
его Россией!..
1932



Сергей Бобров

* * *

Ударится в колокол птица
И мертвая упадет,
И ей отвечает важный,
Отдаленный глубокий звук.

Не так ли в это сердце,
Вспыхивающий при огне
Далеких пожаров и криков
И выстрелов ночных,

Теплый в воздухе со свистом
Стрижом играющий, взгляд
Ударяет — неистовой
Ласке таинственно рад,—

И вот он лежит, как птичка,
В моих жадных руках,
Как месяц, обходит кругом —
И тонет в моих глазах.

Над ним загорается важная
И темная мысль моя —
Ему отвечает нежная,
Жалобная свирель стиха.

4 марта 1920

* * *

Когда детонирующий город
Рассыпается на куски
И секундомером сердце
Карабкается в виски,

Покрывая жемчужным потом
Линии зевающей редко руки,
Мелкие россыпи изумрудов
Стекла блеснут,
Выдавленного в кристаллические груды
Вихря движением круглых свирепых рук;
И знакомые крики
Пятого этажа: «Дым! Ты не боишься? — я
боюсь!..»
И медленно расстающиеся с небом
Клоки и короны дымных медуз,
И их адская важность
Раздувающих ноздри убийц,
Торжествующие раздавливающие звуки,
В панической щедрости падающие вниз,—
Мешок взбаламученных сердец и тут же
Перековерканные страхом мечты:
Бедное зеркало цветущей весны, ты ли
Подергиваешься смертной тошнотой.
И все же: крики сломя — голову автобусов,
Шариком — кузнечики мотоциклов; вниз.—
Солнце сквозь жирный дым — и
Угрюмо напяленные маски лиц,—
И все же: эти головни — последний
Выжимок сорвавшегося огня,
Его окровавленные бредни —
Лишь сгорающая с треском суета.

10 мая 1920

* * *

От воздушного залива.
«Лира Лир»

Ты раздвигаешь золото злоэ,
Ты горишь улыбкой, ты —
В пляс цветающих плечей.
Ты бежишь в очи ключом студеным,
Замолкая тусклым блеском обломок речей.
Я — только дрозд журчливых слов потока,
Надо мной — безмолвится
В солнце горящий лист,
Я гляжу на праздник просторов Ориноко,
Где режет чистоту ласточки клич.

О, прозрачных столбов воздушных
Целящая пустыня,
Блаженных и одиноких слов про тебя
Милый танец солнца резвой пыли,
Сладкий, глубокий — как уста.
Нет! повторить ли очарованье,
Эти заливающие синью глаза,
И это море мира — мир и воля,
Хрустальный берег радужного холма.

Июль 1922



Борис Пастернак

Я ИХ МОГ ПОЗАБЫТЬ

1

КЛЕВЕТНИКАМ

О, детство! Ковш душевной глуби!
О, всех лесов абориген,
Корнями вросший в самолюбье,
Мой вдохновитель, мой регент!

Что слез по стеклам усыхало!
Что сохло ос и чайных роз!
Как часто угасавший хаос
Багровым папоротником рос!

Что вдавленных сухих костяшек,
Помешанных клавиатур,
Бродячих, черных и грустящих,
Готовят месть за клевету!

Правдоподобье бед клевещет,
Соседство богачей.
Хозяйство за дверьми клевещет,
Веселый звон ключей.

Рукопожатье лжи клевещет,
Манишек аромат,
Изящество дареной вещи,
Клевещет хиромант.

Ничтожность возрастов клевещет.
О юные,— а нас?
О левые,— а нас, левейших,—
Румянясь и юнясь?

О солнце, слышишь? «Выручь денег».
Сосна, нам снится? «Напрягись».
О жизнь, нам имя вырожденье,
Тебе и смыслу вопреки.

Дункан седых догадок — помощь!
О смута сонмищ в отпусках,
О боже, боже, может, вспомнишь,
Почем нас людям отпускал?
1917

2

Я их мог позабыть? Про родню,
Про моря? Приласкаться к плацкарте?
И за оргию чувств — в западню?
С ураганом — к ордалиям партий?

За окошко, в купе, к погребцу?
Где-то слезть? Что-то снять? Поселиться?
Я горжусь этой мукой. Рубцуй!
По когтям узнаю тебя, львица.

Про родню, про моря. Про абсурд
Прозябанья, подобного каре.
Так не мстят каторжанам. Рубцуй!
О, не вы, это я — пролетарий!

Это правда. Я пал. О, секи!
Я упал в самомнении зверя.
Я унизил себя до неверья.
Я унизил тебя до тоски.
1921

3

Так начинают. Года в два
От мамки рвутся в тьму мелодий,
Щебечут, свищут — а слова
Являются о третьем годе.

Так начинают понимать.
И в шуме пущенной турбины
Мерещится, что мать — не мать,
Что ты — не ты, что дом — чужбина.

Что делать страшной красоте
Присевшей на скамью сирени,

Когда и впрямь не красть детей?
Так возникают подозренья.

Так зреют страхи. Как он даст
Звезде превысить досяганье,
Когда он — Фауст, когда — фантаст?
Так начинаются цыгане.

Так открываются, паря
Поверх плетней, где быть домам бы,
Внезапные, как вздох, моря.
Так будут начинаться ямбы.

Так ночи летние, ничком
Упав в овсы с мольбой: исполнься,
Грозят заре твоим зрачком.
Так затевают ссоры с солнцем.

Так начинают жить стихом.
1921

4

Нас мало. Нас, может быть, трое
Донецких, горючих и адских
Под серой бегущей корою
Дождей, облаков и солдатских
Советов, стихов и дискуссий
О транспорте и об искусстве.

Мы были людьми. Мы эпохи.
Нас сбило и мчит в караване,
Как тундру под тендера вздохи
И поршней и шпал порыванье.
Слетимся, ворвемся и тронем,
Закружимся вихрем вороньим.

И — мимо! Вы поздно поймете.
Так, утром ударивши в ворох
Соломы,— с момент на намете —
След ветра живет в разговорах
Идущего бурно собранья
Деревьев над кровельной дранью.
1921

5

Косых картин, летящих ливмя
С шоссе, задувшего свечу,
С крюков и стен срываться к рифме
И падать в такт не отучу.

Что в том, что на вселенной — маска?
Что в том, что нет таких широт,
Которым на зиму замазкой
Зажать не вызвались бы рот?

Но вещи рвут с себя личину,
Теряют власть, роняют честь,
Когда у них есть петь причина,
Когда для ливня повод есть.

1922

* * *

Как бронзовой золой жаровень,
Жуками сыплет сонный сад.
Со мной, с моею свечою вровень
Миры расцветшие висят.

И, как в неслыханную веру,
Я в эту ночь перехожу,
Где тополь обветшало-серый
Завесил лунную межу,

Где пруд — как явленная тайна,
Где шепчет яблони прибой,
Где сад висит постройкой свайной
И держит небо пред собой.

1912, 1928

СОН

Мне снилась осень в полусвете стекол,
Друзья и ты в их шутовской гурьбе,
И, как с небес добывший крови сокол,
Спускалось сердце на руку к тебе.

Но время шло и старилось, и глохло,
И, па́волокой рамы серебря,
Заря из сада обдавала стекла
Кровавыми слезами сентября.

Но время шло и старилось. И рыхлый,
Как лед, трещал и таял кресел шелк.
Вдруг, громкая, запнулась ты и стихла,
И сон, как отзвук колокола, смолк.

Я пробудился. Был, как осень, темен
Рассвет, и ветер, удаляясь, нес,
Как за́ возом бегущий дождь соломин,
Гряду бегущих по́ небу берез.

1913, 1928

ЗИМНЯЯ НОЧЬ

Не поправить дня усильями светилен,
Не поднять теням крещенских покрывал.
На земле зима, и дым огней бессилен
Распрямить дома, полегшие вповал.

Булки фонарей и пышки крыш, и черным
По белу в снегу — косяк особняка:
Это — барский дом, и я в нем гувернером.
Я один — я спать услал ученика.

Никого не ждут. Но — наглухо портьеру.
Тротуар в буграх, крыльцо заметено.
Память, не ершись! Срастись со мной! Уверуй
И уверь меня, что я с тобой — одно.

Снова ты о ней? Но я не тем взволнован.
Кто открыл ей сроки, кто навел на след?
Тот удар — исток всего. До остального,
Милостью ее, теперь мне дела нет.

Тротуар в буграх. Меж снеговых развилин
Вмерзшие бутылки голых черных льдин.
Булки фонарей, и на трубе, как филин,
Потонувший в перьях, нелюдимый дым.

1913, 1928

* * *

Когда за лиры лабиринт
Поэты взор вперят,
Налево развернется Инд,
Правей пойдет Евфрат.

А посреди меж сим и тем
Со страшной простотой
Легенде ведомый Эдем
Взовьет свой ствольный строй.

Он вырастет над пришлецом
И прошумит: мой сын!
Я историческим лицом
Вошел в семью лесин.

Я — свет. Я тем и знаменит,
Что сам бросаю тень.
Я — жизнь земли, ее зенит,
Ее начальный день.

<1913, 1928>

ВОКЗАЛ

Вокзал, несгораемый ящик
Разлук моих, встреч и разлук,
Испытанный друг и указчик,
Начать — не исчислить заслуг.

Бывало, вся жизнь моя — в шарфе,
Лишь подан к посадке состав,
И пышут намордники гарпий,
Парами глаза нам застлав.

Бывало, лишь рядом усядусь —
И крышка. Приник и отник.
Прощай же, пора, моя радость!
Я спрыгну сейчас, проводник.

Бывало, раздвинется запад
В маневрах ненастий и шпал
И примется хлопьями цапать,
Чтоб под буфера не попал.

И глохиет свисток повторенный,
А издали вторит другой,
И поезд метет по перронам
Глухой многогорбой пургой.

И вот уже сумеркам невтерпь,
И вот уж, за дымом вослед,
Срываются поле и ветер,—
О, быть бы и мне в их числе!

1913, 1928

ВТОРАЯ БАЛЛАДА[1]

На даче спят. В саду, до пят
Подветренном, кипят лохмотья.
Как флот в трехъярусном полете,
Деревьев паруса кипят.
Лопатами, как в листопад,
Гребут березы и осины.
На даче спят, укрывши спину,
Как только в раннем детстве спят.

Ревет фагот, гудит набат.
На даче спят под шум без плоти,
Под ровный шум на ровной ноте,
Под ветра яростный надсад.
Льет дождь, он хлынул с час назад.
Кипит деревьев парусина.
Льет дождь. На даче спят два сына,
Как только в раннем детстве спят.

Я просыпаюсь. Я объят
Открывшимся. Я на учете.
Я на земле, где вы живете
И ваши тополи кипят.
Льет дождь. Да будет так же свят,
Как их невинная лавина...
Но я уж сплю наполовину,
Как только в раннем детстве спят.

Льет дождь. Я вижу сон: я взят
Обратно в ад, где все в комплоте,
И женщин в детстве мучат тети,
А в браке дети теребят.

Льет дождь. Мне снится: из ребят
Я взят в науку к исполину
И сплю под шум, месящий глину,
Как только в раннем детстве спят.

Светает. Мглистый банный чад.
Балкон плывет, как на плашкоте,
Как на плотах,— кустов щепоти,
И в каплях потный тес оград.
(Я видел вас пять раз подряд.)

Спи, быль. Спи жизни ночью длинной.
Усни, баллада, спи, былина,
Как только в раннем детстве спят.
1930

ВОЛНЫ

Здесь будет все: пережитóе
И то, чем я еще живу,
Мои стремленья и устои,
И виденное наяву.

Передо мною волны моря.
Их много. Им немыслим счет,
Их тьма. Они шумят в миноре.
Прибой, как вафли, их печет.

Весь берег, как скотом, исшмыган.
Их тьма, их выгнал небосвод.
Он их гуртом пустил на выгон
И лег за горкой на живот.

Гуртом, сворачиваясь в трубки,
Во весь разгон моей тоски
Ко мне бегут мои поступки,
Испытанного гребешки.

Их тьма, им нет числа и сметы,
Их смысл доселе еще не полн,
Но всё их сменою одето,
Как пенье моря пеной волн.

Здесь будет спор живых достоинств,
И их борьба, и их закат,
И то, чем дарит жаркий пояс,
И чем умеренный богат.

И в тяжбе борющихся качеств
Займет по первенству куплет
За сверхъестественную зрячесть
Огромный берег Кобулет.

Обнявший, как поэт в работе,
Что в жизни порознь видно двум,
Одним концом — ночное Поти,
Другим — светающий Батум.

Умеющий,— так он всевидящ,—
Унять, как временную блажь,
Любое, с чем к нему ни выйдешь:
Огромный восьмиверстный пляж.

Огромный пляж из голых галек —
На всё глядящий без пелен —
И зоркий, как глазной хрусталик,
Незастекленный небосклон.

———

Мне хочется домой, в огромность
Квартиры, наводящей грусть.
Войду, сниму пальто, опомнюсь,
Огнями улиц озарюсь.

Перегородок тонкоребрость
Пройду насквозь, пройду, как свет.
Пройду, как образ входит в образ
И как предмет сечет предмет.

Пускай пожизненность задачи,
Врастающей в заветы дней,
Зовется жизнию сидячей,—
И по такой, грущу по ней.

Опять знакомостью напева
Пахнут деревья и дома.
Опять направо и налево
Пойдет хозяйничать зима.

Опять к обеду на прогулке
Наступит темень, просто страсть.
Опять научит переулки
Охулки на руки не класть.

Опять повалят с неба взятки,
Опять укроет к утру вихрь
Осин подследственных десятки
Сукном сугробов снеговых.

Опять опавшей сердца мышцей
Услышу и вложу в слова,
Как ты ползешь и как дымишься,
Встаешь и тронешься, Москва.

И я приму тебя, как упряжь,
Тех ради будущих безумств,
Что ты, как стих, меня зазубришь,
Как быль, запомнишь наизусть.

———

Здесь будет облик гор в покое.
Обман безмолвья, гул во рву;
Их тишь; стесненное, крутое
Волненье первых рандеву.

Светало. За Владикавказом
Чернело что-то. Тяжело
Шли тучи. Рассвело не разом.
Светало, но не рассвело.

Верст зá шесть чувствовалась тяжесть
Обвившей выси темноты,
Хоть некоторые, куражась,
Старались скинуть хомуты.

Каким-то сном несло оттуда.
Как в печку вмазанный казан,
Горшком отравленного блюда
Внутри дымился Дагестан.

Он к нам катил свои вершины
И, черный с верху до подошв,
Так и рвался принять машину
Не в лязг кинжалов, так под дождь.

В горах заваривалась каша.
За исполином исполин,
Один другого злей и краше,
Спирали выход из долин.

———

Зовите это как хотите,
Но всё кругом одевший лес
Бежал, как повести развитье,
И сознавал свой интерес.

Он брал не фауной фазаньей,
Не сказочной осанкой скал,—
Он сам пленял, как описанье,
Он что-то знал и сообщал.

Он сам повествовал о плене
Вещей, вводимых не на час,
Он плыл отчетом поколений,
Служивших за сто лет до нас.

———

Шли дни, шли тучи, били зорю.
Седлали, повскакавши с тахт,
И — в горы рощами предгорья,
И вон из рощ, как этот тракт.

И сотни новых вслед за теми,
Тьмы крепостных и тьмы служак,
Тьмы ссыльных,— имена и семьи,
За родом род, за шагом шаг.

За годом год, за родом племя,
К горам во мгле, к горам под стать
Горянкам за чадрой в гареме,
За родом род, за пядью пядь.

И в неизбывное насилье
Колонны, шедшие извне,
На той войне черту вносили,
Не виданную на войне.

Чем движим был поток их? Тем ли,
Что кто-то посылал их в бой?

Или, влюбляясь в эту землю,
Он дальше влекся сам собой?

Страны не знали в Петербурге
И, злясь, как на сноху свекровь,
Жалели сына в глупой бурке
За чертову его любовь.

Она вселяла гнев в отчизне,
Как ревность в матери,— но тут
Овладевали ей, как жизнью,
Или как женщину берут.

Вот чем лесные дебри брали,
Когда на рубеже их царств
Предупрежденьем о Дарьяле
Со дна оврага вырос Ларс.

Всё смолкло, сразу впав в немилость,
Всё стало гулом: сосны, мгла...
Всё громкой тишиной дымилось,
Как звон во все колокола.

Кругом толпились гор отроги,
И новые отроги гор
Входили молча по дороге
И уходили в коридор.

А в их толпе у парапета
Из-за угла, как пешеход,
Прошедший на рассвете Млеты,
Показывался небосвод.

Он дальше шел. Он шел отселе,
Как всякий шел. Он шел из мглы
Удушливых ушей ущелья —
Верблюдом сквозь ушко иглы.

Он шел с котомкой по́ дну балки,
Где кости круч и облака
Торчат, как палки катафалка,
И смотрят в клетку рудника.

На дне той клетки едким натром
Травится Терек, и руда
Орет пред всем амфитеатром
От боли, страха и стыда.

Он шел породой, бьющей настежь
Из преисподней на простор,
А эхо, как шоссейный мастер,
Сгребало в пропасть этот сор.

Уж замка тень росла из крика
Обретших слово, а в горах,
Как мамкой пуганый заика,
Мычал и таял Девдорах.

Мы были в Грузии. Помножим
Нужду на нежность, ад на рай,
Теплицу льдам возьмем подножьем,
И мы получим этот край.

И мы поймем, в сколь тонких дозах
С землей и небом входят в смесь
Успех и труд, и долг, и воздух,
Чтоб вышел человек, как здесь,

Чтобы, сложившись средь бескормиц,
И поражений, и неволь,
Он стал образчиком, оформясь
Во что-то прочное, как соль.

Кавказ был весь как на ладони
И весь как смятая постель,
И лед голов синел бездонней
Тепла нагретых пропастей.

Туманный, не в своей тарелке,
Он правильно, как автомат,
Вздымал, как залпы перестрелки,
Злорадство ледяных громад.

И, в эту красоту уставясь
Глазами бравших край бригад,
Какую ощутил я зависть
К наглядности таких преград!

О, если б нам подобный случай,
И из времен, как сквозь туман,
На нас смотрел такой же кручей
Наш день, наш генеральный план!

Передо мною днем и ночью
Шагала бы его пята,
Он мял бы дождь моих пророчеств
Подошвой своего хребта.

Ни с кем не надо было б грызться.
Не заподозренный никем,
Я вместо жизни виршеписца
Повел бы жизнь самих поэм.

Ты рядом, даль социализма.
Ты скажешь — близь? — Средь тесноты,
Во имя жизни, где сошлись мы,—
Переправляй, но только ты.

Ты куришься сквозь дым теорий,
Страна вне сплетен и клевет,
Как выход в свет и выход к морю,
И выход в Грузию из Млет.

Ты — край, где женщины в Путивле
Зегзицами не плачут впредь,
И я всей правдой их счастливлю,
И ей не надо прочь смотреть.

Где дышат рядом эти обе,
А крючья страсти не скрипят
И не дают в остатке дроби,
К беде родившихся ребят.

Где я не получаю сдачи
Разменным бытом с бытия,
Но значу только то, что трачу,
А трачу всё, что знаю *я*.

Где голос, посланный вдогонку
Необоримой новизне,
Весельем моего ребенка
Из будущего вторит мне.

Здесь будет всё: пережитое
В предвиденьи и наяву.
И те, которых я не стою,
И то, за что средь них слыву.

И в шуме этих категорий
Займут по первенству куплет
Леса аджарского предгорья
У взморья белых Кобулет.

Еще ты здесь, и мне сказали,
Где ты сейчас и будешь в пять,
Я б мог застать тебя в курзале,
Чем даром языком трепать.

Ты б слушала и молодела,
Большая, смелая, своя,
О человеке у предела,
Которому не век судья.

Есть в опыте больших поэтов
Черты естественности той,
Что невозможно, их изведав,
Не кончить полной немотой.

В родстве со всем, что есть, уверясь
И знаясь с будущим в быту,
Нельзя не впасть к концу, как в ересь,
В неслыханную простоту.

Но мы пощажены не будем,
Когда ее не утаим.
Она всего нужнее людям.
Но сложное понятней им.

———

Октябрь, а солнце что твой август,
И снег, ожегший первый холм,
Усугубляет тугоплавкость
Катящихся, как вафли, волн.

Когда он платиной из тигля
Просвечивает сквозь листву,
Чернее лиственницы иглы,—
И снег ли то по существу?

Он блещет синмком луиной ночи,
Рассматриваемой в обед,
И сообщает пошлость Сочи
Природе скромиых Кобулет.

И всё ж, то зиак: зима при две́рях,
Почтим же лета эпилог.
Простимся с ним, пойдем иа берег
И ноги окунем в белок.

Растет и крепиет ветра натнск,
Растут фигуры на ветру.
Растут и, кутаясь и пятясь,
Идут вдоль волн, как на смотру.

Обходят лннию прнбоя,
Уходят в пены перезвон,
И с нними, выгнувшись трубою,
Здоровается горнзонт.

1931

* * *

Годами когда-нибудь в зале концертиой
Мне Брамса сыграют — тоской изойду.
Я вздрогну, я вспомню союз шестнсердый,
Прогулкн, купанье и клумбу в саду.

Художннцы робкой, как сои, крутолобость,
С беззлобной улыбкой, улыбкой взахлеб,
Улыбкой, огромной и светлой, как глобус,
Художницы облик, улыбку н лоб.

Мне Брамса сыграют — я вздрогну, я сдамся,
Я вспомию покупку припасов н круп,
Ступеньки террасы и комнат убраиство,
И брата, н сына, и клумбу, н дуб.

Художница пачкала краскамн тра́ву,
Роняла палнтру, совала в халат
Набор рисовальиый и пачки отравы,
Что «Басмой» зовутся и астму сулят.

Мне Брамса сыграют — я сдамся, я вспомню
Упрямую заросль, и кровлю, и вход.
Балкон полутемный, и комнат питомник,
Улыбку, и облик, и брови, и рот.

И вдруг, как в открывшемся в сказке Сезаме,
Предстанут соседи, друзья и семья,
И вспомню я всех, и зальюсь я слезами,
И вымокну раньше, чем выплачусь, я.

И станут кружком на лужке интермеццо,
Руками, как дерево, песнь охватив,
Как тени, вертеться четыре семейства
Под чистый, как детство, немецкий мотив.

1931

* * *

Любить иных — тяжелый крест,
А ты прекрасна без извилин,
И прелести твоей секрет
Разгадке жизни равносилен.

Весною слышен шорох снов
И шелест новостей и истин.
Ты из семьи таких основ.
Твой смысл, как воздух, бескорыстен.

Легко проснуться и прозреть,
Словесный сор из сердца вытрясть
И жить, не засоряясь впредь.
Всё это — не большая хитрость.

1931

* * *

Никого не будет в доме,
Кроме сумерек. Один
Зимний день в сквозном проеме
Незадернутых гардин.

Только белых мокрых комьев
Быстрый промельк маховой.

Только крыши, снег и, кроме
Крыш и снега,— никого.

И опять зачертит иней,
И опять завертит мной
Прошлогоднее унынье
И дела зимы иной.

И опять кольнут доныне
Неотпущенной виной,
И окно по крестовине
Сдавит голод дровяной.

Но нежданно по портьере
Пробежит вторженья дрожь.
Тишину шагами меря,
Ты, как будущность, войдешь.

Ты появишься у двери
В чем-то белом, без причуд.
В чем-то впрямь из тех материй,
Из которых хлопья шьют.

1931

* * *

Любимая — молвы слащавой,
Как угля, вездесуща гарь.
А ты — подспудной тайной славы
Засасывающий словарь.

А слава — почвенная тяга.
О, если б я прямей возник!
Но пусть и так,— не как бродяга,
Родным войду в родной язык.

Теперь не сверстники поэтов,
Вся ширь проселков, меж и лех
Рифмует с Лермонтовым лето
И с Пушкиным гусей и снег.

И я б хотел, чтоб после смерти,
Как мы замкнемся и уйдем,
Тесней, чем сердце и предсердье,
Зарифмовали нас вдвоем.

Чтоб мы согласья сочетаньем
Застлали слух кому-нибудь
Всем тем, что сами пьем и тянем
И будем ртами трав тянуть.
1931

* * *

О, знал бы я, что так бывает,
Когда пускался на дебют,
Что строчки с кровью — убивают,
Нахлынут горлом и убьют!

От шуток с этой подоплекой
Я б отказался наотрез.
Начало было так далеко,
Так робок первый интерес.

Но старость — это Рим, который
Взамен турусов и колес
Не читки требует с актера,
А полной гибели всерьез.

Когда строку диктует чувство,
Оно на сцену шлет раба,
И тут кончается искусство
И дышат почва и судьба.
1931

ХУДОЖНИК

Мне по душе строптивый норов
Артиста в силе: он отвык
От фраз, и прячется от взоров,
И собственных стыдится книг.

Но всем известен этот облик.
Он миг для пряток прозевал.
Назад не повернуть оглобли,
Хотя б и затаясь в подвал.

Судьбы под землю не заямить.
Как быть? Неясная сперва,

При жизни переходит в память
Его признавшая молва.

Но кто ж он? На какой арене
Стяжал он поздний опыт свой?
С кем протекли его боренья?
С самим собой, с самим собой.

Как поселенье на Гольфштреме,
Он создан весь земным теплом.
В его залив вкатило время
Всё, что ушло за волнолом.

Он жаждал воли и покоя,
А годы шли примерно так,
Как облака над мастерскою,
Где горбился его верстак.

1936



Николай Заболоцкий

БЕЛАЯ НОЧЬ

Гляди: не бал, не маскарад,
здесь ночи ходят невпопад,
здесь, от вина неузнаваем,
летает хохот попугаем;
раздвинулись мосты и кручи,
бегут любовники толпой,
один горяч, другой измучен,
а третий книзу головой...
Любовь стенает под листами,
она меняется местами,
то подойдет, то отойдет...
А музы любят круглый год.

Качалась Невка у перил,
вдруг барабан заговорил —
ракеты, в полукруг сомкнувшись,
вставали в очередь. Потом
летели огненные груши,
вертя бенгальским животом.

Качались кольца на деревьях,
спадали с факелов отрепья
густого дыма. А на Невке
не то сирены, не то девки —
но нет, сирены — шли наверх,
все в синеватом серебре,
холодноватые — но звали
прижаться к палевым губам
и неподвижным как медали.
Но это был один обман.

Я шел подальше. Ночь легла
вдоль по траве, как мел бела:
торчком кусты над нею встали

в ножнах из разноцветной стали,
и куковали соловьи
верхом на веточке. Казалось,
они испытывали жалость
как неспособные к любви.

А там, надувшись точно ангел,
подкарауливший святых,
на корточках привстал Елагин,
ополоснулся и затих:
он в этот раз накрыл двоих.

Вертя винтом, шел пароходик
с музыкой томной по бортам,
к нему иавстречу лодки ходят,
гребцы не смыслят ни черта;
он их толкнет — они бежать,
бегут-бегут, потом опять
идут — задорные — навстречу.
Он им кричит: я искалечу!
Они уверены, что нет...

И всюду сумасшедший бред,
и белый воздух липнет к крышам,
а ночь уже на ладан дышит,
качается как на весах.
Так недоносок или ангел,
открыв молочные глаза,
качается в спиртовой банке
и просится на небеса.

1926

МОРЕ

Вставали горы старины,
война вставала. Вкруг войны,
скрипя, летели валуны,
сиянием окружены.
Чернело море в пароход
и волны на его дорожке,
как бы серебряные ложки,
стучали. Как слепые кошки,
мерцая около бортов,
бесились весело. Из ртов,

из черных ртов у них стекал
поток горячего стекла,
стекал и падал, надувался,
качался, брызгал, упадал,
навстречу поднимался вал,
и шторм кружился в буйном вальсе,
и в пароход кричал: «Попался!
Ага, попался!» Или: «Ну-с,
вытаскивай из трюма груз!»
Из трусости или забавы
прожектор волны надавил,
и, точно каменные бабы,
они ослепли. Ветер был
все осторожней, тише к флагу,
и флаг трещал как бы бумага
надорванная. Шторм упал,
и вышел месяц наконец,
скользнул сияньем между палуб,
и мокрый глянец лег погреться
у труб. На волнах шел румянец,
зеленоватый от руля,
губами плотно шевеля...

1926

ЛИЦО КОНЯ

Животные не спят. Они во тьме ночной
стоят над миром каменной стеной.

Рогами гладкими шумит в соломе
покатая коровы голова.
Раздвинув скулы вековые,
ее притиснул каменистый лоб,
и вот косноязычные глаза
с трудом вращаются по кругу.

Лицо коня прекрасней и умней.
Он слышит говор листьев и камней.
Внимательный! Он знает крик звериный
и в ветхой роще рокот соловьиный.

И, зная все, кому расскажет он
свои чудесные виденья?
Ночь глубока. На темный небосклон
восходят звезд соединенья.

И конь стоит как рыцарь на часах,
играет ветер в легких волосах,
глаза горят как два огромных мира,
и грива стелется как царская порфира.

И если б человек увидел
лицо волшебное коня,
он вырвал бы язык бессильный свой
и отдал бы коню. Поистине достоин
иметь язык волшебный конь.

Мы услыхали бы слова.
Слова большие, словно яблоки. Густые,
как мед или крутое молоко.
Слова, которые вонзаются как пламя,
и, в душу залетев, как в хижину огонь,
убогое убранство освещают.
Слова, которые не умирают
и о которых песни мы поем...

Но вот конюшня опустела,
деревья тоже разошлись,
скупое утро горы спеленало,
поля открыло для работ.
И лошадь в клетке из оглобель,
повозку крытую влача,
глядит покорными глазами
в таинственный и неподвижный мир.

1926

ЧАСОВОЙ

На карауле ночь густеет,
стоит, как башня, часовой,
в его глазах одеревенелых
четырехгранный вьется штык.
Тяжеловесны, как лампады,
знамена пышные полка
в серпах и молотах измятых
пред ним свисают с потолка.
Там пролетарий на коне
гремит, играя при луне;
там вой кукушки полковой
угрюмо стонет за стеной:

тут белый домик вырастает
с квадратной башенкой вверху,
на стеике девочка витает,
дудит в прозрачную трубу;
уж к ией сбегаются коровы
с улыбкой бледной на губах...
А часовой стоит впотьмах
в шииелн конусообразной;
иад ним звезды пожарик красный
и серп заветный в головах.
Вот — в щели камеииые плнт
мышиные просунулися лица,
похожие иа треугольники из мела
с глазами траурнымн по бокам...
Одна из них садится у окошка
с цветочком музыки в руке,
а деиь в решетку пальцы тяиет,
но не достать ему зиамеи.
Ои напрягается и видит:
стоит, как башня, часовой
и пролетарий иа коие
его храиит, расправив копья,
ему зиамеиа — изголовье
и штык ружья — сигнал к войне...
И день доволеи им вполне.

1927

ДВИЖЕНИЕ

Сидит извозчик, как на троне,
нз ваты сделана броия,
н борода, как иа нкоие,
лежит, моиетами звеия.
А бедиый конь руками машет,
то вытянется как иалим,
то снова восемь иог сверкают
в его блестящем животе.

1927

ИВАНОВЫ

Стоят чиновиые деревья,
почти влезая в каждый дом;
давно их коичено кочевье —
оин в решетках, под замком.

Шумит бульваров теснота,
домами плотно заперта.

Но вот — все двери растворились,
повсюду шепот пробежал:
на службу вышли Ивановы
в своих штанах и башмаках.
Пустые гладкие трамваи
им подают свои скамейки;
герои входят, покупают
билетов хрупкие дощечки,
сидят и держат их перед собой,
не увлекаясь быстрою ездой.

А мир, зажатый плоскими домами,
стоит как море перед нами,
грохочут волны мостовые,
и там, где лопасти колес,
сирены мечутся простые
в клубках оранжевых волос.
Иные — дуньками одеты,
сидеть не могут взаперти:
ногами делая балеты,
они идут. Куда идти,
кому нести кровавый ротик,
кому сказать сегодня «котик»,
у чьей постели бросить ботик
и дернуть кнопку на груди?
Неужто некуда идти?

О мир, свинцовый идол мой,
хлещи широкими волнами
и этих девок упокой
на перекрестке вверх ногами!
Он спит сегодня — грозный мир,
в домах — спокойствие и мир.
Ужели там найти мне место,
где ждет меня моя невеста,
где стулья выстроились в ряд,
где горка — словно Арарат,
повитый кружевцем бумажным,
где стол стоит и трехэтажный
в железных латах самовар
шумит домашним генералом?
О мир, свернись одним кварталом,

одной разбитой мостовой,
одним проплеванным амбаром,
одной мышиною норой,
но будь к оружию готов:
целует девку — Иванов!
1928

ПРОГУЛКА

У животных нет названья —
кто им зваться повелел?
Равномерное страданье —
их невидимый удел.
Бык, беседуя с природой,
удаляется в луга,
над прекрасными глазами
стоят белые рога.
Речка девочкой невзрачной
лежит тихо между трав,
то смеется, то рыдает,
ноги в землю закопав.
Что же плачет? Что тоскует?
Отчего она больна?
Вся природа улыбнулась
как высокая тюрьма.
Каждый маленький цветочек
машет маленькой рукой.
Бык седые слезы точит,
стоит пышный, чуть живой.
А на воздухе пустынном
птица легкая кружится,
ради песенки старинной
своим горлышком трудится.
Перед ней сияют воды,
лес качается велик,
и смеется вся природа,
умирая каждый миг.
1929

МЕРКНУТ ЗНАКИ ЗОДИАКА

Меркнут знаки Зодиака
над просторами полей,
спит животное Собака,

дремлет птица Воробей.
Толстозадые русалки
улетают прямо в небо —
руки крепкие как палки,
груди круглые как репа.
Ведьма, сев на треугольник,
превращается в дымок,
с лешачихами покойник
стройно пляшет кекуок.
Вслед за ними бледным хором
ловят Муху колдуны,
и стоит над косогором
неподвижный лик луны.
Меркнут знаки Зодиака
над постройками села,
спит животное Собака,
дремлет рыба Камбала.
Колотушка тук-тук-тук,
спит животное Паук,
спит Корова, Муха спит,
над землей луна висит.
Над землей большая плошка
опрокинутой воды.
Леший вытащил бревешко
из мохнатой бороды,
из-за облака сирена
ножку выставила вниз,
людоед у джентельмена
неприличное отгрыз.
Все смешалось в общем танце,
и летят во все концы
гамадрилы и британцы,
ведьмы, блохи, мертвецы.

Кандидат былых столетий,
полководец новых лет —
разум мой! Уродцы эти —
только вымысел и бред.
Только вымысел, мечтанье,
сонной мысли колыханье,
безутешное страданье —
то, чего на свете нет...

Высока земли обитель.
Поздно, поздно. Спать пора.
Разум, бедный мой воитель,
ты заснул бы до утра.
Что сомненья? Что тревоги?
День прошел, и мы с тобой —
полузвери, полубоги —
засыпаем на пороге
новой жизни трудовой.

Колотушка тук-тук-тук.
Спит животное Паук.
Спит Корова, Муха спит.
Над землей луна висит.
Над землей большая плошка
опрокинутой воды.
Спит растение Картошка.
Засыпай скорей и ты!

1929

ЗВЕЗДЫ, РОЗЫ И КВАДРАТЫ

Звезды, розы и квадраты,
стрелы северного сиянья,
тонки, круглы, полосаты,
осеняли наши зданья.
Осеняли наши домы,
жезлы, кубки и колеса,
в чердаках визжали кошки,
грохотали телескопы.
Но машина круглым глазом
в небе бегала напрасно —
все квадраты улетали,
исчезали жезлы, кубки.
Только маленькая птичка
между солнцем и луною
в дырке облака сидела,
во все горло песню пела:
— Вы не вейтесь, звезды, розы,
улетайте жезлы, кубки, —
между солнцем и луною
бродит утро за горами!

1930

НАЧАЛО ЗИМЫ

Зимы холодное и ясное начало
сегодня в дверь мою три раза простучало.
Я встал и вышел. Острый, как металл,
мне зимний воздух сердце спеленал,
но я вздохнул и, разогнувши спину,
легко сбежал с пригорка на равнину,—
сбежал и вздрогнул: речки страшный лик
вдруг глянул на меня и в сердце мне проник.

Заковывая холодом природу,
зима идет и руки тянет в воду.
Река дрожит и, чуя смертный час,
уже открыть не может томных глаз,
и все ее беспомощное тело
вдруг страшно вытянулось и оцепенело
и, еле двигая свинцовою волной,
теперь лежит и бьется головой.

Я наблюдал, как речка умирала
не день, не два. Но только в этот миг,
отбросив равнодушья покрывало,
в ее сознанье, кажется, проник.
Подобно разуму, чья немощь или сила
в глазах отображаются легко,
природа в речке нам изобразила
Скользящий мир сознанья своего.

И уходящий трепет размышленья
я, кажется, прочел в ее глухом томленье,
и в выраженье волн предсмертные черты
вдруг уловил, и, если знаешь ты,
как смотрят люди в день своей кончины,—
ты взгляд реки поймешь. Уже до середины
смертельно почерневшая вода
чешуйками подергивалась льда.

И я стоял у каменной глазницы,
ловил на ней последний отблеск дня.
Огромные внимательные птицы
смотрели с елки прямо на меня.
И я ушел. И ночь уже спустилась.
Крутился ветер, падая в трубу.
И речка, вероятно, еле билась,
затвердевая в каменном гробу.

1935

НОЧНОЙ САД

О сад ночной, таинственный орган,
лес длинных труб, приют виолончелей!
О сад ночной, печальный караван
немых дубов и неподвижных елей!

Он целый день метался и шумел.
Был битвой дуб и возмущеньем — тополь.
Сто тысяч листьев, как сто тысяч тел,
летели вместе — низко ли, высоко ль.

Железный Август в длинных сапогах
стоял вдали с большой тарелкой дичи.
И выстрелы гремели на лугах,
и в воздухе мелькали тельца птичьи.

И сад умолк, и месяц вышел вдруг,
легли внизу десятки страшных теней,
и души лип вздымали кисти рук,
все голосуя против преступлений.

О сад ночной, о бедный сад ночной,
о существа, заснувшие надолго!
О ты, возникшая над самой головой
туманных звезд таинственная Волга!

1936

* * *

Все, что было в душе, все как будто опять потерялось,
и лежал я в траве, и печалью и скукой томим.
И прекрасное тело цветка надо мной поднималось,
и кузнечик, как маленький сторож, стоял перед ним.

И тогда я открыл свою книгу в большом переплете,
где на первой странице растения виден чертеж.
И черна, и мертва, протянулась от книги к природе
то ли правда цветка, то ли в нем заключенная ложь.

И цветок с удивленьем смотрел на свое отраженье
и как будто пытался чужую премудрость понять.
Трепетало в листах непривычное мысли движенье,
то усилие воли, которое не передать.

И кузнечик трубу свою поднял, и природа
внезапно проснулась,
и запела печальная тварь славословье уму.
И подобье цветка в старой книге моей
шевельнулось
так, что сердце мое шевельнулось навстречу ему.
1936

СЕДОВ

Он умирал, сжимая компас верный...
Природа мертвая, закованная льдом,
лежала вкруг него, и солнца лик пещерный
через туман просвечивал с трудом.
Скрестив ремень на маленькой груди,
свой легкий груз собаки чуть влачили.
Корабль, затертый в ледяной могиле,
уж далеко остался позади.
И целый мир остался за спиною!
В страну безмолвия, где полюс-великан,
увенчанный тиарой ледяною,
с меридианом свел меридиан;
где полукруг полярного сиянья
копьем алмазным небо пересек;
где вековое мертвое молчанье
нарушить мог один лишь человек,—
туда, туда! В страну туманов бледных,
где обрывается последней жизни нить!
И сердца стон, и жизни миг последний —
все, все отдать, но полюс победить!

Он умирал посереди дороги,
болезнями и голодом томим,
в цинготных пятнах ледяные ноги,
как бревна, мертвые лежали перед ним.
Но странно! — в этом полумертвом теле
еще жила великая душа.
Превозмогая боль, едва дыша,
к лицу приблизив компас еле-еле,
он проверял по стрелке свой маршрут
и гнал вперед свой поезд погребальный...
О край земли, угрюмый и печальный!
Какие люди побывали тут!
И есть на дальнем Севере могила...

Никто не знает, где лежит она.
Один лишь ветер воет там уныло,
и снега ровная блистает пелена.
Два верных друга, чуть живые оба,
среди камней героя погребли,
и не было ему простого даже гроба,
щепотки не было родной ему земли.
И не было ему ни почестей военных,
ни траурных салютов, ни венков,
лишь два матроса, стоя на коленях,
как дети, плакали — одни среди снегов.

Но люди мужества, друзья, не умирают.
Теперь, когда над нашей головой
четыре вихря воздух рассекают
и пропадают в дымке голубой;
когда сквозь мрак арктических туманов,
магнитных бурь, неведомых уму,
пробился к полюсу отважный Водопьянов
и всех друзей собрал по одному;
когда развернут по приказу Шмидта,
наш флаг над полюсом колеблется, крылат,
и будут пойманы углом теодолита
восход луны и солнечный закат;
когда по только что проложенному следу,
чтоб довершить прекрасную победу,
пронесся Чкалов, славен и велик,
связав с Америкой наш буйный материк,—
друзья мои, на торжестве народном
помянем тех, кто пал в краю холодном!

Вставай, Седов, могучий следопыт!
Твой старый компас мы сменили новым.
Но твой поход на Севере суровом —
он никогда не будет позабыт.
И жить бы нам на свете без предела,
вгрызаясь в льды, меняя русла рек,—
отчизна воспитала нас и в тело
живую душу вдунула навек.
И мы пойдем в урочища любые,
и, если смерть застигнет у снегов,
лишь одного просил бы у судьбы я:
так умереть, как умирал Седов!

1937





ГЛЯДЯ В НЕБО

Серый жесткий дирижабль
ночь на туче пролежабль,
плыл корабль
среди капель
и на север курс державль.

Гелий — легкая душа,
ты большая туча либо
сталь — пластинчатая рыба,
дирижабрами дыша.

Серый, жесткий дирижабль,
где синица?
где журавль?

Он плывет в большом дыму
разных зарев перержавленных,
кричит Золушка ему:
— Диризяблик! Дирижаворонок!

Он, забравшись в небовысь,
дирижяблоком повис.

НЕРАЗМЕННЫЙ РУБЛЬ

1

Был
    такой рубль
неразменный
                у мальчика:
купил он
        четыре мячика,

гармошку
для губ,
себе ружье,
сестре куклу,
полдюжины
звонких труб,
сунул
в карман руку,
а там
опять рубль.
Зашел в магазин,
истратил
на карандаши
и тетради,
пошел
на картину в клуб,
наелся конфет
(полтинник за штуку),
сунул
в карман руку,
а там
опять рубль.

2

Со мной
такая ж история:
я
счастья набрал
до губ,
мне
ничего не стоило
ловить его
на бегу,
брать его
с плеч,
снимать
с глаз,
перебирать
русыми прядями,
обнимать
любое множество раз,
разговаривать с ним
по радио!

Была елка,
снег,
хаживали
гости.
Был пляж.
Шел дождь.
На ней был плащ,
и как мы
за ней ухаживали!
Утром,
часов в девять,
гордый —
ее одевать! —
Я не знал,
что со счастьем делать
куда его девать?
И были
губы — губы!
Глаза — глаза!
И вот я,
мальчик глупый,
любви
сказал:
— Не иди
на убыль,
не кончайся,
не мельчай,
будь нескончаемой
у плеча моего
и ее плеча.

3

Плечо умерло.
Губы умерли.
Похоронили глаза.
Погоревали,
подумали,
вспомнили
два раза.
И сорвано
много дней,
с листвой,
в расчет.

в итог
всех трауров по ней,
а я еще...
Я выдумал
кучу игр,
раскрасил дверь
под дуб,
заболел
для забавы гриппом,
лечил
здоровый зуб.
Уже вокруг
другие
и дела
и лица.
Другие бы мне
в дорогие,—
а та —
еще длится.
Наплачешься,
навспоминаешься,
набродишься,
находишься
по городу
вдоль и наискось,
не знаешь,
где находишься!
Дома
на улице Горького
переместились.
Мосты
распластались
над Москвой-рекой,
места,
где ходила ты,
другие совсем!
Их нету!
Вернись ты
на землю вновь —
нашла бы
не ту планету,

но ту,
что была,
любовь...

4

Ровно такая,
полностью та,
не утончилась,
не окончилась!
И лучше б сердцу
пустота,
покой,
устойчивость!
Нет — есть!
Всегда при мне.
Со мной.
В душе
несмытым почерком,
как неотступно —
с летчиком
опасный
шар земной.

5

Я сижу
перед коньяком
угрюм,
как ворон в парке.
Полная рюмка.
Календарь.
Часы
и «паркер».
Срываю
в январе я
листок стенной тоски,
а снизу ему
время
подкладывает листки.
Часы стучат,
что делать
минутам утрат?
Целый год
девять
утра.

Рюмку пью коньячную,
сколько ни пью,
она
кажется
бесконечною —
опять полна.
Опрокинул зубами,
дна
не вижу,
понял я —
опять она
полная.
А «паркер»,
каким пишу —
чернил внутри
с наперсток.
Пишу —
дописать спешу,
чернил не хватает
просто!
Перу б иссякнуть
пора
от стольких
строк отчаяния,
а всё
бегут
с пера
чернила
нескончаемые.

6

Я курю,
в доме
дым,
не видно мебели.
Я уже
по колено
в пепле.
Дом
стал седым.
Потолок
седым затянулся.

А папироса —
как была,
затянулся —
опять цела.
Свет погашу —
не гаснет!
Сломал часы —
стучат!
Кричу:
— Кончайтесь насмерть!
Уйди,
табачный чад!
Закрыл глаза —
мерцает
сквозь веки
в жизнь
дыра!
Весь год сорвал! —
Конца нет
листкам календаря.

7

Так к мальчику
рубль пригрелся —
вот же он!
Не кончается!
Покупок гора
качается:
трубы,
гармошки,
рельсы.
Вещей уже
больше нету,
охоты нет
к вещам.
А надо —
монету
в кармане
таща,
думать о ней,
жить для нее:
это ж рубль,
это ж мое!

8

По сказке —
мальчик юркнул
в соседний дом
и скинул куртку
с карманом
и рублем.
Руки сжал,
домой побежал,
остановился,
пятится:
к мальчику —
рубль,
серебрян и кругл,
катится,
катится,
катится...

1939



Вадим Шершеневич

КАТАЛОГ ОБРАЗОВ

С. Зарову

Дома —
Из железа и бетона
Скирды.
Туман —
В стакан
Одеколона
Немного воды.
Улица аршином портного
В перегиб, в перелом.
Издалека снова
Дьяконы грозы — гром.
По ладони площади — жилки ручья.
В брюхе сфинкса из кирпича
Кокарда моих глаз,
Глаз моих ушат.
С цепи в который раз
Собака карандаша
И зубы букв со слюною чернил в ляшку бумаги.
За окном водостоков краги,
За окошками пудами злоба
И слово в губах, как свинчатка в кулак.
А семиэтажный гусар небоскреба
Шпорой подъезда звяк.

Август 1919



Александр Мариенгоф

* * *

Есенину

Утихни, друг. Прохладен чай в стакане.
Осыпалась заря, как августовский тополь.
Сегодня гребень в волосах —
Что распоясанные кони,
А завтра седина, как снеговая пыль.

Безлюбье и любовь истлели в очаге.
Лети по ветру, стихотворный пепел!
Я голову — крылом балтийской чайки
На острые колени
Положу тебе.

На дне зрачков ритмическая мудрость —
Так якоря лежат
В оглохших водоемах,
Прохладный чай (и золотой, как мы)
Качает в облаках сентябрьское утро.

Ноябрь 1920

* * *

Сергею Есенину

На каторгу пусть приведет нас дружба,
Закованная в цепи песни.
О день серебряный,
Наполнив века жбан,
За край переплесни.

Меня всосут водопроводов рты,
Колодезы рязанских сел — тебя.
Когда откроются ворота
Наших книг,
Певуче петли ритмов проскрипят.

И будет два пути для поколений:
Как табуны пройдут покорные строфы
По золотым следам Мариенгофа
И там, где, оседлав, как жеребенка, месяц
Со свистом проскакал Есенин.

* * *

Василию Каменскому

Эй! Берегитесь — во все концы
В пожарища алые головни...
Кони! Кони! Колокольчики, бубенцы,
По ухабам, ухабам, ухабам дровни.

Кто там кучер! Не надо кучера!
Какая узда и какие вожжи!..
Только вольность волю сердце навьючила,
Только рытвинами и бездорожьем.

Удаль? — Удаль.— Да еще забубенная,
Да еще соколиная, а не воронья!
Бубенцы, колокольчики, бубенчите ж,
червонные!
Эй вы, дьяволы!.. Кони! Кони!

* * *

Каждый наш день — новая глава Библии.
Каждая страница тысячам поколений будет
Великой.
Мы те, о которых скажут:
— Счастливцы в 1917 году жили.
А вы все еще вопите: погибли!
Все еще расточаете хныки!
Глупые головы,
Разве вчерашнее не раздавлено, как голубь
Автомобилем,
Бешено выпрыгнувшим из гаража?!

МАРШ РЕВОЛЮЦИЙ

Конь революций буйно вскачь
Верст миллионы в пространствах рвы,
Каждый волос хвоста и гривы —
Знамя восстаний, бунта кумач.

Громами перекликается копыт стук,
В тучах перецеловываются губы снарядов.

Плечи в плечи Север и Юг,
Свяжем души в один моток,
Буйно пляшет на стягах заря;
Плечи в плечи Запад и Восток,
Брюхо шпорами режь, ездок.

Громами перекликается копыт стук,
В тучах перецеловываются губы снарядов.

Плечи в плечи Север и Юг,
Западу подал Восток знак,
Плечи в плечи, за рядом ряд,
Ровен и грозен шеренг шаг,
Старому на шею петлей кушак.

Громами перекликается копыт стук,
В тучах перецеловываются губы снарядов.

Плечи в плечи Север и Юг,
Вражьему стану свинца плевок,
Ярче костров сердца горят,
Плечи в плечи Запад и Восток,
Бурю воет каждый гудок.

Громами перекликается копыт стук,
В тучах перецеловываются губы снарядов.

Конь революций буйно вскачь,
Верст миллионы в пространствах рвы,
Каждый волос хвоста и гривы —
Знамя восстаний, бунта кумач.



Максимилиан Волошин

ДИКОЕ ПОЛЕ

Голубые просторы, туманы,
Ковыли, да полынь, да бурьяны,
Ширь земли да небесная лепь!
Разлилось, развернулось на воле
Припонтийское Дикое Поле,
Темная Киммерийская степь.

Вся могильниками покрыта —
Без имян: без конца, без числа,
Вся копытом да копьями взрыта,
Костью сеяна, кровью полита,
Да народной тугой поросла!

Только ветр закаспийских угорий
Мутит воды степных лукоморий.
Плещет, рыщет, развалист и хляб,
По оврагам, увалам, излогам,
По немереным скифским дорогам,
Меж курганов да каменных баб!
Вихрит вихрями клочья бурьяна
И гудит, и звенит, и поет...
Эти поприща — дно океана,
От великих обсякшее вод.

Распалял их полуденный огнь,
Индевела заречная синь,
Да ползла желтолицая погань
Азиатских бездонных пустынь
За хазарами шли печенеги...

Ржали кони, пестрели шатры,
Пред рассветом скрипели телеги,
По ночам разгорались костры,

Раздувались обозами тропы
Перегруженных степей,
На зубчатые стены Европы
Низвергались внезапно потопы
Колченогих, раскосых людей.
И орлы на Равенских воротах
Исчезали в водоворотах
Всадников и лошадей.

Было много их — люты, хоробры,
Но исчезли, «изникли, как обры»,
В темной распре улусов и ханств.
И смерчи, что росли и сшибались,
Разошлись, растеклись, растерялись
Средь степных безысходных пространств.

Долго Русь раздирали по клочьям
И усобицы, и татарва...
Но в лесах по речным узорочьям
Завязалась узлом Москва.
Кремль, овеянный сказочной славой,
Встал в парче облачений и риз,
Белокаменный и златоглавый,
Над скудою закуренных изб.
Отразился в лазоревой ленте,
Развитой по лугам-муравам,
Аристотелем Фиоравенти
На Москва-реке строенный храм.
И московские Иоанны
На татарские веси и страны
Наложили тяжелую пядь
И пятой наступили на степи...
От кремлевских тугих благолепий
Стало трудно в Москве дышать,
Голытьбу с тесноты да с неволи
Потянуло на Дикое Поле
Под высокий степной небосклон:
С топором, да с косой, да с оралом
Уходили на север — к Уралам,
Убегали на Волгу, за Дон.
Их разлет был широк и несвязен —
Жгли, рубили, взимали ясак...
Правил парус на Персию Разин,
И Сибирь покорял Ермак.

С Беломорья до Приазовья
Подымались на клич удальцов
Воровские круги Понизовья
Да концы вечевых городов.
Лишь Никола-угодник, Егорий —
Волчий пастырь, строитель земли,
Знают были пустынь и поморий,
Где казацкие кости легли.

Русь! Встречай роковые годины:
Разверзаются снова пучины
Неизжитых тобою страстей,
И старинное пламя усобиц
Лижет ризы твоих богородиц
На оградах Печерских церквей.

Всё, что было, повторится ныне,
И опять затуманится ширь,
И останутся двое в пустыне:
В небе — бог, на земле — богатырь.
Эх! Не выпить до дна нашей воли,
Не связать нас в единую цепь...
Широко наше Дикое Поле,
Глубока наша скифская степь.

20 июня 1920

ГОТОВНОСТЬ

Я не сам ли выбрал час рожденья,
Век и царство, область и народ,
Чтоб пройти сквозь муки и крещенье
Совести, огня и вод?
Апокалипсическому Зверю
Ввергнутый в зияющую пасть,
Павший глубже, чем возможно пасть,
В скрежете и смраде — верю!
Верю в правоту верховных сил,
Расковавших древние стихии,
И из недр обугленной России
Говорю: «Ты прав, что так судил!»

Надо до алмазного закала
Прокалить всю толщу бытия,
Если ж дров в плавильной печи мало,
Господи,— вот плоть моя!

24 октября 1921

ИЗ ЦИКЛА «ПУТЯМИ КАИНА»

1

ОГОНЬ

1

Плоть человека — свиток, на котором
Отмечены все даты бытия.

2

Как вехи, оставляя по дороге
Отставших братьев:
Птиц, зверей и рыб,
Путем огня он шел через природу.
Кровь — первый знак земного мятежа,
А знак второй —
Раздутый ветром факел.

3

Вначале был единый Океан,
Дымившийся на раскаленном ложе.
И в этом жарком лоне завязался
Неразрешимый узел жизни: плоть,
Пронзенная дыханьем и биеньем.
Планета стыла.
Жизни разгорались.
Наш пращур, что из охлажденных вод
Свой рыбий остов выволок на землю,
В себе унес весь древний Океан
С дыханием приливов и отливов,
С первичной теплотой и солью вод —
Живую кровь, струящуюся в жилах.

4

Чудовищные твари размножались
На отмелях.
Взыскательный ваятель
Смывал с лица земли и вновь творил
Обличия и формы.
Человек
Невидим был среди земного стада.

Сползая с полюсов, сплошные льды
Стеснили жизнь, кишевшую в долинах.
Тогда огонь зажженного костра
Оповестил зверей о человеке.

5

Есть два огня: ручной огонь жилища,
Огонь камина, кухни и плиты,
Огонь лампад и жертвоприношений,
Кузнечных горнов, топок и печей,
Огонь сердец — невидимый и темный,
Зажженный в недрах от подземных лав.
И есть огонь поджогов и пожаров,
Степных костров, кочевий, маяков,
Огонь, лизавший ведьм и колдунов,
Огонь вождей, алхимиков, пророков,
Неистовое пламя мятежей,
Неукротимый факел Прометея,
Зажженный им от громовой стрелы.

6

Костер из зверя выжег человека
И сплавил кровью первую семью.
И женщина — блюстительница пепла
Из древней самки выявила лики
Сестры и матери,
Весталки и блудницы.
С тех пор как Агни рдяное гнездо
Свил в пепле очага —
Пещера стала храмом,
Трапеза — таинством,
Огнище — алтарем,
Домашний обиход — богослуженьем.
И человечество
Питалось
И плодилось
Пред оком грозного
Взыскующего бога.
А в очаге отстаивались сплавы
Из серебра, из золота, из бронзы:
Гражданский строй, религия, семья.

7

Тысячелетья огненной культуры
Прошли с тех пор, как первый человек
Построил кровлю над гнездом Жар-птицы,
И под напевы огненных Ригвед
Праманта — пестик в деревянной лунке,
Вращавшийся на жильной тетиве,—
Стал знаком своеволья —
Прометеем,
И человек сознал себя огнем,
Заклепанным в темнице тесной плоти.

25 января 1923

2

МАГИЯ

1

На отмели Незнаемого моря
Синбад-скиталец подобрал бутылку,
Заклепанную
Соломоновой печатью,
И, вскрыв ее, внезапно впал во власть
В ней замкнутого яростного Джинна.
Освободить и разнуздать не трудно
Неведомые дремлющие воли:
Трудней заставить их себе повиноваться.

2

Когда непробужденный человек
Еще сосал от сна благой природы
И радужные грезы застилали
Видения дневного мира, пахарь
Зажмуривал глаза, чтоб не увидеть
Перебегающего поле Фавна,
А на дорогах легче было встретить
Бога, чем человека,
И пастух,
Прислушиваясь к шумам, различал
В дыханье ветра чей-то вещий голос,

Когда разъятые
Потом сознаньем силы
Ему являлись в подлинных обличьях
И он вступал в борьбу и в договоры
С живыми волями, что раздували
Его очаг, вращали колесо,
Целили плоть, указывали воду,—
Тогда он знал, как можно принневолить
Себе служить ундин и саламандр
И сам в себе старался одолеть
Их слабости и страсти.

3

Но потом,
Когда от довременных снов сознанья
Очнулся он к скупому дню, ослеп
От солнечного света и утратил
Дар ясновиденья,
И начал, как дитя,
Ощупывать и взвешивать природу,
Когда пред ним стихии разложились
На вес и на число — он позабыл,
Что в обезбоженной природе живы
Всё те же силы, что овладевают
И волей, и страстями человека.

4

А между тем в преображенном мире
Они живут.
И жадные кобольды
Сплавляют сталь и охраняют руды,
Гнев саламандр пылает в жарких топках,
В живом луче танцующие эльфы
Скользят по проволокам
И мчатся в звонких токах,
Бесы пустынь, самумов, ураганов
Ликуют в вихрях взрывов,
Дремлют в минах
И сотрясают моторы машин,
Ундины рек и никсы водопадов
Работают в турбинах и котлах.

5

Но человек ие различает лики,
Когда-то столь знакомые, и мыслит
Себя единствеииым владыкою стихий,
Не вндя, что иа рынках и базарах,
За призрачиостью бнржевой игры,
Меж духами стихнй и человеком
Не угасает тот же древиий спор,
Что человек, освобождая силы
Извечных равиовесий вещества,
Сам делается в нх руках игрушкой.

6

Поэтому за каждым новым
Разоблаченнем прнроды ждут
Тысячелетья рабства и иасилий,
И жнзнь нас учит, как слепых щеият,
И тычет носом долго н упорно
В кровавую расползшуюся жижу,
Покамест ненавнсть врага к врагу
Не сменнтся взаимиым уваженьем,
Равным силе,
Когда-то сдвииутой с устоев человеком.
Ступенн каждой в области позиаиья
Ответствует такая же ступеиь
Самоотказа:
Воля вещества
Должиа уравиовеситься любовью.
И Магия:
Искусство подчинять
Духовной воле косиую природу.

7

Но люди иеразумны. Потому
Законы эти впнсаиы ие в киигах,
А выковаиы в дулах и клннках,
В орудьях истреблеиья и машинах.

30 января 1923

3

МЕЧ

1

Меч создал справедливость.

2

Насильем скованный,
Отточенный для мщенья,
Он вместе с кровью напитался духом
Святых и праведников,
Им усекновенных.
И стала рукоять его ковчегом
Для их мощей.
(Эфес поднять до губ — доныне жест военного салюта.
И в этом меч сподобился кресту —
Позорному столбу, который стал
Священнейшим из символов любви.

3

На справедливой стали проступили
Слова молитв и заповеди долга:
«Марии — Деве милосердной — слава!»,
«Не обнажай меня без нужды,
Не вкладывай в ножны без чести!»,
«In te, o Domine, speravi!» [1]
Восклицают средневековые клинки.
Меч сосвященствовал
Во время
Литургии,
Меч нарекался в таинстве крещенья.
Их имена «Отклер» и «Дюрандаль»
Сверкают, как удар.
И в описях оружья
К иным прибавлено рукой писца:
«Он — Фея».

---

[1] «На тебя, господи, уповаю!» (*лат.*) — *Ред.*

4

Так из грабителя больших дорог
Меч создал рыцаря
И оковал железом
Его лицо и плоть его, а дух
Прозрел сквозь пламя посвященья,
Запечатляя в зрящем сердце меч,
Пылающий в деснице Серафима:
Символ земной любви,
Карающей и мстящей,
Мир рассекающей на «Да» и «Нет»,
На зло и на добро,
«Sí! Sí!», «No! No!» [1]
Как утверждает Сидов меч «Тисона».

5

Когда же в мир пришли иные силы
И вновь преобразили человека —
Меч не погиб, но расщепился в дух:
Защитницею чести стала шпага
(Ланцет для воспаленных самолюбий),
А меч —
Вершителем судебных приговоров.
Но, обесчещенный,
Он для толпы остался
Оракулом
И врачевателем болезней;
И палачи, собравшись, хоронили
В лесах Германии
Усталые мечи,
Которые отсекли
Девяносто девять.

6

Казнь реформировал
Хирург и филантроп,
И меч был вытеснен
Машинным производством,
Введенным в область смерти, и с тех пор
Он стал характером,

[1] «Да! Да!», «Нет! Нет!» (*исп.*).— *Ред.*

Учением, доктриной:
Сен-Жюстом, Робеспьером, гильотиной —
Антиномией Кантова ума.

7

О правосудие,
Держащее в руках
Весы и меч! Не ты ль его кидало
На чаши мира: «Горе — побежденным».
Не веривший ли в справедливость
Приходил
К сознанию, что надо уничтожить
Для торжества ее
Сначала всех людей?
Не справедливость ли была всегда
Таблицей умноженья, на которой
Труп множили на труп,
Убийство на убийство
И зло на зло?
Не тот ли, кто принес «Не мир, а меч»,
В нас вдунул огнь, который
Язвит и жжет и будет жечь наш дух,
Доколе каждый
Таинственного слова не постигнет:
«Отмщенье мне, и аз воздам за зло».

1 февраля 1922

4

ПОРОХ

1

Права гражданские писал кулак,
Меч — право государственное, Порох
Их стер и создал воинский устав.

2

На вызов, обращенный не к нему,
Со дна реторт преступного монаха
Порох
Явил свой дымный лик и разметал
Доспехи рыцарей,
Как ржавое железо.

3

«Несчастные, тащите меч на кузню,
А на плечо берите аркебузы:
Честь, сила, мужество — бессмысленны.
Теперь
Последний трус стал равен
Храбрейшему из рыцарей».
— «О, сколь благословенны
Века, не ведавшие пороха,
В сравненье с нашим временем, когда
Горсть праха и кусок свинца способны
Убить славнейшего...»
Так восклицали
Неистовый Орланд и мудрый Дон-Кихот —
Последние мечи средневековья.

4

Привыкший спать в глубоких равновесьях,
Порох
Свил черное гнездо
На дне ружейных дул,
В жерле мортир, в стволах стальных
орудий,
Чтоб в ярости случайных пробуждений
В лицо врагу внезапно плюнуть смерть.

5

Стирая в прах постройки человека,
Дробя кирпич, и камень, и металл,
Он вынудил разрозненные толпы
Сомкнуть ряды, собраться для удара.
Он дал ружью — прицел,
Стволу — нарез,
Солдатам — строй,
Героям — дисциплины,
Связал узлами недра темных масс,
Смесил народы,
Сплавил государства,
В теснинах улиц вздыбил баррикады.
Низвергнул знать,
Воздвигнул горожан,
Творя рабов свободного труда
Для равенства мещанских демократий.

6

Он создал армию,
Казарму и солдат,
Всеобщую военную повинность,
Беспрекословность, точность, дисциплину,
Он сбил с героев шлемы и оплечья,
Мундиры, шпаги, знаки, ордена,
Всё оперение турниров и парадов,
И выкрасил в зелено-бурый цвет
Разъезженных дорог,
Растоптанных полей,
Разверстых улиц, мусора и пепла —
Цвет кала и блевотины, который
Невидимыми делает врагов.

7

Но черный порох в мире был предтечей
Иных еще властительнейших сил:
Он распахнул им дверь, и вот мы
на пороге
Клубящейся, неимоверной ночи
И видим облики чудовищных теней,
Не изваянных, но мыслимых, которым
Поручено грядущее земли.

28 января 1923

5

ПАР

1

Пар вился струйкою
Над первым очагом.
Покамест вол тянул соху, а лошадь
Возила тяжести,
Он тщетно дребезжал
Покрышкой котелка, шипел на камне,
Чтоб обратить вниманье человека!

2

Лишь век назад хозяин догадался
Котел, в котором тысячи веков
Варился суп, поставить на колеса
И, вздев хомут, запрячь его в телегу.
Пар выпер поршень, напружил рычаг,
И паровоз, прерывисто дыша,
С усильем сдвинулся
И потащил по рельсам
Огромный поезд клади и людей.

3

Так начался век Пара. Но покорный
Чугунный вол внезапно превратился
В прожорливого Минотавра:
Пар послал
Рабочих в копи — рыть руду и уголь,
В болота — строить насыпи, в пустыни —
Прокладывать дороги;
Запер человека
В застенки фабрик, в шахты под землей,
Запачкал небо угольною сажей,
Луч солнца — копотью
И придушил в туманах
Расплесканное пламя городов.

4

Пар сократил пространство, сузил землю,
Сжал океаны, вытянул пейзаж
В однообразную раскрашенную
Ленту
Холмов, полей, деревьев и домов,
Бегущих между проволок;
Замкнул
Просторы путнику;
Лишил ступни
Горячей ощупи
Неведомой дороги,
Глаз — радости открытий новых далей,
Ладони — посоха и ноздри — ветра.

5

Дорога, ставшая
Грузоподъемностью,
Пробегом, напряженьем,
Кратчайшим расстояньем между точек,
Ворвалась в город, проломила бреши
И просеки в священных лабиринтах,
Рассекла толщи камня, превратила
Проулок, площадь, улицу — в канавы
Для стока одичалых скоростей,
Вверх на мосты загнала пешеходов,
Прорыла крысьи ходы под рекою
И вздернула подвесные пути.

6

Свист, грохот, лязг, движенье — заглушили
Живую человеческую речь,
Немыслимыми сделали молитву,
Беседу, размышленье; превратили
Царя вселенной в смазчика колес.

7

Адам изваян был
По образу Творца,
Но паровой котел счел непристойной
Божественную наготу
И пересоздал
По своему подобью человека:
Облек его в ливрею, без которой
Тот не имеет права появляться
В святилищах культуры.
Он человеческому торсу придал
Подобие котла,
Украшенного клепками;
На голову надел дымоотвод,
Лоснящийся блестящей сажей;
Ноги
Стесал, как два столба,
Просунул руки в трубы,
Одежде запретил все краски, кроме
Оттенков грязи, копоти и дыма,
И, вынув душу, вдунул людям пар.

8 февраля 1922

6

КОСМОС

1

Созвездьями мерцавшее чело,
Над хаосом поднявшись,
Отразилось
Обратной тенью в безднах нижних вод.
Разверзлись два смеженных ночью глаза —
И брызнул свет.
Два огненных луча,
Скрестясь в воде,
Сложились в гексаграмму.
Немотные раздвинулись уста,
И поднялось из недр молчанья
Слово.
И сонмы духов вспыхнули окрест
От первого вселенского дыханья.
Десница подняла материки,
А левая распределила воды,
От чресл размножилась земная тварь,
От жил — растения,
От кости — камень,
И двойники —
Небесный и земной —
Соприкоснулись влажными ступнями.
Господь дохнул на преисподний лик,
И нижний оборотень стал Адамом.
Адам был миром,
Мир же был Адам.
Он мыслил небом,
Думал облаками,
Он глиной плотствовал,
Растеньем рос,
Камнями костенел,
Зверел страстями,
Он видел Солнцем,
Грезил сны Луной,
Гудел планетами,
Дышал ветрами.
И было всё —
Вверху, как и внизу,—
Исполнено высоких соответствий.

2

Вневременье распалось в дождь веков,
И просочились тысячи столетий.
Мир конусообразною горой
Покоился на лоне Океана.
С высоких башен,
Сложенных людьми,
Из жирной глины тучных межиречий
Себя забывший Каин разбирал
Мерцающую клинопись созвездий.
Кишело небо звездными зверьми
Над храмами с крылатыми быками.
Стремилось солнце огненной стезей
По колеям ристалищ Зодиака.
Хрустальные вращались небеса,
И напрягались бронзовые дуги,
И двигались по сложным ободам
Одна в другую вставленные сферы,
И семь планет свой суточный пробег
Алмазными орбитами свершали.
А в дельтах рек халдейский звездочет
И пастухи иранских плоскогорий,
Прислушиваясь к музыке миров,
К гуденью сфер
И к тонким звездным звонам,
По вещим сочетаниям светил
Определяли судьбы царств и мира.
Всё в преходящем было только знак
Извечных тайн,
Начертанных на небе.

3

Потом замкнулись прорези небес.
Мир стал ареной, залитою солнцем,
Палестрою для Олимпийских игр
Под куполом из черного эфира,
Опертым на Атлантово плечо.

На фоне винно-пурпурного моря
И рыжих охр зазубренной земли,
Играя медью мускулов, атлеты
Крылатым взмахом умащенных тел

Метали в солнце бронзовые диски
Гудящих строф
И звонких теорем.

И не было ни индиговых далей,
Ни уводящих в вечность перспектив:
Всё было осязаемо и близко —
Дух мыслил плоть
И чувствовал объем,
Мял глину перст,
И разум мерил землю.

Распоры кипарисовых колонн,
Вощеный кедр закуренных часовен,
Акрополи в звериной пестроте,
Линялый мрамор выкрашенных статуй
И смуглый мрамор липких алтарей,
И ржа, и бронза золоченых кровель,
Чернь, киноварь, и сепия, и желчь —
Цвета земли понятны были глазу,
Ослепшему к небесной синеве,
Забывшему алфавиты созвездий.
Когда ж душа гимнастов и борцов
В мир довременной ночи отзывалась
И погружалась в исступленный сон —
Сплетенье рук
И напряженье связок
Вязало торсы в стройные узлы
Трагических метопов и эподов
Эсхиловых и Пиндаровых строф.

Мир отвечал размерам человека,
И человек был мерой всех вещей

4

Сгустилась ночь.
Могильники земли
Извергли кости праотца Адама
И Каина.
В разрыве облаков
Был виден холм
И три креста —
Голгофа,
Последняя надежда бытия.

Земля была недвижным темным шаром.
Вокруг нее вращались семь небес,
Над ними небо звезд
И Первосилы,
И всё включал пресветлый Эмпирей.
Из-под Голгофы
Внутрь земли — воронкой —
Вел Дантов путь к сосредоточью зла.
Бог был окружностью,
А центром Дьявол,
Распяленный в глубинах вещества.

Неистовыми взлетами порталов
Прочь от земли стремился человек.
По ступеням империй и соборов,
Небесных сфер и адовых кругов
Шли кольчатые звенья иерархий,
И громоздились библии камней —
Отображенья десяти столетий:
Циклоны веры,
Шквалы ересе́й,
Смерчи народов —
Гунны и монголы.
Набаты,
Интердикты
И костры,
Сто сорок пап
И шестьдесят династий,
Сто императоров,
Семьсот царей,
И сквозь мираж расплавленных оконниц
На золотой геральдике щитов —
Труба Суда
И черный луч Голгофы.
В пространстве и во времени земля
Была сосредоточием вселенной:
Вселенский дух был распят на кресте
Исхлестанной и изъязвленной плоти.

5

Был литургийно строен и прекрасен
Средневековый мир.
Но Галилей
Сорвал его,

Зажал в кулак
И землю
Взвил кубарем
По вихревой петле
Вокруг безмерно выросшего Солнца.
Мир распахнулся в центильоны раз.
Соотношенья дико изменились,
Разверзлись бездны звездных Галактей,
И только богу не хватало места.
Пытливый дух апостола Фомы,
Воскресшему сказавший:
«Не поверю,
Покамест пальцев в раны не вложу»,—
Разворотил тысячелетья веры.
Он очевидность выверил числом,
Он цвет и звук
Проверил осязаньем,
Он взвесил свет,
Измерил бег луча,
Он перенес все догмы богословья
На ипостаси сил и вещества.

Материя явилась бесконечной,
Единосущной в разных естествах,
Стал Промысел
Всемирным тяготеньем,
Стал вечен атом,
Вездесущ — эфир:
Всепроницаемый,
Всетвердый,
Скользкий —
«Его ж никто не видел и нигде».

Исчисленный Лапласом и Ньютоном,
Мир стал тончайшим синтезом колес,
Эллипсов, сфер, парабол —
Механизмом,
Себя заведшим раз и навсегда
По принципам закона сохраненья
Материи и Силы.

Человек,
Голодный далью чисел и пространства,
Был пьян безверьем —
Злейшею из вер.

А вкруг него металось и кишело
Охваченное спазмой вещество.
Творец и раб
Сведенных корчей тварей,
Им выявленных логикой числа
Из косности материи,
Он мыслил
Вселенную
Как черный негатив:
Небытие, лоснящееся светом,
И сущности, окутанные тьмой.
Таким бы точно осознала мир
Себя сама постигшая машина.

6

Но неуемный разум разложил
И этот мир,
Построенный на ощупь
Вникающим и мерящим перстом.

Всё относительно:
И бред, и знанье.
Срок жизни истин —
Двадцать — тридцать лет,
Предельный возраст водовозной клячи.
Мы ищем лишь удобства вычислений,
А в сущности не знаем ничего:
Ни емкости,
Ни смысла тяготенья,
Ни масс планет,
Ни формы их орбит,
На вызвездившем небе мы не можем
Различить глазом «завтра» от «вчера».
Нет вещества —
Есть круговерти силы;
Нет твердости —
Есть натяженье струй;
Нет атома —
Есть поле напряженья
(Вихрь малых «нет» вокруг большого «ДА»).
Нет плотности,
Нет веса,
Нет размера —
Есть функции различных скоростей.

Всё существует разницей давлений,
Температур,
Потенциалов,
Масс;
Струи времен текут неравномерно:
Пространство — лишь многообразье форм;
Есть не одна,
А много математик;
Мы существуем в космосе, где всё
Теряется,
Ничто не создается;
Свет, электричество и теплота —
Лишь формы разложенья и распада,
А человек —
Могильный паразит,
Бактерия всемирного гниенья.
Вселенная не строй, не организм,
А водопад сгорающих миров,
Где солнечная заверть — только случай
Посреди необратимых струй.
Бессмертья нет.
Материя конечна.
Число миров исчерпано давно.
Все тридцать пять мильонов солнц
Возникли
В единый миг,
И сгинут все зараз.
Всё бытие случайно и мгновенно.
Явленья жизни — беглый эпизод
Между двумя безмерностями смерти.
Сознанье — вспышка молнии в ночи,
Черта аэролита в атмосфере,
Полет сквозь пламя вздутого костра
Случайной птицы, вырванной из бури
И вновь нырнувшей в снежную метель.

7

Как глаз на расползающийся мир
Свободно налагает перспективу
Воздушных далей,
Облачных кулис
И к горизонту сводит параллели,
Внося в картину логику и строй,—
Так разум среди хаоса явлений

Распределяет их по ступеням
Причинной связи, времени, пространства
И укрепляет сводами числа.
Мы, возводя соборы космогоний,
Не внешний в них отображаем мир,
А только грани нашего незнанья.
Системы мира —
Слепки древних душ,
Зеркальный бред взаимоотражений
Двух противопоставленных глубин.
Нет выхода из лабиринта знанья.
И человек не станет никогда
Иным, чем то, во что он страстно верит.

Так будь же сам вселенной и творцом!
Сознай себя божественным и вечным
И плавь миры по льялам душ и вер.
Будь дерзким зодчим Вавилонских башен,
Ты — заклинатель сфинксов и химер!..

12 июня 1923

7

ЛЕВИАФАН

> Множество, соединенное в одном лице, именуется государством — civitas. Таково происхождение Левиафана, или, говоря почтительнее,— этого смертного бога.
>
> *Гоббс. «Левиафан»*

1

Восставшему в гордыне дерзновенной,
Лишенному владений и сынов,
Простертому на стогнах городов,
На гноище поруганной вселенной,
Мне — Иову — сказал господь:
«Смотри:
Вот царь зверей, всех тварей завершенье —
Левиафан!
Тебе разверзну зренье,
Чтоб видел ты как вне, так и внутри
Частей его согласное строенье
И славил правду мудрости моей».

2

И вот, как материк, из бездны пенной,
Взмыв Океан, поднялся Зверь Зверей,
Чудовищный, свирепый, многочленный...
В звериных недрах глаз мой различал
Тяжелых жерновов круговращенье,
Вихрь лопастей, мерцания зеркал,
И беглый огнь, и молний излученье.

3

«Он в день седьмой был мною сотворен.—
Сказал господь,—
Все жизни отправленья
В нем дивно согласованы. Лишен
Сознанья — он весь пищеваренье.
И человечество извечно включено
В сплетенье жил на древе кровеносном
Его хребта, и движет в нем оно
Великий жернов сердца.
Тусклым, косным
Его ты видишь. Рдяною рекой
Струится свет, мерцающий в огромных
Чувствилищах;
А глубже — в безднах темных —
Зияет голод вечною тоской.
Чтоб в этих недрах, медленных и злобных,
Любовь и мысль таинственно воззвать,
Я сотворю существ ему подобных
И дам им власть друг друга пожирать».

4

И видел я, как бездна Океана
Извергла в мир голодных спрутов рать:
Вскипела хлябь и сделалась багряна.
Я ж день рожденья начал проклинать.

5

Я говорил:
«Зачем меня сознаньем
Ты в этой тьме кромешной озарил
И, дух живой вдохнув в меня дыханьем,

Дозволил стать рабом бездушных сил,
Быть слизью жил, бродилом соков чревных
В кишках чудовища?»

6

В раскатах гневных
Из бури отвечал господь:
«Кто ты,
Чтоб весить мир весами суеты
И смысл хулить моих предначертаний?
Весь прах, вся плоть, посеянные мной,
Не станут ли чистейшим из сияний,
Когда Любовь растопит мир земной?
Сих косных тел алкание и злоба —
Лишь первый шаг к пожарищам любви.
Я сам сошел в тебя, как в недра гроба,
Я сам огнем томлюсь в твоей крови.
Как я — тебя, так ты взыскуешь землю.
Сгорая — жги!
Замкнутый в гроб — живи!
Таким мой мир приемлешь ли?»
«Приемлю...»

1924

8

СУД

Праху — прах...
Я стал давно землей...
Мною
цвели растенья,
Мною
Светило солнце.
Всё, что было плотью,
Развеялось, как радужная пыль,
Живая, безымянная.
И Океан времен
Катил прибой столетий...

Вдруг
Призыв Архангела,
Насквозь сверкающий
Кругами медных звуков,

Потряс вселенную;
И вспомнил себя
Я каждою частицей,
Рассеянною в мире.
В трубном вихре плотью
Истлевшие цвели в могилах кости.
В земных утробах
Зашевелилась жизнь.
И травы вяли,
Сохли деревья,
Лучи темнели.
Холодело солнце.
Настало
Великое молчанье.
В шафранном
И тусклом сумраке земля лежала
Разверстым кладбищем.
Как бурые нарывы,
Могильники вздувались, расседались,
Обнажая
Побеги бледной плоти.
Пясти
Ростками тонких пальцев
Тянулись из земли;
Ладони розовели;
Стебли рук и ног с усильем прорастали,
Вставали торсы, мускулы вздувались,
И быстро поднималась
Живая нива плоти,
Волнуясь и шурша...

Когда же темным клубнем,
В комках земли и спутанных волос
Раскрылась голова
И мертвые разверзлись очи,— небо
Разодралось, как занавес,
Иссякло время,
Пространство сморщилось
И перестало быть...
И каждый
Внутри себя увидел Солнце
В Звериом круге...
И сам себя судил...

5 февраля 1915

* * *

Среди верховных ритмов мирозданья
Зиждитель бог обмолвился землей.
(Но дьявол поперхнулся человеком.)
Для лжи необходима гениальность.
Но человек бездарен. И напрасно
Его старался дьявол просветить.
В фантазии и творчестве он дальше
Простой подмены фактов не пошел.
(Так школьник лжет учителю.) Но в мире
Исчерпаны все сочетанья. Он
Угадывает в мире комбинаций
Лишь ту, которой раньше не встречал.

18 января 1926

* * *

Выйди на кровлю. Склонись на четыре
Стороны света, простерши ладонь...
Солнце... Вода... Облака... Огонь...—
Всё, что есть прекрасного в мире...

Факел косматый в шафранном тумане...
Влажной парчою расплесканный луч...
К небу из пены простертые длани...
Облачных грамот закатный сургуч...

Гаснут во времени, тонут в пространстве
Мысли, событья, мечты, корабли...
Я ж уношу в свое странствие странствий
Лучшее из наваждений земли...

22 июня 1926

* * *

Фиалки волн и гиацинты пены
Цветут на взморье около камней.
Цветами пахнет соль... Один из дней,
Когда не жаждет сердце перемены
И не торопит преходящий миг,

Но пьет так жадно златокудрый лик
Янтарных солнц, просвеченный сквозь
просинь.
Такие дни под старость дарит осень...

20 ноября 1926

СКАЗАНИЕ ОБ ИНОКЕ ЕПИФАНИИ

1

Родился я в деревне. Как скончались
Отец и мать, ушел взыскати
Пути спасения в обитель к преподобным
Зосиме и Савватию. Там иноческий образ
Сподобился приять. И попустил господь
На стол на патриарший наскочити
В те поры Никону. А Никон окаянный
Арсена-жидовина
В печатный двор печатать посадил.
Тот грек и жидовин в трех землях трижды
Отрекся от Христа для мудрости бесовской
И зачал плевелы в церковны книги сеять.
Тут плач и стон в обители пошел:
Увы и горе! Пала наша вера.
В печали и тоске, с благословенья
Отца духовного, взяв книги и иная,
Потребная в молитвах, аз изыдох
В пустыню дальнюю, на остров на
Виданьской —
От озера Онеги двенадцать верст.
Построил келейку безмолвья ради
И жил, молясь, питаясь рукодельем.
О, ты моя прекрасная пустыня!

Раз, надобен от кельи отлучиться,
Я образ богоматери с младенцем —
Вольяшный, медный — поставил ко стене:
«Ну, свет-Христос и богородица, храните
И образ свой, и нашу с вами келью».
Пришел на третий день и издали увидел
Келейку малую, как головню, дымящу.
И зачал зря вопить: «Почто презрела
Мое моление? Приказу не послушала?
Келейку

Мою и твоея ие сохраиила?» Идох
До кельи обгорелой, аи кругом
Сеиишко погорело вместе с кровлей,
А в келье чисто: огнь ие смел войти.
И образ на стеие стоит-сияет.

В лесу окрест живуще бесы люты.
И стали в келью приходить ночами.
Страшат и давят: сердце замирает,
Власы встают, дрожат н плоть н кости.
О полночн пришли одиажды двое:
Одии был наг, другой одет в кафтане.
И, взяв скамью — иа ией же почиваю,—
Нача меня качатн, как младеица.
Я ж, осерчав, восстал с одра, и беса
Взял поперек, н бить учал
Беснщем тем о лавку, вопиюще:
«Небесная царнца, помогн мне!»
А бес другой к земле прнлип от страха,
Не может ног от пола оторвать.
И сам не вем, как бес в руках изгинул.
Возбнухся ото сна — зело устал,— а руки
Мокром-мокры от скверного мясища.

В другой же раз, уснуть я не успел,
Сенные дверн пылко растворились,
И в келью бес вскочнл, что лютый тать:
Согнул меня и сжал так крепко, туго,
Что пикнуть мне не можно, ни дохнуть.
Уж еле-еле пискнул: «Помози мн!»
И сгинул бес, а я же со слезами
Глаголю к образу: «Владычица, почто
Не бережешь меня? Ведь вмале-мале
Злодей не погубил». Тут сон нашел
С печалн той велнкия, н вижу,
Что богороднца нз образа склонилась;
Руками беса мучает, нзмяла
Злодея моего и в руки мие дала.
Я с радости учал его крушить н мять,
Как ветошь драную, и выкннул в окошко:
«Измучнл ты меня, злодей, и сам пропал».
По долгой по молитве взглянул в окно —
Светает.

Лежит бесище, как мокрое тряпье,
Помале дрогнул и ногу подтянул,
А после руку.
И паки ожил. Встал, как будто пьян,
И говорит: «Ужо к тебе не буду,—
Пойду на Вытегру». А я ему:
«Не смей — там волость людна.
Иди, где нет людей». А он, как сонный,
От келейки по просеке пошел.
Увидел хитрый дьявол, что не может
Ни сжечь меня, ни силой побороть,
Так насадил мне в келию червей,
Рекомых мравии. Начаши мураши
Мне тайны уды ясть, и ничего иного,
Ни рук, ни ног, а токмо тайны уды.
И горько мне, и больно — инда плачу.
Аз стал их, грешный, варом обливать,
Рукой ловить, топтать ногой, они же
Под стены подползают. Окопал я
Всю келейку и камнем затолок.
Они ж сквозь камни лезут и — под печь.
Кошницею в реке топить носил.
Мешок на уды шил: не помогло — кусают.
Ни рукоделья делать, ни обедать,
Ни правил править. Бесьей той напасти
Три было месяца. На последях
Обедать сел, закутав уды крепко.
Они ж, не вем как, все-таки кусают.
Не до обеда стало: слезы текли.
Пречистую тревожить всё стеснялся,
А тут взмолился к образу: «Спаси,
Владычица, от бесьей сей напасти!»
И вот с того же часа
Мне уды грызть не стали мураши.
Колико немощна вся сила человека!
Худого мравия не может одолеть,
Не только дьявола, без божьей благодати.

2

Пока в пустыне с бесами боролся,
Иной великий дьявол церковь мучал
И праведную веру истреблял,
Как мурашей, святые гнезда шпарил,
Да и до нас дошел.

Отец Илья, игумен соловецкий,
Велел писать мне книги в обличенье
Антихриста, в спасение царя.
Никониаицы, взяв меня в пустыне,
В темиице утомили, а потом
Пред всем народом пустозерским руку
На площади мие секли. Внидох паки
В темницу лютую и начал умирать.
Весь был в поту, и внутрениость горела.
На лавку лег и руку свесил — думал
Души исходу лучше часа нет.
Темница стала мокрая, а смерть нейдет.
Десятник Симеон засушины отмыл
И серою еловой помазал рану.
И снова маялся я днями на соломе.
На день седьмой на лавку всполз и руку
Отсечеиу иа сердце положил.
И чую — богородица мне руку
Перстами осязает. Я ее хотел
За руку удержать, а пальцев нету.
Очнулся, а рука платком повязаиа,
Ощупал левой сечеиую руку;
И пальцев нет, и боли нет. А в сердце радость.
Был иа Москве в подворье у Николы
Угрешского. И прискочи тут скоро
Стрелецкий голова Бухвостов — лют разбойиик.
И поволок на плаху, на Болото.
Язык урезал мне и прочь помчал.
В телеге душу мало ие вытряс мне,
Столь боль была люта!..
О, горе дней тех! Из моей пустыни
Пошел царя спасать, а языка не стало.
Что иужиого, и то мне молвить нечем.
Вздохиул я к господу из глубииы души:
«О скорого услышанья Христова!»
С того язык от корня и пополз
И до зубов дошел и стал глаголить ясно.

Свезли меня в темницу в Пустозерье.
По двух годех пришел ко мне мучитель
Елагин — полуголова стрелецкой.
Чтоб нудить нас отречься веры старой,
И иепослушливым велел он паки
Языки резать, руки отрубать.
Пришел ко мие палач с ножом, с клещами,

Гортань мне отворять, а я вздохнул
Из сердца умиленно: «Помоги мне!»
И вмале ощутил, как бы сквозь сон,
Как мне палач язык под корень резал
И руку правую на плахе отсекал.
(Как первый резали — что лютый змей кусал.)
До Вологды шла кровь проходом задним.
Теперь в тюрьме три дня я умирал.
Пять дней точилась кровь из сеченой ладони.
Где был язык во рте — слин стало много.
И что под головой — все слинами омочишь:
И ясть нельзя, понеже яди
Во рту вращати нечем.
Егда дадут мне рыбы, щей да хлеба,
Сомну в единый ком, да тако вдруг глотаю.
А по отъятии болезни от руки
Я начал правило в уме творити,
Псалмы читаю, а дойду до места:
«Возрадуется мой язык о правде твоея»,—
Вздохну из глубины — слезишка
Из глазу и покатится:
«А мне чем радоваться? Языка и нету...»
И паки: «Веселися, сердце, радуйся, язык!»
Я ж, зря на крест, реку: «Куда язык мой дели?
Нет языка в устах, и сердце плачет».
Так больше двух недель прошло, а всё молю,
Чтоб богородица язык мне воротила.
Возлег на одр, заснул и вижу: поле
Великое да светлое — конца нет...
Налево же на воздухе, повыше,
Лежат два языка мои:
Московский — бледноват, а пустозерской
Зело краснешенек.
Взял на руку красной и зрю прилежно:
Ворошится живой он на ладони,
А я дивлюсь красе и живости его.
Учал его вертеть в руках, расправил
И местом рваным к резаному месту,
Идеже прежде был, его приставил,—
Он к корню и прильни, где рос с рожденья.
Возбнух я радостен: что хочет сие быти?
От времени того помалу-малу
Дойде язык мой паки до зубов
И полон бысть. К яденью и к молитве
По-прежнему способен, как в пустыне,—

И слин нелепых во устех не стало,
И есть язык, мне богом данный,— новый
Короче старого, да мало толще.
И ныне веселюсь, и славлю, и пою
Скорозаступнице, язык мне давшей новый.

3

Сказанье о кончине
Страдальца Епифания и прочих,
С ним вместе пострадавших в Пустозерске:
Был инок Епифаний положен в сруб,
Обложенный соломой, щепой и берестом
И политый смолою.
А вместе Федор, Аввакум и Лазарь.
Когда костер зажгли, в огне запели дружно:
«Владычица, рабов своих прими!»
С гудением великим огнь, как столб,
Поднялся в воздухе, и видели стрельцы
И люди пустозерские, как инок Епифаний
Поднялся в пламени божественною силой
Вверх к небесам и стал невидим глазу.
Тела и ризы прочих не сгорели.
А Епифания останков не нашли.

16 февраля 1929

Арсений Тарковский

ПЕРЕД ЛИСТОПАДОМ

Все разошлись. На прощанье осталась
Оторопь желтой листвы за окном,
Вот и осталась мне самая малость
Шороха осени в доме моем.

Выпало лето холодной иголкой
Из онемелой руки тишины
И запропало в потемках за полкой,
За штукатуркой мышиной стены.

Если считаться начнем, я не вправе
Даже на этот пожар за окном.
Верно, еще рассыпается гравий
Под осторожным ее каблуком.

Там, в заоконном тревожном покое,
Вне моего бытия и жилья,
В желтом, и синем, и красном — на что ей
Память моя? Что ей память моя?

* * *

Река Сугаклея уходит в камыш,
Бумажный кораблик плывет по реке,
Ребенок стоит на песке золотом,
В руках его яблоко и стрекоза.
Покрытое радужной сеткой крыло
Звенит, и бумажный корабль на волнах
Качается, ветер в песке шелестит,
И все навсегда остается таким...
А где стрекоза? Улетела. А где
Кораблик? Уплыл. Где река? Утекла.

ДОМ

Юность я проморгал у судьбы на задворках
Есть такие дворы в городах —
Подымают бугры в шелушащихся корках,
Дышат охрой и дранку трясут в коробах.

В дом вошел я, как в зеркало, жил наизнанку,
Будто сам городил колченогий забор,
Стол поставил и дверь притворил спозаранку,
Очутился в коробке, открытой во двор.

Погоди, дай мне выбраться только отсюда,
Надоест мне пластаться в окне на весу;
Что мне делать? Глумись надо мною, покуда
Все твои короба растрясу.

Так себя самого я угрозами выдал.
Ничего, мы еще за себя постоим.
Старый дом за спиной набухает, как идол,
Шелудивую глину трясут перед ним.

* * *

Под сердцем травы тяжелеют росинки,
Ребенок идет босиком по тропинке,
Несет землянику в открытой корзинке,
А я на него из окошка смотрю,
Как будто в корзинке несет он зарю.
Когда бы ко мне побежала тропинка,
Когда бы в руке закачалась корзинка,
Не стал бы глядеть я на дом под горой,
Не стал бы завидовать доле другой,
Не стал бы совсем возвращаться домой.

ГРАД НА ПЕРВОЙ МЕЩАНСКОЙ

Бьют часы на башне,
Подымается ветер,
Прохожие — в парадные,
Хлопают двери,
По тротуару бегут босоножки,
Дождь за ними гонится,

Бьется сердце,
Мешает платье,
И розы намокли.
Град
    расшибается вдребезги
                                        над самой липой,
Все же
Понемногу отворяются окна,
В серебряной чешуе мостовые,
Дети грызут ледяные орехи.



Самуил Маршак

* * *

Запахло вагонной печкой
И углем железнодорожным.
Далекое стало возможным:
Чугунный мост над речкой
С бегущими быстро столбами,
И станция в блеклой раме
Берез и кленов,
И степь за цепью вагонов...
Простор, покой и прохлада.
И сердце беспечно и радо,
В нем нет ни страстей, ни тревоги.
Оно — на свободе, в дороге!

Ноябрь 1921

* * *

На земле так редко голубое,
Но зато взгляни: со всех сторон
В эту ночь вокруг и над тобою
Голубой и нежный небосклон.

Дышит город тягостно и бурно.
Горний мир и радостен и прост:
Весь он — полог легкий и лазурный,
И на нем простой узор из звезд.

Подчинись небесному покою,
Возвратись к небесной простоте.
О душа, гонимая тоскою,
Отдохни на крыльях в высоте!

Февраль 1922

* * *

Огонь в ночи, огонь небесный
Твоих касается ресниц;
То там, то здесь во тьме окрестной
Играют проблески зарниц.

Встают неведомо откуда
Зубцы огня — и вновь их нет.
И каждый раз страшит, как чудо,
Неуловимый этот свет.

Смотри, как борются зарницы,
Стремясь продлить свой краткий миг,—
Как будто жаждет в мир явиться
Не явленный доныне лик.

Май 1922

* * *

После яркого вокзала
Ночь опять прильнет к окну,
И вернется дух усталый
В темноту и тишину.

Полустанка свет и шорох
Будут длиться пять минут,
Но в больших немых просторах
Ночи жизни пробегут.

19 августа 1922



Николай Гумилев

РАБОЧИЙ

Он стоит пред раскаленным горном,
Невысокий старый человек.
Взгляд спокойный кажется покорным
От миганья красноватых век.

Все товарищи его заснули,
Только он один еще не спит:
Все он занят отливаньем пули,
Что меня с землею разлучит.

Кончил, и глаза повеселели.
Возвращается. Блестит луна.
Дома ждет его в большой постели
Сонная и теплая жена.

Пуля, им отлитая, просвищет
Над седою, вспененной Двиной,
Пуля, им отлитая, отыщет
Грудь мою, она пришла за мной.

Упаду, смертельно затоскую,
Прошлое увижу наяву,
Кровь ключом захлещет на сухую,
Пыльную и мятую траву.

И господь воздаст мне полной мерой
За недолгий мой и горький век.
Это сделал в блузе светло-серой
Невысокий старый человек.

1918

ПАМЯТЬ

Только змеи сбрасывают кожи,
Чтоб душа старела и росла.
Мы, увы, со змеями не схожи.
Мы меняем души, не тела.

Память, ты рукою великанши
Жизнь ведешь, как под уздцы коня,
Ты расскажешь мне о тех, что раньше
В этом теле жили до меня.

Самый первый: некрасив и тонок,
Полюбивший только сумрак рощ,
Лист опавший, колдовской ребенок;
Словом останавливавший дождь.

Дерево, да рыжая собака,
Вот кого он взял себе в друзья,
Память, Память, ты не сыщешь знака,
Не уверишь мир, что то был я.

И второй... Любил он ветер с юга,
В каждом шуме слышал звоны лир,
Говорил, что жизнь — его подруга,
Коврик под его ногами — мир.

Он совсем не нравится мне, это
Он хотел стать богом и царем,
Он повесил вывеску поэта
Над дверьми в мой молчаливый дом.

Я люблю избранника свободы,
Мореплавателя и стрелка,
Ах, ему так звонко пели воды
И завидовали облака.

Высока была его палатка,
Мулы были резвы и сильны,
Как вино, впивал он воздух сладкий
Белому неведомой страны.

Память, ты слабее год от году,
Тот ли это или кто другой
Променял веселую свободу
На священный долгожданный бой.

Знал он муки голода и жажды,
Сон тревожный, бесконечный путь,
Но святой Георгий тронул дважды
Пулею нетронутую грудь.

Я — угрюмый и упрямый зодчий
Храма, восстающего во мгле,
Я возревновал о славе Отчей,
Как на небесах, и на земле.

Сердце будет пламенем палимо
Вплоть до дня, когда взойдут, ясны,
Стены нового Иерусалима
На полях моей родной страны.

И тогда повеет ветер странный —
И прольется с неба страшный свет.
Это Млечный Путь расцвел нежданно
Садом ослепительных планет.

Предо мной предстанет, мне неведом,
Путник, скрыв лицо; но все пойму,
Видя льва, стремящегося следом,
И орла, летящего к нему.

Крикну я... Но разве кто поможет,
Чтоб моя душа не умерла?
Только змеи сбрасывают кожи,
Мы меняем души, не тела.
1921

ЛЕС

В том лесу белесоватые стволы
Выступали неожиданно из мглы,

Из земли за корнем корень выходил,
Точно руки обитателей могил.

Под покровом ярко-огненной листвы
Великаны жили, карлики и львы,

И следы в песке видали рыбаки
Шестипалой человеческой руки.

Никогда сюда тропа не завела
Пэра Франции иль Круглого Стола.

И разбойник не гнездился здесь в кустах,
И пещерки не выкапывал монах.

Только раз отсюда в вечер грозовой
Вышла женщина с кошачьей головой,

Но в короне из литого серебра,
И вздыхала и стонала до утра,

И скончалась тихой смертью на заре,
Перед тем как дал причастье ей кюре.

Это было, это было в те года,
От которых не осталось и следа,

Это было, это было в той стране,
О которой не загрезишь и во сне.

Я придумал это, глядя на твои
Косы, кольца огневеющей змеи,

На твои зеленоватые глаза,
Как персидская больная бирюза.

Может быть, тот лес — душа твоя,
Может быть, тот лес — любовь моя,

Или может быть, когда умрем,
Мы в тот лес направимся вдвоем.
1921

СЛОВО

В оный день, когда над миром новым
Бог склонял лицо свое, тогда
Солнце останавливали словом,
Словом разрушали города.

И орел не взмахивал крылами,
Звезды жались в ужасе к луне,
Если, точно розовое пламя,
Слово проплывало в вышине.

А для низкой жизни были числа,
Как домашний, подъяремный скот,
Потому, что все оттенки смысла
Умное число передает.

Патриарх седой, себе под руку
Покоривший и добро и зло,
Не решаясь обратиться к звуку,
Тростью на песке чертил число.

Но забыли мы, что осиянно
Только слово средь земных тревог,
И в Евангельи от Иоанна
Сказано, что слово это Бог.

Мы ему поставили пределом
Скудные пределы естества,
И, как пчелы в улье опустелом,
Дурно пахнут мертвые слова.
1921

ШЕСТОЕ ЧУВСТВО

Прекрасно в нас влюбленное вино
И добрый хлеб, что в печь для нас садится,
И женщина, которою дано,
Сперва измучившись, нам насладиться.

Но что нам делать с розовой зарей
Над холодеющими небесами,
Где тишина и неземной покой,
Что делать нам с бессмертными стихами?

Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать.
Мгновение бежит неудержимо,
И мы ломаем руки, но опять
Осуждены идти все мимо, мимо.

Как мальчик, игры позабыв свои,
Следит порой за девичьим купаньем
И, ничего не зная о любви,
Все ж мучится таинственным желаньем.

Как некогда в разросшихся хвощах
Ревела от сознания бессилья
Тварь скользкая, почуя на плечах
Еще не появившиеся крылья;

Так, век за веком — скоро ли, господь?
Под скальпелем природы и искусства,
Кричит наш дух, изнемогает плоть,
Рождая орган для шестого чувства.

1921

ЗАБЛУДИВШИЙСЯ ТРАМВАЙ

Шел я по улице незнакомой
И вдруг услышал вороний грай,
И звоны лютни, и дальние громы,
Передо мною летел трамвай.

Как я вскочил на его подножку,
Было загадкою для меня,
В воздухе огненную дорожку
Он оставлял и при свете дня.

Мчался он бурей темной, крылатой,
Он заблудился в бездне времен...
Остановите, вагоновожатый,
Остановите сейчас вагон.

Поздно. Уж мы обогнули стену,
Мы проскочили сквозь рощу пальм,
Через Неву, через Нил и Сену
Мы прогремели по трем мостам.

И, промелькнув у оконной рамы,
Бросил нам вслед пытливый взгляд
Нищий старик,— конечно, тот самый,
Что умер в Бейруте год назад.

Где я? Так томно и так тревожно
Сердце мое стучит в ответ:
Видишь вокзал, на котором можно
В Индию Духа купить билет.

Вывеска... кровью налитые буквы
Гласят — зеленная,— знаю,— тут
Вместо капусты и вместо брюквы
Мертвые головы продают.

В красной рубашке, с лицом, как вымя
Голову срезал палач и мне.
Она лежала вместе с другими
Здесь, в ящике скользком, на самом дне.

А в переулке забор дощатый,
Дом в три окна и серый газон...
Остановите, вагоновожатый,
Остановите сейчас вагон!

Машенька, ты здесь жила и пела,
Мне, жениху, ковер ткала.
Где ж теперь твой голос и тело,
Может ли быть, что ты умерла!

Как ты стонала в своей светлице,
Я же с напудренною косой
Шел представляться императрице
И не увиделся вновь с тобой.

Понял теперь я: наша свобода —
Только оттуда бьющий свет,
Люди и тени стоят у входа
В зоологический сад планет.

И сразу ветер знакомый и сладкий,
И за мостом летит на меня
Всадника длань в железной перчатке
И два копыта его коня.

Верной твердынею православья
Врезан Исакий в вышине.
Там отслужу молебен о здравьи
Машеньки и панихиду по мне.

И все ж навеки сердце угрюмо,
И трудно дышать, и больно жить...
Машенька, я никогда не думал,
Что можно так любить и грустить.

1921

МОИ ЧИТАТЕЛИ

Старый бродяга в Аддис-Абебе,
Покоривший многие племена,
Прислал ко мне черного копьеносца
С приветом, составленным из моих стихов.
Лейтенант, водивший канонерки
Под огнем неприятельских батарей,
Целую ночь над южным морем
Читал мне на память мои стихи.
Человек, среди толпы народа
Застреливший императорского посла,
Подошел пожать мне руку,
Поблагодарить за мои стихи.

Много их, сильных, злых и веселых,
Убивавших слонов и людей,
Умиравших от жажды в пустыне,
Замерзавших на кромке вечного льда,
Верных нашей планете,
Сильной, веселой и злой,
Возят мои книги в седельной сумке,
Читают их в пальмовой роще,
Забывают на тонущем корабле.

Я не оскорбляю их неврастенией,
Не унижаю душевной теплотой,
Не надоедаю многозначительными намеками
На содержимое выеденного яйца,
Но когда вокруг свищут пули,
Когда волны ломают борта,
Я учу их, как не бояться,
Не бояться и делать что́ надо.

И когда женщина с прекрасным лицом,
Единственно дорогим во Вселенной,
Скажет: я не люблю вас,
Я учу их, как улыбнуться,
И уйти и не возвращаться больше.
А когда придет их последний час,
Ровный, красный туман застелет взоры,
Я научу их сразу припомнить
Всю жестокую, милую жизнь,

Всю родную, странную землю,
И, представ перед ликом Бога
С простыми и мудрыми словами,
Ждать спокойно его суда.

1921

ЗВЕЗДНЫЙ УЖАС

Это было золотою ночью,
Золотою ночью, но безлунной,
Он бежал, бежал через равнину,
На колени падал, поднимался,
Как подстреленный метался заяц,
И горячие струились слезы
По щекам, морщинами изрытым,
По козлиной, старческой бородке.
А за ним его бежали дети,
А за ним его бежали внуки,
И в шатре из небеленой ткани
Брошенная правнучка визжала.

— Возвратись,— ему кричали дети,
И ладони складывали внуки,
— Ничего худого не случилось,
Овцы не наелись молочая,
Дождь огня священного не залил,
Ни косматый лев, ни зенд жестокий
К нашему шатру не подходили.—

Черная пред ним чернела круча,
Старый кручи в темноте не видел,
Рухнул так, что затрещали кости,
Так, что чуть души себе не вышиб.
И тогда ползти еще пытался,
Но его уже схватили дети,
За полы придерживали внуки,
И такое он им молвил слово:

— Горе! Горе! Страх, петля и яма
Для того, кто на земле родился,
Потому что столькими очами
На него взирает с неба черный
И его высматривает тайны.
Этой ночью я заснул, как должно,

Оберивувшнсь шкурой, носом в землю,
Снилась мне хорошая корова
С выменем отвнслым и раздутым,
Под нее подполз я, поживнться
Молоком парным, как уж, я думал,
Только вдруг она меня лягнула,
Я перевернулся и проснулся:

Был без шкуры я н иосом к небу.
Хорошо еще, что мне вонючка
Правый глаз поганым соком выжгла,
А не то, гляди я в оба глаза,
Мертвым бы остался я на месте.
Горе! Горе! Страх, петля и яма
Для того, кто на земле родился.—

Детн взоры опустнли в землю,
Внукн лица спрятали локтями,
Молчалнво ждали все, что скажет
Старшнй сын с седою бородою,
И такое тот промолвнл слово:

— С той поры, что я жнву, со мною
Ничего худого ие бывало,
И мое выстукивает сердце,
Что н впредь худого мне ие будет,
Я хочу обоими глазами
Посмотреть, кто это бродит в небе.—

Вымолвнл н сразу лег на землю,
Не ничком иа землю лег, спиною,
Все стоялн, затанв дыханье,
Слушали н ждали очень долго.
Вот старнк спросил, дрожа от страха:
— Что ты видншь? — ио ответа не дал
Сын его с седою бородою.
И когда над ним склонились братья,
То увидели, что он не дышит,
Что лицо его, темнее меди,
Исковеркано рукамн смерти.

Ух, как женщины заголоснли,
Как заплакалн, завыли детн,
Старый бороденку дергал, хрипло
Страшные проклятья выкликая.

На ноги вскочили восемь братьев,
Крепких мужей, ухватили луки.
— Выстрелим,— они сказали,— в небо,
И того, кто бродит там, подстрелим...
Что нам это за напасть такая? —
Но вдова умершего вскричала:
— Мне отмщенье, а не вам отмщенье!
Я хочу лицо его увидеть,
Горло перервать ему зубами
И когтями выцарапать очи.—

Крикнула и брякнулась на землю,
Но глаза зажмуривши, и долго
Про себя шептала заклинанья,
Грудь рвала себе, кусала пальцы.
Наконец взглянула, усмехнулась
И закуковала, как кукушка:

— Лин, зачем ты к озеру? Линойя,
Хороша печенка антилопы?
Дети, у кувшина нос отбился,
Вот я вас! Отец, вставай скорее,
Видишь, зенды с ветками омелы
Тростниковые корзины тащут,
Торговать они идут, не биться.
Сколько здесь огней, народа сколько!
Собралось все племя... славный праздник!—

Старый успокаиваться начал,
Трогать шишки на своих коленях,
Дети луки опустили, внуки
Осмелели, даже улыбнулись.
Но когда лежавшая вскочила
На ноги, то все позеленели,
Все вспотели даже от испуга.
Черная, но с белыми глазами
Яростно она металась, воя:
— Горе, горе! Страх, петля и яма!
Где я? Что со мною? Красный лебедь
Гонится за мной... Дракон трехглавый
Крадется... Уйдите, звери, звери!
Рак, не тронь! Скорей от козерога! —
И когда она все с тем же воем,
С воем обезумевшей собаки,
По хребту горы помчалась к бездне,

Ей никто не побежал вдогонку.
Смутные к шатрам вернулись люди,
Сели вкруг на скалы и боялись.
Время шло к полуночи. Гиена
Ухнула и сразу замолчала.
И сказали люди: — Тот, кто в небе,
Бог иль зверь, он верно хочет жертвы.
Надо принести ему телицу
Непорочную, отроковицу,
На которую досель мужчина
Не смотрел ни разу с вожделеньем.
Умер Гар, сошла с ума Гарайя,
Дочери их только восемь весен,
Может быть она и пригодится.—
Побежали женщины и быстро
Притащили маленькую Гарру.
Старый поднял свой топор кремневый,
Думал — лучше продолбить ей темя,
Прежде чем она на небо взглянет,
Внучка ведь она ему, и жалко.—
Но другие не дали, сказали:
— Что за жертва с теменем долбленым?

Положили девочку на камень,
Плоский, черный камень, на котором
До сих пор пылал огонь священный,
Он погас во время суматохи.
Положили и склонили лица,
Ждали, вот она умрет и можно
Будет всем пойти заснуть до солнца.

Только девочка не умирала,
Посмотрела вверх, потом направо,
Где стояли братья, после снова
Вверх и захотела спрыгнуть с камня.
Старый не пустил, спросил: —
Что видишь? —
И она ответила с досадой:
— Ничего не вижу. Только небо
Вогнутое, черное, пустое,
И на небе огоньки повсюду,
Как цветы весною на болоте.—
Старый призадумался и молвил:
— Посмотри еще! — И снова Гарра
Долго, долго на небо смотрела.

— Нет,— сказала,— это не цветочки,
Это просто золотые пальцы
Нам показывают на равнину,
И на море и на горы зендов,
И показывают, что случилось,
Что случается и что случится.—

Люди слушали и удивлялись.
Так не то что дети, так мужчины
Говорить доныне не умели,
А у Гарры пламенели щеки,
Искрились глаза, алели губы,
Руки поднимались к небу, точно
Улететь она хотела в небо.
И она запела вдруг так звонко,
Словно ветер в тростниковой чаще,
Ветер с гор Ирана на Евфрате.

Мелле было восемнадцать весен,
Но она не ведала мужчины,
Вот она упала рядом с Гаррой,
Посмотрела и запела тоже.
А за Меллой Аха и за Ахой
Урр, ее жених и вот все племя
Полегло и пело, пело, пело,
Словно жаворонки жарким полднем
Или смутным вечером лягушки.

Только старый отошел в сторонку,
Зажимая уши кулаками,
И слеза катилась за слезою
Из его единственного глаза.
Он свое оплакивал паденье
С кручи, шишки на своих коленях,
Гара, и вдову его, и время
Прежнее, когда смотрели люди
На равнину, где паслось их стадо,
На воду, где пробегал их парус,
На траву, где их играли дети,
А не в небо черное, где блещут
Недоступные чужие звезды.

1921

Михаил Кузмин

* * *

Декабрь морозит в небе розовом,
нетопленый чернеет дом,
и мы, как Меншиков в Березове,
читаем Библию и ждем.

И ждем чего? Самим известно ли?
Какой спасительной руки?
Уж вспухнувшие пальцы треснули
и развалились башмаки.

Уже не говорят о Врангеле,
тупые протекают дни.
На златокованом архангеле
лишь млеют сладостно огни.

Пошли нам долгое терпение,
и легкий дух, и крепкий сон,
и милых книг святое чтение,
и неизменный небосклон.

Но если ангел скорбно склонится,
заплакав: «Это навсегда»,—
пусть упадет, как беззаконница,
меня водившая звезда.

Нет, только в ссылке, только в ссылке мы,
о, бедная моя любовь.
Лучами нежными, не пылкими,
родная согревает кровь,

окрашивает губы розовым,
не холоден минутный дом.
И мы, как Меншиков в Березове,
читаем Библию и ждем.

1920

ИСКУССТВО

Туман и майскую росу
Сберу я в плотные полотна.
Закупорив сосудец плотно,
До света в дом свой отнесу.
Созвездья благостно горят,
Указанные в Зодиаке,
Планеты заключают браки,
Оберегая мой обряд.
Вот жизни горькой и живой
Истлевшее беру растенье.
Клокочет вещее кипенье...
Пылай, союзник огневой!
Все, что от смерти, ляг на дно.
(В колодце ль видны звезды,
в небе ль?)
Былой лозы прозрачный стебель
Мне снова вывести дано.
Кора и розоватый цвет —
Все восстановлено из праха.
Кто тленного не знает страха,
Тому уничтоженья нет.
Промчится ль ветра буйный конь,—
Верхушки легкой не качает.
Весна нездешняя венчает
Главу, коль жив святой огонь.

1921. Май

* * *

О чем кричат и знают петухи
Из курной тьмы?
Что знаменуют темные стихи,
Что знаем мы?
За горизонтом двинулась заря,
Душа слепая ждет поводыря.
Медиумически синей, Сибирь!
Утробный звон...
Спалили небо перец и инбирь,
Белесый сон...
Морозное житье, мой капитан!
Невнятный дар устам судьбою дан
На сердце положи, закрой глаза.

Баю, баю!
И радужно расправит стрекоза
Любовь мою.
Не ломкий лед, а звонкое вино
Летучим пало золотом на дно.

* * *

Черемшановой

Был бы я художник — написал бы
Скит девичий за высоким тыном,
А вдали хребет павлиний дремлет,
Сторожит сибирское раздолье.
И сидит кремневая девица,
Лебедь черная окаменела,
Не глядит, не молвит, не внимает,
Песня новая уста замкнула.
Лишь воронкою со дна вскипает.
По кремню ударь, ударь, сударик,
Ты по печени ударь, по сердцу,
То-то искры, полымя, безумье.
Грозная вспорхнула голубица,
Табуны забыла кобылица,
Разметала гриву на просторе,
Засинело греческое море.
Черное вихрит богомоленье.
Стародавнее воскресло пенье,
Пораскинулся пожар по крышам,
Что увидим, други, что услышим?
Дикий зной сухой гитаны,
В кастаньетах треск цикады,
Бахрома ресниц и шелест,
Роза алая в зубах.
Ничего, что юбки рваны!
Много ли цыганке надо?
Бубны враз заворковали,
Будто горлица в горах.
Вспомнили? О-лэ!
Вздрогнули? О-лэ!
Подземная память, как нож,—
В дымную дыню дней!
И когда на оживленный дансинг
Где-нибудь в Берлине или Вене
Вы войдете в скромном туалете,

Праздные зеваки и виверы
Девушку кремневую увидят
И смутятся плоскодонным сердцем.
Отчего так чуждо и знакомо
Это пламя: скрытое под спудом,
Эта дикая глухая воля,
Эти волны черного раденья.
На глазах как будто ночи ставни,
На устах замок виснт заветный,
А коснетесь — передернет тело,
Будто мокрою рукой взялся за провод
И твердят насупленные брови
О древнейшей, небывалой нови.

* * *

Крашены двери голубой краской,
Смазаны двери хорошо маслом,
Ночью дверей не видно,
Ночью дверей не слышно...
Полной луны сила!
Золото в потолке зодиаком,
Поминальные по полу фиалки,
Двустороннее зеркало круглеет...
Ты и я, ты и я — вместе...
Полной луны сила!
Моя сила — на тебе играет...
Твоя сила — во мне ликует...
Высота медвяно каплет долу,
Прорастают розовые стебли...
Полной луны сила!..



ПЕТРОГРАД, 1919

И мы забыли навсегда,
Заключены в столице дикой,
Озера, степи, города
И зори родины великой.
В кругу кровавом день и ночь
Долит жестокая истома...
Никто нам не хотел помочь
За то, что мы остались дома,
За то, что, город свой любя,
А не крылатую свободу,
Мы сохранили для себя
Его дворцы, огонь и воду.

Иная близится пора,
Уж ветер смерти сердце студит,
Но нам священный град Петра
Невольным памятником будет.

1920

* * *

Тебе покорной? Ты сошел с ума!
Покорна я одной господней воле.
Я не хочу ни трепета, ни боли,
Мне муж — палач, а дом его — тюрьма.

Но видишь ли! Ведь я пришла сама...
Декабрь рождался, ветры выли в поле,
И было так светло в твоей неволе,
А за окошком сторожила тьма.

Так птица о прозрачное стекло
Всем телом бьется в зимнее ненастье,
И кровь пятнает белое крыло.

Теперь во мне спокойствие и счастье.
Прощай, мой тихий, ты мне вечно мил
За то, что в дом свой странницу пустил.

1921

* * *

Пока не свалюсь под забором
И ветер меня не добьет,
Мечта о спасении скором
Меня, как проклятие, жжет.

Упрямая, жду, что случится,
Как в песне случится со мной,—
Уверенно в дверь постучится
И, прежний, веселый, дневной,

Войдет он и скажет: «Довольно,
Ты видишь, я тоже простил».
Не будет ни страшно, ни больно...
Ни роз, ни архангельских сил.

Затем и в беспамятстве смуты
Я сердце мое берегу,
Что смерти без этой минуты
Представить себе не могу.

1921

* * *

Заплаканная осень, как вдова
В одеждах черных, все сердца туманит...
Перебирая мужнины слова,
Она рыдать не перестанет.
И будет так, пока тишайший снег
Не сжалится над скорбной и усталой...
Забвенье боли и забвенье нег —
За это жизнь отдать не мало.

1921

* * *

Не с теми я, кто бросил землю
На растерзание врагам.
Их грубой лести я не внемлю,
Им песен я своих не дам.

Но вечно жалок мне изгнанник,
Как заключенный, как больной.
Темна твоя дорога, странник,
Полынью пахнет хлеб чужой.

А здесь, в глухом чаду пожара,
Остаток юности губя,
Мы не единого удара
Не отклонили от себя.

И знаем, что в оценке поздней
Оправдан будет каждый час...
Но в мире нет людей бесслезней,
Надменнее и проще нас.

1922

* * *

Заболеть бы как следует, в жгучем бреду
Повстречаться со всеми опять,
В полном ветра и солнца приморском саду
По широким аллеям гулять.

Даже мертвые нынче согласны прийти,
И изгнанники в доме моем.
Ты ребенка за ручку ко мне приведи,
Так давно я скучаю о нем.

Буду с милыми есть голубой виноград,
Буду пить ледяное вино
И глядеть, как струится седой водопад
На кремнистое влажное дно.

1922

* * *

О, знала ль я, когда в одежде белой
Входила Муза в тесный мой приют,
Что к лире, навсегда окаменелой,
Мои живые руки припадут.

О, знала ль я, когда неслась, играя,
Моей любви последняя гроза,
Что лучшему из юношей, рыдая,
Закрою я орлиные глаза.

О, знала ль я, когда, томясь успехом,
Я искушала дивную судьбу,
Что скоро люди беспощадным смехом
Ответят на предсмертную мольбу.

1925

* * *

Так просто можно жизнь покинуть эту,
Бездумно и безбольно догореть,
Но не дано российскому поэту
Такою светлой смертью умереть.
Всего верней свинец душе крылатой
Небесные откроет рубежи,
Иль хриплый ужас лапою косматой
Из сердца, как из губки, выжмет жизнь.

1925

* * *

Одни глядятся в ласковые взоры,
Другие пьют до солнечных лучей,
А я всю ночь веду переговоры
С неукротимой совестью своей.

Я говорю: «Твое несу я бремя
Тяжелое, ты знаешь, сколько лет».
Но для нее не существует время,
И для нее пространства в мире нет.

И снова черный масленичный вечер,
Зловещий парк, неспешный бег коня.
И полный счастья и веселья ветер,
С небесных круч слетевший на меня.

А надо мной спокойный и двурогий
Стоит свидетель... о, туда, туда,
По древней подкапризовой дороге,
Где лебеди и мертвая вода.

1936

ВОРОНЕЖ

О. М.

И город весь стоит оледенелый.
Как под стеклом деревья, стены, снег.
По хрусталям я прохожу несмело.
Узорных санок так неверен бег.
А над Петром воронежским — вороны,
Да тополя, и свод светло-зеленый,
Размытый, мутный, в солнечной пыли,
И Куликовской битвой веют склоны
Могучей, победительной земли.
И тополя, как сдвинутые чаши,
Над нами сразу зазвенят сильней,
Как будто пьют за ликованье наше
На брачном пире тысячи гостей.

А в комнате опального поэта
Дежурят страх и Муза в свой черед.
И ночь идет,
Которая не ведает рассвета.

1936

* * *

. . . .

Я знаю, с места не сдвинуться
От тяжести Виевых век.
О, если бы вдруг откинуться
В какой-то семнадцатый век.

С душистою веткой березовой
Под Троицу в церкви стоять,
С боярынею Морозовой
Сладимый медок попивать.

А после на дровнях в сумерки
В навозном снегу тонуть...
Какой сумасшедший Суриков
Мой последний напишет путь?

1939 (?)

REQUIEM

1935—1940

Нет, и не под чуждым небосводом,
И не под защитой чуждых крыл,—
Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был.
1961

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

В страшные годы ежовщины я провела семнадцать месяцев в тюремных очередях в Ленинграде. Как-то раз кто-то «опознал» меня. Тогда стоящая за мной женщина с голубыми губами, которая, конечно, никогда в жизни не слыхала моего имени, очнулась от свойственного нам всем оцепенения и спросила меня на ухо (там все говорили шепотом):

— А это вы можете описать?

И я сказала:

— Могу.

Тогда что-то вроде улыбки скользнуло по тому, что некогда было ее лицом.

1 апреля 1957
Ленинград

ПОСВЯЩЕНИЕ

Перед этим горем гнутся горы,
Не течет великая река,
Но крепки тюремные затворы,
А за ними «каторжные норы»
И смертельная тоска.
Для кого-то веет ветер свежий,
Для кого-то нежится закат —
Мы не знаем, мы повсюду те же,
Слышим лишь ключей постылый скрежет
Да шаги тяжелые солдат.
Подымались, как к обедне ранней,
По столице одичалой шли,
Там встречались, мертвых бездыханней,
Солнце ниже и Нева туманней,
А надежда все поет вдали.

Приговор... И сразу слезы хлынут,
Ото всех уже отделена,
Словно с болью жизнь из сердца вынут,
Словно грубо навзничь опрокинут,
Но идет... Шатается... Одна...
Где теперь невольные подруги
Двух моих осатанелых лет?
Что им чудится в сибирской вьюге?
Что мерещится им в лунном круге?
Им я шлю прощальный свой привет.

Март 1940

ВСТУПЛЕНИЕ

Это было, когда улыбался
Только мертвый, спокойствию рад.
И ненужным привеском болтался
Возле тюрем своих Ленинград.
И когда, обезумев от муки,
Шли уже осужденных полки,
И короткую песню разлуки
Паровозные пели гудки.
Звезды смерти стояли над нами,
И безвинная корчилась Русь
Под кровавыми сапогами
И под шинами черных марусь.

I

Уводили тебя на рассвете,
За тобой, как на выносе, шла,
В темной горнице плакали дети,
У божницы свеча оплыла.
На губах твоих холод иконки,
Смертный пот на челе... Не забыть!
Буду я, как стрелецкие женки,
Под кремлевскими башнями выть.

Осень 1935
Москва

II

Тихо льется тихий Дон,
Желтый месяц входит в дом.
Входит в шапке набекрень.

Видит желтый месяц тень.
Эта женщина больна,
Эта женщина одна,
Муж в могиле, сын в тюрьме,
Помолитесь обо мне.

III

Нет, это не я, это кто-то другой страдает.
Я бы так не могла, а то, что случилось,
Пусть черные сукна покроют,
И пусть унесут фонари...
Ночь.

IV

Показать бы тебе, насмешнице
И любимице всех друзей,
Царскосельской веселой грешнице,
Что случится с жизнью твоей —
Как трехсотая, с передачею,
Под Крестами будешь стоять
И своей слезою горячею
Новогодний лед прожигать.
Там тюремный тополь качается,
И ни звука — а сколько там
Неповинных жизней кончается...

V

Семнадцать месяцев кричу,
Зову тебя домой,
Кидалась в ноги палачу,
Ты сын и ужас мой.
Все перепуталось навек,
И мне не разобрать
Теперь, кто зверь, кто человек,
И долго ль казни ждать.
И только пышные цветы,
И звон кадильный, и следы
Куда-то в никуда.
И прямо мне в глаза глядит
И скорой гибелью грозит
Огромная звезда.

VI

Легкие летят недели,
Что случилось, не пойму.
Как тебе, сынок, в тюрьму
Ночи белые глядели,
Как они опять глядят
Ястребиным жарким оком,
О твоем кресте высоком
И о смерти говорят.

1939

VII

ПРИГОВОР

И упало каменное слово
На мою еще живую грудь.
Ничего, ведь я была готова,
Справлюсь с этим как-нибудь.

У меня сегодня много дела:
Надо память до конца убить,
Надо, чтоб душа окаменела,
Надо снова научиться жить.

А не то... Горячий шелест лета,
Словно праздник за моим окном.
Я давно предчувствовала этот
Светлый день и опустелый дом.

Лето 1939

VIII

К СМЕРТИ

Ты все равно придешь — зачем же не теперь?
Я жду тебя — мне очень трудно.
Я потушила свет и отворила дверь
Тебе, такой простой и чудной.
Прими для этого какой угодно вид,
Ворвись отравленным снарядом
Иль с гирькой подкрадись, как опытный
бандит,

Иль отрави тифозным чадом.
Иль сказочкой, придуманной тобой
И всем до тошноты знакомой,—
Чтоб я увидела верх шапки голубой
И бледного от страха управдома.
Мне все равно теперь. Клубится Енисей,
Звезда Полярная сияет.
И синий блеск возлюбленных очей
Последний ужас застилает.

19 августа 1939

IX

Уже безумие крылом
Души накрыло половину,
И поит огненным вином
И манит в черную долину.

И поняла я, что ему
Должна я уступить победу,
Прислушиваясь к своему,
Уже как бы чужому бреду.

И не позволит ничего
Оно мне унести с собою
(Как ни упрашивать его
И как ни докучать мольбою):

Ни сына страшные глаза —
Окаменелое страданье,
Ни день, когда пришла гроза,
Ни час тюремного свиданья,

Ни милую прохладу рук,
Ни лип взволнованные тени,
Ни отдаленный легкий звук —
Слова последних утешений.

4 мая 1940

X

РАСПЯТИЕ

Не рыдай Мене, Мати,
во гробе сущу.

1

Хор ангелов великий час восславил,
И небеса расплавились в огне.
Отцу сказал: «Почто Меня оставил!»
А матери: «О, не рыдай Мене...»

2

Магдалина билась и рыдала,
Ученик любимый каменел,
А туда, где молча Мать стояла,
Так никто взглянуть и не посмел.

ЭПИЛОГ

1

Узнала я, как опадают лица,
Как из-под век выглядывает страх,
Как клинописи жесткие страницы
Страдание выводит на щеках,
Как локоны из пепельных и черных
Серебряными делаются вдруг,
Улыбка вянет на губах покорных,
И в сухоньком смешке дрожит испуг.
И я молюсь не о себе одной,
А обо всех, кто там стоял со мною
И в лютый холод, и в июльский зной
Под красною ослепшею стеною.

2

Опять поминальный приблизился час.
Я вижу, я слышу, я чувствую вас:
И ту, что едва до окна довели,
И ту, что родимой не топчет земли,
И ту, что красивой тряхнув головой,
Сказала: «Сюда прихожу, как домой!».

Хотелось бы всех поименно назвать,
Да отняли список, и негде узнать.
Для них соткала я широкий покров
Из бедных, у них же подслушанных слов.
О них вспоминаю всегда и везде,
О них не забуду и в новой беде,
И если зажмут мой измученный рот,
Которым кричит стомильонный народ,
Пусть так же они поминают меня
В канун моего погребального дня.
А если когда-нибудь в этой стране
Воздвигнуть задумают памятник мне,
Согласье на это даю торжество,
Но только с условьем — не ставить его
Ни около моря, где я родилась.
Последняя с морем разорвана связь,
Ни в царском саду у заветного пня,
Где тень безутешная ищет меня,
А здесь, где стояла я триста часов
И где для меня не открыли засов.
Затем, что и в смерти блаженной боюсь
Забыть громыханье черных марусь,
Забыть, как постылая хлюпала дверь
И выла старуха, как раненый зверь.
И пусть с неподвижных и бронзовых век,
Как слезы, струится подтаявший снег,
И голубь тюремный пусть гулит вдали,
И тихо идут по Неве корабли.

Март 1940
Фонтанный Дом



Наталья Крандиевская-Толстая

* * *

С севера — болота и леса,
С юга — степи, с запада — Карпаты,
Тусклая над морем полоса —
Балтики зловещие закаты.

А с востока — дали, дали, дали,
Зори, ветер, песни, облака,
Золото и сосны на Урале
И руды железная река.

Ходят в реках рыбы-исполины,
Рыщут в пущах злые кабаны,
Стонет в поле голос лебединый,
Дикий голос воли и весны.

Зреет в небе, зреет, словно колос,
Узкая медовая луна...
Помнит сердце, помнит! Укололось
Памятью на вечны времена.

Видно, не забыть уж мне до гроба
Этого хмельного пития,
Что испили мы с тобою оба,
Родина моя!

Декабрь 1920

* * *

Когда последнее настигло увяданье
И тень зловещая сокрыла милый свет,
Расцвел негаданно мой алый, вещий цвет,
Благоухает он — и нет ему названья.

Так, на развалинах, на каждом пепелище
Ведет к рассвету нас последняя печаль.
Благословенен час, когда земли не жаль,
Когда бесстрашен взлет души свободной,
нищей.

* * *

Проволочив гремучий хвост
Немало верст по курским шпалам,
Промчал наш поезд утром алым
Через Оку железный мост.

И в поле стал, на полустанке.
В купе — светло, а у окна —
Стеклянный голос коноплянки,
Заря, прохлада и весна...

Нет ни души. С реки доносит
Туманы ила и песков,
Да баба милостыню просит
С пучком убогих васильков.

Но, боже мой, каким ответом
И отзвуком единый раз
На бедном полустанке этом
Вся молодость моя зажглась!

Озноб зари, весны и счастья...
Там, в поле было суждено
Мне жизни первое причастье,
И не повтóрится оно!

9 октября 1921

* * *

Утратила я в смене дней
Мою простую радость жизни,
И прихоти души моей
Все безотрадней, все капризней.

Как помнить ваш певучий зов,
О легкой жизни впечатленья,
Бесцельной радости кипенье,
Очарованье пустяков!

Я их забыла. Труден путь.
Мой груз мне душу тяжко давит,
И мысль, мешая отдохнуть,
Моею жизнью ныне правит.

И тяжким шагом, не спеша,
Как труженик в толпе блаженной,
Проходит с ношею священной
Загроможденная душа.

ГАДАНЬЕ

Горит свеча. Ложатся карты.
Смущенных глаз не подниму.
Прижму, как мальчик древней Спарты,
Лисицу к сердцу моему.

Меж черных пик девяткой красной,
Упавшей дерзко с высоты,
Как запоздало, как напрасно
Моей судьбе предсказан ты!

На краткий миг, на миг единый
Скрестили карты два пути.
А путь наш длинный, длинный, длинный,
И жизнь торопит нас идти.

Чуть запылав, остынут угли,
И стороной пройдет гроза...
Зачем же вещё, как хоругви,
Четыре падают туза?

Июль 1921

* * *

Яблоко, протянутое Еве,
Было вкуса — меди, соли, желчи,
Запаха — земли и диких плевел,
Цвета — бузины и ягод волчьих.

Яд слюною пенной и зловонной
Рот обжег праматери, и новью
Побежал по жилам воспаленным,
И в обиде божьей назван — кровью.

Июль 1921

* * *

А я опять пишу о том,
О чем не говорят стихами,
О самом тайном и простом,
О том, чего боимся сами.

Судьба различна у стихов.
Мои обнажены до дрожи.
Они — как жалоба, как зов,
Они — как родинка на коже.

Но кто-то губы освежит
Моей неутоленной жаждой,
Пока живая жизнь дрожит,
Распята в этой строчке каждой.

1935—1938

* * *

Небо называют — голубым,
Солнце называют — золотым,

Время называют — невозвратным,
Море называют — необъятным,

Называют женщину — любимой,
Называют смерть — неотвратимой,

Называют истины — святыми,
Называют страсти — роковыми.

Как же мне любовь мою назвать,
Чтобы ничего не повторять?

1935—1938

* * *

Как песок между пальцев, уходит жизнь.
Дней осталось не так уж и много.
Поднимись на откос и постой, оглядись,—
Не твоя ль оборвалась дорога?

Равнодушный твой спутник идет впереди
И давно уже выпустил руку.
Хоть зови — не зови, хоть гляди — не гляди,
Каждый шаг ускоряет разлуку.

Что ж стоишь ты? Завыть, заскулить от тоски,
Как скулит перед смертью собака...
Или память, и сердце, и горло — в тиски
И шагать — до последнего мрака.

1935—1938

* * *

Нас потомки не осудят,
Не до нас потомкам будет.
Все понятным станет в мире,
Станет дважды два четыре.

В пепле прошлого не роясь,
К свету выйдя из потемок,
Затянув потуже пояс,
В дело ринется потомок.

Потому, что будет дела
Больше, чем рабочих дней,
И мишени для прицела
Будут ближе и точней.

Но, пожалуй, будет нечем
Тешить музы баловство.
Ей на ветреные плечи
Ляжет формул торжество.

И крыла с такою гирей
Ей, крылатой, не поднять.
Ей, грешившей в старом мире,
Так и чудится опять,
Что, быть может, не четыре —
Дважды два, а снова пять!

1938—1941

Рюрик Ивнев

* * *

О, этот странный, жгучий, вечный
Огонь таинственный в крови.
С какою болью бесконечной
Слежу за сумерками любви.

Они все жестче и все круче,
Они все упорней и все темней.
И вот сплошной тяжелой тучей
Над головой скользят моей.

Чего же ты смотришь, мой друг сердечный,
Улыбкой душу мне оживи.
С какою болью бесконечной
Слежу за сумерками любви.

Февраль 1921 г.

* * *

Жестокосердия палящий ветер, вей,
Кривой кинжал, кривой изгиб бровей.

Несись на парусах в страну Огня,
Где даже ночь светлей и ярче дня.

Где больше пепла, чем самой земли.
Но ты и там пощады не моли.

Сжигай себя на пламени любви
И прошлого напрасно не зови.
1922

* * *

Легче этого быть не может.
Все проходит. Луна и чума.
Так проходит ветер по коже,
Так проходит любовь сама,

Я смотрю на нее, как на поезд,
Удаляющийся от меня.
Ах, теперь все совсем другое.
Ночь и белая пряжа дня.

Может быть, и душа отлетела,
Но, как видно, на смену ей
Точно кожица зарозовела
Другая — еще нежней.

1923

КАК РАЗБОЙНИК

Как разбойник на большой дороге,
Я в чужой вмешался разговор.
Он — в смятенни, она — в тревоге,
У обоих — затемненный взор.

Я сказал: и я когда-то спорил,
С той же силой, как и вы, любил.
Дайте мне скорее ваше горе,
Чтобы я о собственном забыл...

Но они не отвечали оба,
Будто и не видели меня,
Мне казалось — я иду за гробом
Золотом пронизанного дня.

1925

В ПУТИ

Я шел и полз. Всего мне было мало,
Глазами все хотелось зачерпнуть —
И хризолит безмолвного Байкала,
И ручейков серебряную ртуть.

Как тешится порой судьба над нами,
Я все забыл за несколько минут
И всматривался жадными глазами
В Иркутск, запеленованный снегами,
И в Ангары кипящий изумруд.

1928

МНОГОЭТАЖНЫЕ ДОМА

Мы все — многоэтажные дома,
Есть среди нас немало и высотных.
Но как уйти, не приложу ума,
От призраков эпохи допотопной.

И бродит наша мысль по этажам,
Знакомым нам и все же незнакомым,
Спокойно, просто, но порой дрожа
От ощущенья, что у нас нет дома.

Нет, мы скорее тени всех домов,
Вернее, слепок их миниатюрный.
В них столько же площадок и замков
И столько же желаний безрассудных.

Вот почему, бродя по этажам,
Своих дверей мы разыскать не можем
И, радостью своей не дорожа,
Как пес голодный, кость покоя гложем.

Хотя мы держим хаос на цепи,
Многопудовым придавив молчаньем,
Но он, как ветер в выжженной степи.
Не покидает нашего сознанья.

1931

* * *

Не посещай сгоревших очагов,
Не спрашивай о прошлом первых встречных.
Там, где ты бродишь, нет уже снегов,
Раскинутых в просторах бесконечных.

Что «все пройдет», известно с давних пор,
И все же память каждый лист тревожит.
И все-таки видений ищет взор,
Которых нет и в жизни быть не может.

1937



Осип Мандельштам

* * *

Я слово позабыл, что я хотел сказать,
Слепая ласточка в чертог теней вернется,
На крыльях срезанных, с прозрачными играть.
В беспамятстве ночная песнь поется.

Не слышно птиц. Бессмертник не цветет.
Прозрачны гривы табуна ночного.
В сухой реке пустой челнок плывет.
Среди кузнечиков беспамятствует слово.

И медленно растет, как бы шатер иль храм,
То вдруг прикинется безумной Антигоной,
То мертвой ласточкой бросается к ногам,
С стигийской нежностью и веткою зеленой.

О, если бы вернуть и зрячих пальцев стыд,
И выпуклую радость узнаванья.
Я так боюсь рыданья аонид,
Тумана, звона и зиянья!

А смертным власть дана любить и узнавать,
Для них и звук в персты прольется,
Но я забыл, что я хочу сказать,—
И мысль бесплотная в чертог теней вернется.

Все не о том прозрачная твердит,
Все ласточка, подружка, Антигона...
А на губах, как черный лед, горит
Стигийского воспоминанье звона.

1920

* * *

Умывался ночью на дворе,—
Твердь сияла грубыми звездами.
Звездный луч — как соль на топоре,
Стынет бочка с полными краями.

На замок закрыты ворота,
И земля по совести сурова,—
Чище правды свежего холста
Вряд ли где отыщется основа.

Тает в бочке, словно соль, звезда,
И вода студеная чернее,
Чище смерть, соленее беда,
И земля правдивей и страшнее.

1921

ВЕК

Век мой, зверь мой, кто сумеет
Заглянуть в твои зрачки
И своею кровью склеит
Двух столетий позвонки?
Кровь-строительница хлещет
Горлом из земных вещей,
Захребетник лишь трепещет
На пороге новых дней.

Тварь, покуда жизнь хватает,
Донести хребет должна,
И невидимым играет
Позвоночником волна.
Словно нежный хрящ ребенка,
Век младенческий земли.
Снова в жертву, как ягненка,
Темя жизни принесли.

Чтобы вырвать век из плена,
Чтобы новый мир начать,
Узловатых дней колена
Нужно флейтою связать.
Это век волну колышет
Человеческой тоской,
И в траве гадюка дышит
Мерой века золотой.

И еще набухнут почки,
Брызнет зелени побег,
Но разбит твой позвоночник,
Мой прекрасный жалкий век!
И с бессмысленной улыбкой
Вспять глядишь, жесток и слаб,
Словно зверь, когда-то гибкий,
На следы своих же лап.

Кровь-строительница хлещет
Горлом из земных вещей
И горящей рыбой мещет
В берег теплый хрящ морей,
И с высокой сетки птичьей,
От лазурных влажных глыб
Льется, льется безразличье
На смертельный твой ушиб.

1922

* * *

Нет, никогда, ничей я не был современник,
Мне не с руки почет такой.
О, как противен мне какой-то соименник,
То был не я, то был другой.

Два сонных яблока у века-властелина
И глиняный прекрасный рот,
Но к млеющей руке стареющего сына
Он, умирая, припадет.

Я с веком поднимал болезненные веки —
Два сонных яблока больших,
И мне гремучие рассказывали реки
Ход воспаленных тяжб людских.

Сто лет тому назад подушками белела
Складная легкая постель,
И странно вытянулось глиняное тело,—
Кончался века первый хмель.

Среди скрипучего похода мирового
Какая легкая кровать!
Ну что же, если нам не выковать другого,
Давайте с веком вековать.

И в жаркой комнате, в кибитке и в палатке
Век умирает, а потом
Два сонных яблока на роговой облатке
Сияют перистым огнем.

1924

* * *

Я вернулся в мой город, знакомый до слез,
До прожилок, до детских припухлых желез.

Ты вернулся сюда, так глотай же скорей
Рыбий жир ленинградских речных фонарей

Узнавай же скорее декабрьский денек,
Где к зловещему дегтю подмешан желток.

Петербург, я еще не хочу умирать:
У тебя телефонов моих номера.

Петербург, у меня еще есть адреса,
По которым найду мертвецов голоса.

Я на лестнице черной живу, и в висок
Ударяет мне вырванный с мясом звонок

И всю ночь напролет жду гостей дорогих,
Шевеля кандалами цепочек дверных.

Декабрь 1930

* * *

За гремучую доблесть грядущих веков,
За высокое племя людей
Я лишился и чаши на пире отцов,
И веселья, и чести своей.

Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей,
Запихай меня лучше, как шапку, в рукав
Жаркой шубы сибирских степей.

Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы,
Ни кровавых костей в колесе,
Чтоб сияли всю ночь голубые песцы
Мне в своей первобытной красе,

Уведи меня в ночь, где течет Енисей
И сосна до звезды достает,
Потому что не волк я по крови своей
И меня только равный убьет.

17—28 марта 1931

* * *

О, как мы любим лицемерить
И забываем без труда
То, что мы в детстве ближе к смерти,
Чем в наши зрелые года.

Еще обиду тянет с блюдца
Невыспавшееся дитя,
А мне уж не на кого дуться,
И я один на всех путях.

Февраль 1932

* * *

Как подарок запоздалый
Ощутима мной зима,
Я люблю ее сначала
Неуверенный размах.

Хороша она испугом,
Как начало грозных дел.
Перед всем безлесным кругом
Даже ворон оробел.

Но сильней всего непрочно —
Выпуклых голубизна.
Полукруглый лед височный
Речек, бающих без сна...

29—30 декабря 1936

* * *

В лицо морозу я гляжу один,
Он — никуда, я — ниоткуда,
И все утюжится, плоится без морщин
Равнины дышащее чудо.

А солнце щурится в крахмальной нищете,
Его прищур спокоен и утешен,
Десятизначные леса — почти что те...
И снег хрустит в глазах, как чистый хлеб,
безгрешен.

16 января 1937

* * *

Еще не умер ты, еще ты не один,
Покуда с нищенкой-подругой
Ты наслаждаешься величием равнин,
И мглой, и холодом, и вьюгой.

В роскошной бедности, в могучей нищете
Живи спокоен и утешен,—
Благословенны дни и ночи те,
И сладкогласный труд безгрешен.

Несчастлив тот, кого, как тень его,
Пугает лай и ветер косит,
И беден тот, кто, сам полуживой,
У тени милостыню просит.

15—16 января 1937

* * *

Я к губам подношу эту зелень —
Эту клейкую клятву листов,
Эту клятвопреступную землю:
Мать подснежников, кленов, дубков.

Погляди, как я крепну и слепну,
Подчиняясь смиренным корням;
И не слишком ли великолепно
От гремучего парка глазам?

А квакуши, как шарики ртути,
Голосами сцепляются в шар,
И становятся ветками прутья
И молочною выдумкой пар.

30 апреля 1937

* * *

Есть женщины, сырой земле родные.
И каждый шаг их — гулкое рыданье.
Сопровождать воскресших и впервые
Приветствовать умерших — их призванье.
И ласки требовать от них преступно,
И расставаться с ними непосильно.
Сегодня — ангел, завтра — червь могильный,
А послезавтра — только очертанье.
Что было поступь — станет недоступно.
Цветы бессмертны. Небо целокупно.
И то, что будет,— только обещанье.

4 мая 1937



Сергей Городецкий

НЕ БЕЛЫ СНЕГИ

СЫТОМУ

В час, когда огни потушат
Там, где сытые поели,
Ты послушай, ты послушай
Голоса ночной метели.

Вот вскрутился снежный вихорь
И упал плашмя в сугробы —
Смертью белой, смертью тихой,
Как на Волге люд безгробый.

Посмотри: рукой страдальцев
Ветер шарит в каждой яме
И бессчетных белых пальцев
Гнет концы под колеями.

Ищут, ищут, всюду ищут,
Волжским ветром камень режут,
Хоть какую-нибудь пищу,
Хоть какую-нибудь е́жу.

Вот упали безнадежно —
Хоть последний стон послушай!
Вот утихли в буре снежной,
В белых далях равнодушья.

Льдинки колются в метели,
Как соломы мерзлой остья.
Вьюга мелет, мучкой стелет
Человеческие кости.

И опять, намчавшись тучей,
С гневным плачем вьюга машет
Сотней судорожных ручек,
Детских, тонких, с Волги нашей.

И зовет, зовет... Ты слышишь?
И стучится в окна долго,
И стучится тщетно в крыши
Горем Волги, всею Волгой.

Ты послушай, ты послушай,—
Смерть людьми повсюду стелет,—
Может быть, твой сон нарушат
Голоса ночной метели.

1922

ПОЛНОЧЬ

Какая осенняя ночь,
Какая полночная осень!
Все это уж было давно.
И так же был сумрак несносен.

И так же кричал на камнях
Ребенок, голодный, холодный,
Из судорог страшного дня
Заброшенный в мрак безысходный.

И так же сквозь девичий смех
По скверам гнусавила похоть.
И так же легко было тьме,
И так же, и так же мне плохо.

И те же вбивали часы
Двенадцать ударов
В пожары созвездий косых,
В огонь этих дальних пожаров.

Но гневно простерлась у стен
Могила того великана,
Который грозой проблестел
И в славу бессмертную канул.

И пела со стоном стена
Не рабскую песню «Коль славен» —
Свободный «Интернационал»,—
Тревожа полуночный саван.

И слышал призыв великан:
«Вставай!» И цветы на кургане
Дыханьем своим колыхал.
«Я встану,— шептал он.— Мы встанем».

1922

* * *

Отдыхай всей грудью,
Смотри в этот сумрак,
Слушай эту ночь!
Что было — не будет.
Тому, что ты умер,
Ничем не помочь.

Утро из сумерек,
Радость нз бедствнй,
Из чернозема рожь —
Не только ты умер,
Но ты н воскрес ведь,
И новым живешь.

1929

ЛАНДЫШ

О чем вы шепчетесь, кусты?
О бездне синей высоты?
О сумраке у ног свонх,
Где ландыш беленькнй прнтнх?

Уже томит его жара,
И умнрать ему пора.
А лето только подошло,
Развеяв первое тепло.

Печален, кроток и красив,
Сухие чашечки склонив,
Последний раз он прозвенит,
Последний раз он опьянит

Вечерний воздух, и земля
Поглотит жемчуг со стебля
В грудь ненасытную свою,
А я ей песенку спою.

Она дала, она взяла.
Она сплела в один венок
И сладость первого тепла,
И смерти горький холодок.

13 июня 1937



Николай Клюев

* * *

Братья, мы забыли подснежник,
На проталинке снегиря,
Непролазный, мертвый валежник
Прославляют поэты зря!

Хороши заводские трубы,
Многохоботный маховик,
Но всевластней отрочьи губы,
Где живет исступленья крик.

Но победней юноши пятка,
Рощи глаз, где лешачий дед.
Ненавистна борцу лампадка,
Филаретовских риз глазет!

Полюбить гудки, кривошипы —
Снегиря и травку презреть...
Осыпают церковные липы
Листопадную рыжую медь.

И на сердце свеча и просфорка,
Бересклет, где щебечет снегирь.
Есть Купало и Красная горка,
Сыропустная блинная ширь.

Есть Россия в багдадском монисто,
С бедуинским изломом бровей...
Мы забыли про цветик душистый
На груди колыбельных полей.

1920

* * *

Свет неприкосновенный, свет неприступный
Опочил на родной земле...
Уродился ячмень звездистый и крупный,
Румяный картофель пляшет в котле.

Облизан горшок белокурым Васяткой,
В нем прыгает белка — лесной солнцепек,
И пленники — грызь, маета с лихорадкой
Завязаны в бабкин заклятый платок.

Не кашляет хворь на счастливых задворках,
Пуста караулка, и умер затвор.
Чтоб сумерки выткать, в алмазных оборках
Уселась заря на пуховый бугор.

Покинула гроб долгожданная мама,
В улыбке — предвечность, напевы в перстах...
Треух — у тунгуза, у бура — панама,
Но брезжит одно в просветленных зрачках:

Повыковать плуг — сошники Гималаи,
Чтоб чрево земное до ада вспахать,
Леха за Олонцем, оглобли в Китае,
То свет неприступный — бессмертья печать.

Васятку в луче с духовидицей-печкой,
Я ведаю, минет карающий плуг,
Чтоб взрóстил не меч с сарацинской насечкой —
Удобренный ранами песенный луг.

1921

ГИТАРНАЯ

Вырастает и на теле лебеда,
С невидимкой шепелявя и шурша,
Это чалая колдунья-борода —
Знак, что вызрела полосынька-душа,

Что, как брага, яры сопки в бороздах,
Ярче просини улыбок васильки...
Говорят, Купало пляшет в бородах,
А в моей гнездятся вороны тоски.

Грают темные: «Подруга седина,
Допрядай мою печальную кудель!
Уж как нашему хозяину жена
В новой горнице сготовила постель».

За оконцем, оступаясь и ворча,
Бродит с заступом могильщик-нелюдим...
Тих мой угол и лежанка горяча,
Старый Васька покумился с домовым.

Неудача верезжит глухой беде:
«Будь, сестрица, с вороньем настороже...»
Глянь, слезинка расцвела на бороде —
Василек на жаворонковой меже!

1925

КОРАБЕЛЬЩИКИ

Мы корабельщики-поэты,
В водовороты влюблены,
Стремим на шквалы и кометы
Неукротимые челны.

И у руля, презрев пучины,
Мы атлантическим стихом
Перед избушкой две рябины
За вьюгою не воспоем.

Что́ романтические ямбы —
Осиный гуд бумажных сот,
Когда у крепкогрудой дамбы
Орет к отплытью пароход!

Познав веселье парохода
Баюкать песни и тюки,
Мы жаждем львиного приплода
От поэтической строки.

Напевный лев (он в черной хмаре)
Взревет с пылающих страниц —
О том, как русский пролетарий
Взнуздал багряных кобылиц,

Как убаюкал на ладони
Грозовый Ленин боль земли,
Чтоб ослепительные кони
Луга беззимние нашли,—

Там, как стихи, павлиноцветы,
Гремучий лютик, звездный зев...
Мы — китобойцы и поэты —
Взбурлили парусом напев.

И, вея кедром, росным пухом
На скрип словесного руля,
Поводит мамонтовым ухом
Недоуменная земля!

1927 (?)

* * *

Вернуться с оленьего извоза,
С бубенцами, с пургой в рукавицах,
К печным солодовым грозам,
К ржаным и щаным зарницам.

К черемухе белой — женке,
К дитяти — свежей поляны.
Овчинные жаворонки
Поют, горласты и рьяны.

За трапезой гость пречудный —
Сермяжное солнце в крыльях...
Почил перезвон погудный
На Прохорах и Васильях.

С того ль у Маланьи груди
Брыкасты, как оленята?
В лапотном лыковом гуде
Есть мед и мучная сата.

Вскисайте же, хлебные недра —
Микуловы отчие жилы!
Потемки и прозелень кедра
Зареют в зрачках у Вавилы.

И крыльями плещет София —
Орлица запечных ущелий,
То вещая пряха — Россия
Прядет бубенцы и метели.

1928

* * *

Когда осыпаются липы
В раскосый и рыжий закат,
И кличет хозяйка «цып, цыпы»
Осенних зобастых курят,
На грядках лысато и пусто,
Вдовеет в полях борозда,
Лишь пузом упругим капуста,
Как баба обновкой, горда.
Ненастна воронья губернья,
Ущербные листья — гроши.
Тогда предстают непомерней
Глухие проселки души.
Мерещится странником голос,
Под вьюгой, без верной клюки,
И сердце в слезах раскололось
Дуплистой ветлой у реки.
Ненастье и косит, и губит
На кляче ребрастой верхом,
И в дедовском кондовом срубе
Беда покумилась с котом.
Кошачье «мяу» в половицах,
Простужена старая печь.
В былое ли внуку укрыться
Иль в новое мышкой утечь?!
Там лета грозóвые кони,
Тучны золотые овсы...
Согреть бы, как душу, ладони
Пожаром девичьей косы.

Между 1929 и 1932 (?)

* * *

Недоуменно не кори,
Что мало радио-зари
В моих стихах — бетона, гаек,
Что о мужицком хлебном рае
Я нудным оводом бубню

Иль костромским сосновым звоном!
Как перст священному огню,
Я отдал дедовским иконам
Поклон до печени земной,
Микула с мудрою сохой,
И надломил утесом шею.

Без весен и цветов коснея,
Скатилась долу голова,—
На языке плакун-трава,
В глазницах воск да росный ладан.
Греховным миром не разгадан,
Я цепенел каменнокрыло
Меж поцелуем и могилой,
В разлуке с яблонною плотью.
Вдруг потянуло вешней сотью!
Не Гавриил ли с горней розой?..
Ты прыгнул с клеверного воза,
Борьбой и молодостью пьян,
В мою татарщину, в бурьян,
И молотом разбил известку,—
К губам поднес, как чашу, горстку
И солнцем напоил меня
Свежее вымени веприцы!
Воспрянули мои страницы
Ретивей дикого коня.
В них ржанье, бешеные гривы,
Дух жатвы и цветущей сливы!

Сбежала темная вода
С моих ресниц коростой льда;
Они скрежещут, злые льдины,
И, извергаясь в котловины
Забвения, ири́сы режут,
Протальники — дары апреля!..
Но ты поставил дружбы вежу
Вдали от вероломных мелей,
От мглистых призраков трясин.
Пусть тростники мои седины,
Как речку, юность окаймляют,
Плывя по розовому маю,
Причалит сердце к октябрю,
В кленовый яхонт и зарю,
И пеклеванным Гималаям
Отдаст любовь с мужицким раем,

С олонецким озерным звоном,
С плакучим ивовым поклоном,
За клеверный румяный воз,
За черноземный плеск борозд.
О, берега России, сказки,
Без серой заячьей опаски,
Что василек забудет стог
За пылью будней и дорог!

Между 1930 и 1933

ПОГОРЕЛЬЩИНА

Наша деревня — Сиго́вый Лоб
Стоит у лесных и озерных троп,
Где губы морские, олень да остяк,
На тысячу верст ягелевый желтяк.
Сиго́вец же — ярь и сосновая зель,
Где слушают зори медвежью свирель,
Как рыбья чешуйка, свирель та легка,
Баюкает сказку и сны рыбака.
За неводом сон — лебединый затон,
Там яйца в пуху и кувшинковый звон,
Лосиная шерсть у совихи в дупле,
Туда-то плыву я на певчем весле!

Порато баско весной в Сиговце,
По белым избам на рыбьем солнце!
А рыбье солнце — налимья майка,
Его заманит в чулан хозяйка,
Лишь дверью стукнет — оно на прялке
И с веретенцем играет в салки.
Арина-баба на пряжу дюжа,
Соткет из солнца порты для мужа,
По ткани свекор, чтоб песне длиться,
Доской резною набьет копытца,
Опосле репки, следцы гагарьи...
Набойки хватит Олехе, Дарье,
На новоселье и на поминки...
У наших девок пестры ширинки,
У Степаниды, веселой Насти
В коклюшках кони живых брыкастей,
Золотогривы, огнекопытны,
Пьют дым плетеный и зоблют ситный.

У Прони скатерть синей Онега —
По зыби едет луны телега,
Кит-рыба плещет, и яро в нем
Пророк Иона грозит крестом.

Резчик Олеха — лесное чудо,
Глаза — два гуся, надгубье рудо,
Повысек птицу с лицом девичьим,
Уста закляты потайным кличем.
Когда Олеха тесал долотцем
Сосцы у птицы, прошел Сиговцем
Медведь матерый, на шее грива,
В зубах же книга, злата и дивна.
Заполовели у древа щеки,
И голос хлябкий, как плеск осоки,
Резчик учуял: «Я — Алконост,
Из глаз гусиных напьюся слез!»

Иконник Павел — насельник давний
Из Мстер великих, отец Дубравне,
Так кличет радость язык рыбачий...
У Павла ощупь и глаз нерпячий —
Как нерпе сельди во мгле соленой,
Так духовидцу обряд иконный.
Бакан и умбра, лазорь с синелью
Сорочьей лапкой цветут под елью,
Червлец, зарянку, огонь купинный
По косогорам прядут рябины.
Доска от сердца сосны кондовой —
Иконописцу как сот медовый,
Кадит фиалкой, и дух лесной
В сосновых жилах гудит пчелой.

Явленье Иконы — прилет журавля,—
Едва прозвенит жаворонком щемля,
Смиренному Павлу в персты и в зрачки
Слетятся с павлинами радуг полки,
Чтоб в роще ресниц, в лукоморьях ногтей,
Повывесть птенцов — голубых лебедей,—
Их плески и трубы с лазурным пером
Слывут по Сиговцу «долничным письмом».
«Видение лица» богомазы берут
То с хвойных потемок, где теплится трут,
То с глуби озер, где ткачиха-луна
За кросном янтарным грустит у окна.

Егорию с селезня пишется конь,
Миколе — с крещатого клена фелонь,
Успение — с перышек горлиц в дупле,
Когда молотьба и покой на селе.
Распятие — с редьки: как гвозди креста,
Так редечный сок опаляет уста.
Но краше и трепетней зографу зреть
На птичьих загонах гусиную сеть,
Лукавые морды и петли ремней
Для тысячи белых кувшинковых шей.
То образ Суда, и метелица крыл —
Тень мира сего от сосцов до могил.
Студеная Кола, Поволжье и Дон
Тверды не железом, а воском икон.
Гончарное дело прехитро зело,
Им славятся Вятка, Опошня село;
Цветет Украина румяным горшком,
А Вятка куганом, ребячьим коньком.
Сиговец же Аидому знает реку,
Там в крынках кукушка ку-ку да ку-ку,
Журавль-рукомойник курлы да курлы,
И по сту годов доможирят котлы...

Сиговому Лбу похвала — Силиверст,
Он вылепил Спаса на Лопский погост,
Украсил сурьмой и в печище обжег,
Суров и прекрасен глазуревый Бог.
На Лопский погост (лопари, а не чудь)
Укажут куницы да рябчики путь;
Не ешь лососины и с бабой не спи,
Берестяный пестер молитв накопи,
Волвянок-Варвар, Богородиц-груздей,
Пройдут в синих саванах девять ночей,
Десятые звезды пойдут на потух,
И Лопский погост — многоглавый петух —
На кедровом гребне воздымет кресты:
Есть Спасову печень сподобишься ты.
О русская сладость — разбойника вопь —
Идти к красоте через дебри и топь
И пестер болячек, заноз, волдырей
Со стоном свалить у Христовых лаптей!
О мед нестерпимый — колодовый гроб,
Где лебедя сон — изголовьице сноп,
Под крылышком грамота: «Чадца мои,
Не ешьте себя ни в нощи, ни во дни!»

* * *

Порато баско зимой в Сиговце!
Снега как шапка на устьсысольце,
Леса — тулупы, предлесья — ноги,
Где пар медвежий да лосьи логи,
По шапке вьются пути-сузёмки,
По ним лишь думу нести в котомке
От мхов оленьих до кипарисов...
Отец «Ответов» Андрей Денисов
И трость живая — Иван Филиппов
Сузёмок пили, как пчелы липы.
Их черным медом пьяны доселе
По холмогорским лугам свирели,
По сизой Выге, по Енисею
Седые кедры их дыхом веют...
Но вспять сказанье! Зимой в Сиговце
Помор за сетью, ткея за донцем,
Петух на жердке дозорит беса,
И снежный ангел кадит у леса.
То киноварный, то можжевельный,
Лучась в потемках свечой радельной.
И длится сказка... Часы иль годы?
Могучей жизни цветисты всходы.
За бородищей незрим Васятка.
Сегодня в зыбке, а завтра — нать-ка! —
Кудрявый парень, береста — зубы,
Плечистым дядям племянник любый!
Изба — криница без дна и выси,
Семью питает сосцами рыси,
Поет ли бахарь, орда ли мчится,
Звериным пойлом полна криница...
Извечно мерно скрипит черпуга,
Душа кукует, иль ноет вьюга,
Но сладко, сладко к сосцам родимым
Припасть и плакать по долгим зимам!

Не белы снеги да сугробы
Замели пути до зазнобы,
Ни проехать, ни пройти по проселку
Во Настасьину хрустальную светелку!
Как у Настеньки женихов
Было сорок сороков,
У Романовны сарафанов —
Сколько у моря туманов!..

Виноградье мое со калиною,
Выпускай из рукава стаю лебединую!

Уж как лебеди на Дунай-реке,
А свет-Настенька на белой доске.
Не оструганной, не отесанной,
Наготу свою застит косами!
Виноградье мое, виноградьице,
Где зазнобино цветно платьице?

Цветно платье с аксамитами
Ковылем шумит под ракитами!

На раките зозулит зозуля:
«Как при батыре-есауле...»
Ты, зозуля, не щеми печенки
У гнусавой каторжной девчонки!
Я без чести, без креста, без мамы,
В Звенигороде иль у Камы
Напилась с поганого копытца.
Мне во злат шатер не воротиться!
Ни при батыре-есауле,
Ни по осени, ни в июле,
Ни на Мезени, ни в Коломне,
А и где, с опитухи не помню,
А звалася свет-Анастасией!..
Вот так песня, словеса лихие,
Кто пропел ее в голубый вечер
На дремотном веретенном вече?!

И сказал Олеха: «Это ели
Стать смолистым срубом захотели,
Или сосны у лесной часовни
Запряглися в ледяные дровни,
Чтоб бежать от самоедской стужи,
Заглядеться в водопой верблюжий!»
«Нет,— сказала кружевница Проня,—
Это кони в петельной погоне
Расплескали бубенцы в коклюшках,
Или в рукомойнике кукушка
Нагадала свадьбу Дорофею!»
«Знать, прогукал филин к снеговею,—
Молвил свекор,— или гусь с набойки
Посулил леща глазастой сойке!»

Снлнверст пробаял: «То в гончарной
Стало рябому котлу угарно,
Он н стоиет, прасол нетверезый!..»
Светлый Павел, утирая слезы,
Оброиил из уст словесный бисер:
«Чадца, теля не от нашей рыси,
Стала ялова праматерь на удои,
Завывают избы волчьим воем,
И с нконы ускакал Егорий —
На божнице змий да сине море!..»

Неусыпающую в молнтвах Богороднцу
Кличьте, детушки, за застолицу!

«Обрадоваиное Небо —
К Тебе озера с потребой!
Сладкое Лобзание —
До Тебя их рыдание!
Неопалимая Купина —
В чем народная вина?
Утолн Моя Печали —
Стань березкой на протале!
Умягченне Злых Сердец —
Сядь за теплый колобец!
Споручнница Грешных —
Спасн от мук кромешных!»

Гляньте, детушки, на стол —
Он стоит чумаз и гол;
Нету Богородицы
У пустой застолицы!

Вы покличьте-ка, домочадцы,
На Сиговец к студеному долу
Парусов и рыбарей братца,
Святнтеля теплого — Миколу!
Он, кормилец, в ризе сермяжной.
Радн песни младеня в зыбке,
Откушает некуражно
Янтарной ухи да рыбкн!
«Парусов погонщик Миколае,
Объявился змий в родимом крае,
Вороти Егорья на икону—
Избяного рая оборону!

Красной ложкой похлебай ушицы,
Мы тебе подарим рукавицы
И на ноженьки оленьи пимы...
Свете Тихий, Свет Незаходимый!
Русский сад — мужики да бабы,
От Норвеги и до смуглой Лабы
Принесем тебе морошки, яблок...
Ты воспой, наш сладковейный зяблик!

Правило веры и образ кротости,
Не забудь соборной волости:
В зимы у нас баско —
Деды бают сказки,
Как потемок скрыни,
Сарафаны сини,
Шубы долгоклинны,
Лестовицы чинны!
По моленным нашим
Чирии да Парамшин,
И персты Рублева —
Словно цвет вербовый!
По зеленым веснам
Прилетает к соснам
На отцов могилы
Сирин песнокрылый.
Он, что юный розан,
По Сиговцу прозван
Братцем виноградным,
В горестях усладным!

Ти-ли, ти-ли-ли —
Плывут корабли —
Голубые паруса
Напрямки во небеса.
У реки животной
Берег позолотный,
Воды-маргариты
Праведным открыты.
Кто во гробик ляжет
Бледной, лунной пряжей,
Тот спрядется Богом
Радости залогом!
Гробик, ты мой гробик,
Вековечный домик,

А песок желтяный —
Суженый, желанный!»
Гляньте, детушки, на стол —
Змий хвостом ушицу смел!..
Адский пламень по углам —
Не пришел Микола к нам!

* * *

Увы, увы, раю прекрасный!..
Февраль рассыпал бисер рясный,
Когда в Сиговец, златно-бел,
Двуликий Сирин прилетел.
Он сел на кедровой вершине,
Она заплакана поныне,
И долго-долго озирал
Лесов дремучий перевал.
Истаевая, сладко он
Воспел: «Кирие елейсон!»
Напружилось лесное недро,
И, как на блюде, вместе с кедром
В сапфир, черемуху и лен
Певец чудесный вознесен.

В тот год уснул навеки Павел.
Он сердце в краски переплавил
И написал икону нам:
Тысячестолпный дивный храм,
И на престоле из смарагда,
Как гроздь в точиле винограда,
Усекновенная глава.
Вдали же никлые березы
И журавлиные обозы,
Ромашка и плакун-трава.
Еще не гукала сова,
И тетерев по талой зорьке
Клевал пестрец да ягель горький,
Еще медведь на водопое
Гляделся в зеркальце лесное
И прихорашивался втай —
Стоял лопарский сизый май,
Когда на рыбьем перегоне
В лучах озерных, легче сонний,

Как в чаше запоны опал,
Олеха старцев увидал.
Их было двое светлых братий,
Один Зосим, другой Савватий,
В перстах златые кацеи...
Стал огнен парус у ладьи
И невода многоочиты,
Когда, сиянием повиты,
В нее вошли озер Отцы:
«Мы покидаем Соловцы,
О человече Алексие!
Вези нас в горнюю Россию,
Где Богородица и Спас
Чертог украсили для нас!»
Не стало резчика Олехи...
Едва забрезжили сполохи,
Пошла гагара наутек,
Заржал в коклюшках горбунок,
Как будто годовалый волк
Прокрался в лен и нежный шелк.
Лампадка теплилась в светелке,
И за мудреною иголкой
Приснился Проне смертный сон:
Сиговец змием полонен,
И нет подойника, ушата,
Где б не гнездился змеята.
На бабьих шеях, люто злы,
Шипят змеиные узлы,
Повсюду посвисты и жала,
И на погосте кровью алой
Заплакал глиняный Христос...
Отколе взялся Алконост,
Что хитро вырезан Алешей?
«Я за тобою по пороше!
Летим, сестрица, налегке
К льняной и шелковой реке!»
Не стало кружевницы Прони...
С коклюшек ускакали кони,
Лишь златогривый горбунок
За печкой выискал клубок,
Его брыкает в сутеменки...
А в горенке по самогонке
Тальянка гиблая орет —
Хозяев новых обиход.

* * *

Степенный свекор с Силиверстом
Срубили келью за погостом,
Где храм о двадцати главах,
В нем Спас в глазуревых лаптях.
Который месяц точит глина,
Как иней ягодный крушина,
Из голубой поливы глаз
Кровавый бисер и топаз,
Чудно, болезно мужичью
За жизнь суровую свою,
Как землянику в кузовок,
Сбирать слезинки с Божьих щек!

Так жили братья. Всякий день,
Едва раскинет сутемень
Свой чум у таежных полян,
В лесную келью сквозь туман
Сорока грамотку носила.
Была она четверокрыла,
И, полюбив налимье сало,
У свекра в бороде искала.
Уж не один полет воочью
Сильверст за пазухой сорочьей
Худые вести находил,
Писал их столпник, старец Нил.
Он на прибрежии Онега
Построил столп из льда и снега,
Покрыл его дерном, берестой,
И тридцать лет стоит невестой
Пустынных чаек, облаков
И серых беличьих лесов...
Их немота родила были,
Что белки столпника кормили.
Он, по-мирскому, стольный князь —
Как чешуей озерный язь,
Так ослеплял служилым златом
Любимец царские палаты.
Но сгибло все; Нил на столпе —
Свеча на таежной тропе,
В свое дупло, как хризопраз,
Его укрыл звериный Спас!

* * *

Однажды птица прилетела
Понурою, отяжелелой
И не клевала творожку.
Сильверст желанную строку
У ней под крылышком сыскал.
«Готовьтесь к смерти».— Нил писал.
Ударили в било поспешно...
И, как опалый цвет черешни,
На новоселье двух смертей
Слетелись выводки гусей;
Тетерева и куропатки,
Свистя крылами, без оглядки
На звон завихрились из пущ...
И молвил свекор: «Всемогущ,
Кто плачет кровию за тварь!
Отменно знатной будет гарь;
Недаром лоси ломят роги,
Медведи, кинувши берлоги,
С котятами рябая рысь
Вкруг нашей церкви собрались...
Простите, детушки, убогих!
Мы в невозвратные дороги
Одели новое рядно...
Глядят в небесное окно
На нас Аввакум, Феодосий...
Мы вас, болезные, не бросим,
С докукою пойдем ко Власу,
Чтоб дал лебедушкам атласу,
А рыси выбойки рябой!..
Живите ладно меж собой.
Вы, лоси, не бодайтесь больно,
Медведихе — княгине стольной
От нас в особицу поклон,
Ей на помин овса суслон,
Стоит он, миленький, в сторонке...
Тетеркам пестрым по иконке —
На них кровоточивый Спас,
Пускай помолится за нас!»

«Ныне отпущаеши раба Твоего.
Владыко»,—
Воспела в горести великой
На человечьем языке
Вся тварь вблизи и вдалеке.

Когда же церковь-купина
Заполыхала до вершины,
Настала в дебрях тишина
И затаили плеск осины.
Но вот разверзлись купола,
И въявь из маковицы главной
На облак белизны купавной
Честная двоица взошла,
За нею трудница-сорока
С хвостом лазоревым, в тороках...
Все трое метятся писцом
Горящей птицей и крестом.

Не стало деда с Силиверстом...
С зарей над сгибнувшим погостом,
Рыдая, солнышко взошло
И по-над речью, по-над логом
Оленем сивым, хромоногим
Заковыляло на село.
Несло валежником от суши,
Глухою хмарой от болот,
По горенкам и повалушам
Слонялся человечий сброд.
И на лугу перед моленной,
Сияя славою нетленной,
Икон горящая скирда:
В окне Мокробородый Спас,
Успение, коровий Влас...
Се предреченная звезда,
Что в карих сумерках всегда
Кукушкой окликала нас!

Да молчит всякая плоть человеча...
Уснул, аки лев,
Великий Сиг!
Икон же души, с поля свечи,
Как белый гречневый посев,
И видимы на долгий миг,
Вздымались в горнюю Софию...
Нерукотворную Россию
Я, песнописец Николай,
Свидетельствую, братья, вам.
В сороковой полесный май,
Когда линяет пестрый дятел
И лось рога на скид отпятил,

Я шел по Унженским горам.
Плескали лососи в потоках,
И меткой лапою с наскока
Ловила выдра лососят.
Был яр, одушевлен закат,
Когда безвестный перевал
Передо мной китом взыграл.
Прибоем пихт и пеной кедров
Кипели плоскогорий недра,
И ветер, как крыло орла,
Студил мне грудь и жар чела.
Оледенелыми губами
Над россомашьими тропами
Я бормотал: «Святая Русь,
Тебе и каторжной молюсь!..
Ау, мой ангел пестрядинный,
Явися хоть на миг единый!»
И чудо! Прыснули глаза
С козиц моих, как бирюза,
Потом, как горные медведи,
Сошлись у врат из тяжкой меди.
И постучался левый глаз,
Как носом в лужицу бекас,—
Стена осталась безответной.
И око правое — медведь
Сломало челюсти о медь,
Но не откликнулась верея,
Лишь страж, кольчугой пламенея,
Сиял на башне самоцветной.
Сластолюбивый мой язык,
Покинув рта глухие пади,
Веприцей кинулся к ограде,
Но у столпов, рыча, поник.
С нашеста ребер в свой черед
Вспорхнуло сердце — голубь рябый,
Чтобы с воздушного ухаба
Разбиться о сапфирный свод.
Как прыснуть векше — голубок
В крови у медного порога!..
И растворились на восток
Врата запретного чертога.
Из мрака всплыли острова,
В девичьих бусах заозерья,
С морозным Устюгом Москва,
Валдай — ямщик в павлиньих перьях,

Звенигород, где на стенах
Клюют пшено струфокамилы,
И Вологда, вся в кружевах,
С Переяславлем белокрылым.
За ними Новгород и Псков —
Зятья в кафтанах атлабасных,
Два лебедя на водах ясных —
С седою Ладогой Ростов.
Изба резная — Кострома,
И Киев — тур золоторогий
На цареградские дороги
Глядит с Перунова холма!
Упав лицом в кремни и гальки,
Заплакал я, как плачут чайки
Перед отплытьем корабля:
«Моя родимая земля,
Не сетуй горько о невере,
Я затворюсь в глухой пещере,
Отрощу бороду до рук,
Узнает изумленный внук,
Что дед недаром клад копил
И короб песенный зарыл,
Когда дуванили дуван!..»
Но прошлое, как синь туман:
Не мыслит вешний жаворонок,
Как мертвен снег и ветер звонок.

Се предреченная звезда,
Что темным бором иногда
Совою окликала нас!..
Грызет лесной иконостас
Октябрь — поджарая волчица,
Тоскуют печи по ковригам,
И шарит оторопь по ригам
Щепоть кормилицы-мучицы.
Ушли из озера налимы,
Поедены гужи и пимы,
Кора и кожа с хомутов,
Не насыщая животов.
Покойной Прони в руку сон:
Сиговец змием полонен,
И синеглазого Васятку
Напредки посолили в кадку.
Ах синеперый селезень!..
Чирикал воробьями день,

Когда, как по грибной дозор,
Малютку кликнули на двор.
За кус говядины с печенкой
Сосед освежевал мальчонку
И серой солью посолил
Вдоль птичьих ребрышек и жил.
Старуха же с бревна под балкой
Замыла кровушку мочалкой.
Опосле, как лиса в капкане,
Излилась лаем на чулане.
И страшен был старуший лай,
Похожий то на баю-бай,
То на сорочье стрекотанье.
Ополночь бабкино страданье
Взошло над бедною избой
Васяткиною головой.
Стеклися мужики и бабы:
«Да, те ж вихры и носик рябый!»
И вдруг за гиблую вину
Громада взвыла на луну.
Завыл Парфен, худой Егорка,
Им на обглоданных задворках
Откликнулся матерый волк...
И народился темный толк —
Старух и баб-сорокалеток
Захоронить живьем в подклеток
С обрядой, с жалкой плачеей
И с теплою мирской свечой
Над ними избу запалить,
Чтоб не досталось волку в сыть!

* * *

Так погибал Великий Сиг
Заставкою из древних книг,
Где Стратилатом на коне
Душа России, вся в огне,
Летит ко граду, чьи врата
Под знаком чаши и креста!
Иная видится заставка —
В светлице девушка-чернавка
Змею под створчатым окном
Своим питает молоком:
Горыныч с запада ползет
По горбылям железных вод!

И третья восстает малюнка:
Меж колок золотая струнка
В лазурн солнце и луна
Внимают, как поет струна.
Меж ними костромской мужик
Дивится на звериный лик,
Им, как усладой, манит бес
Митяя в непролазный лес!

Так погибал Великий Сиг,
Сдирая чешую и плавни!..
Год девятнадцатый, недавний,
Но горше каторжных вериг!
Ах, пусть полголовы обрито,
Прикован к тачке рыбогон,
Лишь только бы, шелками шиты,
Дремали сосны у окон,
Да родина нас овевала
Черемуховым крылом,
Дымился ужин рыбьим салом,
И ночь пушистым глухарем
Слетала с крашеных полатей
На осьмерых кудрявых братий,
На становитых зятевей,
Золовок, внуков-голубей,
На плешь берестяную деда
И на мурлыку-тайноведа...
Он знает, что в тяжелой скрыне,
Сладимым родником в пустыне,
Бьют матери тепло и ласки...
Родная, не твои ль салазки,
В крови, изгрызены пургой,
Лежат под Чертовой Горой?!

Загибла тройка удалая,
С уздой татарская шлея,
И бубенцы — дары Валдая,
Дуга моздокская лихая —
Утеха светлая твоя!

«Твоя краса меня сгубила,—
Певал касимовский ямщик,—
Пусть одинокая могила
В степи ненастной и унылой
Сокроет ненаглядный лик!»

Калужской старою дорогой,
В глухих олонецких лесах
Сложилось тайн и песен много
От Сахалинского острога
До звезд в глубоких небесах.

Но не было напева краше
Твоих метельных бубенцов!..
Пахнуло молодостью нашей,
Крещенским вечером с Парашей
От ярославских милых слов!

Ах, неспроста душа в ознобе,
Матерой стаи чуя вой!
Не ты ли, Пашенька, в сугробе,
Как в неотпетом белом гробе,
Лежишь под Чертовой Горой?

Разбиты писаные сани,
Издох ретивый коренник,
И только ворон на заране,
Ширяя клювом в мертвой ране,
Гнусавый испускает крик!

Лишь бубенцы — дары Валдая
Не устают в пурговом сне
Рыдать о солнце, птичьей стае
И о черемуховом мае
В родной далекой стороне!

* * *

Кто вы — лопарские пимы
На асфальтовой мостовой?
«Мы сосновые херувимы,
Слетели в камень и дымы
От синих озер и хвой.
Поведайте, добрые люди,
Жалея лесной народ,
Здесь ли с главой на блюде,
Хлебая железный студень,
Иродова дщерь живет?
До нее мы в кошеле рысьем
Мирской гостинец несем —
Спаса рублевских писем,

Ему молился Анисим
Сорок лет в затворе лесном!
Чай, перед Светлым Спасом
Блудница не устоит,
Пожалует нас атласом,
Архангельским тарантасом,
Пузатым, как рыба-кит!
Да еще мы ладим гостинец —
Птицу-песню пером в зарю,
Чтобы русских высоких крылец,
Как околиц да позатылиц,
Не минуть и богатырю!
Чай, на песню Иродиада
Склонит милостиво сосцы,
Поднесет нам с перлами ладан,
А из вымени винограда
Даст удой вина в погребцы!»

Выла улица каменным воем,
Глотая двуногие пальто:
«Оставьте нас, пожалста, в покое!..»
«Такого треста здесь не знает никто!..»
«Граждане херувимы, прикажите авто?!»
«Позвольте, я актив из КИМа!..»
«Это експонаты из губздрава!..»
«Мильционер, поймали херувима!..»
«Реклама на теплые джимы?..»
«А!.. Да!.. Вот... Так, право!!!»
— А из вымени винограда
Даст удой вина в погребцы!!!

Это последняя Лада,
Купава из русского сада,
Замирающих строк бубенцы!
Это последняя липа
С песенным сладким дуплом;
Знаю, что слышатся хрипы,
Дрожь и тяжелые всхлипы
Под милым когда-то пером!
Знаю, что вечной весною
Веет березы душа,
Но борода с сединою,
Молодость с песней иною
Слезного стоят гроша!
Вы же, кого я обидел

Крепкой кириллицей слов,
Как на моей панихиде
Слушайте повесть о Лидде,
Городе белых цветов!

Как на славном Индийском поморий,
При ласковом князе Онорий
Воды были тихие, стерляжие,
Расстилались шелковою пряжею.
Берега — все ониксы с лалами,
Кутались бухарскими шалями,
Еще пухом чаиц с гагарятами,
Тафтяными легкими закатами.
Кедры-ливаны семерым в обойм,
Чудно вышиты паруса у сойм,
Гнали паруса гуси махами,
Селезни с чирятами-кряками.
Солнышко в снастях бородой трясло,
Месяц кормовое прямил весло,
Серебряным салом смазывал —
Поморянам пути указывал.
Срубил князь Онорий Лидду-град
На синих лугах меж белых стад.
Стена у города кипарисова,
Врата же из скатного бисера.
Избы во Лидде — яхонты,
Не знают мужики туги-пахоты.
Любовал Онорий высь нагорную
Повыстроить церковь соборную.
Тесали каменья брусьями,
Узорили налепами да бусами,
Лемехом свинчатым крыли кровлища,
Закомары, лазы, переходища.
Маковки, кресты басменили,
Арабской синелью синелили,
На вратах чеканили Митрия,
На столпе писали Одигитрию.
Чаицы, гагары встрепыхалися,
На морское дно опускалися,
Доставали жемчугу с искрицей —
На высокий кокошник Владычице.

А и всем пригоже у Онория
На славном Индийском помории.
Только нету в лугах мала цветика,
Колокольчика, курослепика,

По ляднинам ушка медвежьего,
Кашки, ландыша белоснежного.
В садах не алело розана,
«Цветником» только книга прозвана.
Закручинилась Лида стольная:
«Сиротинка я подневольная!
Не гулять сироте по цветикам,
По лазоревым курослепникам,
На Купалу мне не завить венка,
Средь пустых лугов протекут века...
Ой, верба, верба, где ты сросла?
Твои листыньки вода снесла!..»
Откуль взялась орда на выгоне —
Обложили град сарацыняне.
Приужахнулся Онорий с горожанами,
С тихими стадами да полянами:
«Ты, Владычица Одигитрия,
На помогу нам вышли Митрия,
На нем ратная сбруя чеканена,
Одолеет он половчанина!»
Прослезилася Богородица:
«К Моему столпу мчится конница!..
Заградили Меня целой сотнею,
Раздирают хламиду золотную
И высокий кокошник со искрицей...
Рубят саблями лик Владычице!!!»

Сорок дней и ночей сарацыняне
Столп рубили, пылили на выгоне,
Краски, киноварь с Богородицы
Прахом веяли у околицы.
Только лик пригож и под саблями,
Горемычными слезками бабьими,
Бровью волжскою синеватою
Да улыбкою, скорбно сжатою.
А где сеяли сита разбойные
Живописные вапы иконные,
До колен и по оси тележные
Вырастали цветы белоснежные.
Стала Лида, как чайка, белешенька,
Сарацынами мглится дороженька,
Их могилы цветы приукрасили
На Онорья святых да Протасия!
Лида с храмом белым,
Страстотерпным телом,

Не войти в тебя!
С кровью на ланитах
Сгибнувших, убитых
Не исчесть, любя.

Только нежный розан
Из слезинок создан,
На твоей груди.
Бровью синеватой
Да улыбкой сжатой
Гибель упреди!

Радонеж, Самара,
Пьяная гитара
Свилися в одно...
Мы на четвереньках,
Нам мычать да тренькать
В мутное окно!

За окном рябина,
Словно мать без сына,
Тянет рук сучье.
И скулит трезором
Мглица под забором —
Темное зверье.

Где ты, город-розан,
Волжская береза,
Лебединый крик
И, ордой иссечен,
Осиянно вечен,
Материнский Лик?!

Цветик мой дитячий,
Над тобой поплачет
Темень да трезор.
Может, им под тыном
И пахнёт жасмином
От Саронских гор!

* * *

Есть две страны; одна — Больница,
Другая — Кладбище, меж них
Печальных сосен вереница,
Угрюмых пихт и верб седых!

Блуждая пасмурной опушкой,
Я обронил свою клюку,
И заунывною кукушкой
Стучусь в окно к гробовщику:

«Ку-ку! Откройте двери, люди!»
«Будь проклят, полуночный пес!
Куда ты в глиняном сосуде
Несешь зарю апрельских роз?!

Весна погибла, в космы сосен
Вплетает вьюга седину»...
Но, слыша скрежет ткацких кросен,
Тянусь к зловещему окну.

И вижу: тетушка Могила
Ткет желтый саван, и челнок,
Мелькая птицей чернокрылой,
Рождает ткань, как мерность строк.

В вершинах пляска ветродуев,
Под хрип волчицыной трубы
Читаю нити: «Н. А. Клюев,—
Певец олонецкой избы!»

Я умер! Господи, ужели?!
Но где же койка, добрый врач?
И слышу: «В розовом апреле
Оборван твой предсмертный плач!

Вот почему в кувшине розы,
И сам ты — мальчик в синем льне!..
Скрипят житейские обозы
В далекой бренной стороне.

К ним нет возвратного проселка,
Там мрак, изгнание, Нарым.
Не бойся савана и волка,—
За ними с лютней Серафим!»

«Приди, дитя мое, приди!» —
Запела лютня неземная,
И сердце птичкой из груди
Перепорхнуло в кущи рая.

И первой песенкой моей,
Где брачной чашею алея,
Была: «Люблю тебя, Рассея,
Страна грачиных озимей!»

И ангел вторил: «Буди, буди!
Благословен родной овсень!
Его, как розаны в сосуде,
Блюдет Христос на Оный День!»
(1937)



Сергей Клычков

* * *

Земля и небо, плоть и дух...
Из сини в синь равно бежит дорога...
Весна — росу, зазимок — белый пух
И лето дождь в свой срок прольет из рога.

Незримый страж у птичьего гнезда,
Чудесный страж у каждой хаты нашей:
Над хатой и гнездом в свой час горит звезда,
Горит звезда, как золотая чаша.

В свой час с земли и лунь, и певчий дрозд
Уносят ввысь изношенные перья:
Путь по земле лишь человеку-зверю
Проложен от купели на погост...

Темна, тесна могилы узкой клеть,
Печален крест под придорожной пылью:
Одной душе даны, как птице, крылья,
Чтоб в смертный час вспорхнуть и улететь.

И мирно ляжет тело под исподь,
И погребенья сами взалчут кости:
Цветут цветы в полях и на погосте —
Земля и небо, дух и плоть.
1923

* * *

Я от окна бреду с клюкою
К запорошенному окну,
Но злою участью такою
Я никого не попрекну.

Сума на рубище убогом,
Как крест голгофный, тяжела,
И пыль взметают по дорогам
Незримо два мои крыла.

До срока меж людей я, нищий,
Иду, как меж могильных плит,
Но в сумке под насущной пищей
Свирель с лучом рассветным спит.

И в светлый час, когда ресницы
Обсохнут, слезы отряхнув,
Лечу я заревою птицей
С свирелью, обращенной в клюв...

1923

* * *

Люблю тебя я, сумрак предосенний,
Закатных вечеров торжественный разлив,
Играет ветерок, и тих, и сиротлив,
Листвою прибрежных ив,
И облака гуськом бегут, как в сновиденье;
Редеет лес, и льются на дорогу
Серебряные колокольчики синиц:
То осень старый бор обходит вдоль границ,
И лики темные с божниц
Глядят в углу задумчиво и строго.
Вкушает мир покой и увяданье,
И в сердце у меня такой же тихий свет:
Не ты ль, златая быль благоуханных лет,
Не ты ль, завороженный след
Давно в душе угасшего страданья?

1923

* * *

Земная светлая моя отрада,
О птица золотая — песнь,
Мне ничего, уж ничего не надо,
Не надо и того, что есть.

Мне лишь бы петь да жить, любя и веря,
Лелея в сердце грусть и дрожь,

Что с птицы облетевшие жар-перья
Ты не поднимешь, не найдешь.

И что с тоской ты побредешь к другому
Искать обманчивый удел,
А мне бы лишь на горький след у дома
С полнеба месяц голубел:

Ведь так же будут плыть туманы за ограду,
А яблонные платья цвесть,—
Ах, милый друг, мне ничего не надо,
Не надо и того, что есть.

1923

* * *

Мне говорила мать, что в розовой сорочке
Багряною зарей родился я на свет,
А я живу лишь от строки до строчки,
И радости иной мне в этой жизни нет...

И часто я брожу один тревожной тенью,
И счастлив я отдать все за единый звук,—
Люблю я трепетное, светлое сплетенье
Незримых и неуловимых рук...

Не верь же, друг, не верь ты мне, не верь мне,
Хотя я без тебя и дня не проживу:
Струится жизнь,— как на заре вечерней
С земли туман струится в синеву!

Но верь мне: не обман в заплечном узелочке —
Чудесный талисман от злых невзгод и бед:
Ведь говорила мать, что в розовой сорочке
Багряною зарей родился я на свет.

1923

* * *

Пылает за окном звезда,
Мигает огоньком лампада;
Так, значит, суждено и надо,
Чтоб стала горечью отрада,
Невесть ушедшая куда.

Над колыбелью — тихий свет
И как не твой — прнпев баюнный...
И снег... и звезды — лисий след...
И месяц золотой н юный,
Ни дней ие знающий, ни лет.

И жаль и больио мне спугнуть
С бровей зиакомую излуку
И взять, как прежде, в рукн — руку:
Прости ты мие земную муку,
Земную ж радость — не забудь!

Звезда — в окие, в углу — лампада,
И в колыбелн — сннññ свет.
Поутру — стол и табурет.
Так, значнт, суждено, н — иет
Иного счастья и ие надо!..

1923

* * *

Какне хитроумные узоры
Поутру наведет мороз...
Проснувшнсь, разберешь не скоро:
Что это — в шутку нль всерьез?

Во сне еще нль это в самом деле
Деревья н цветы в саду?
И не захочется вставать с постели
В иастывшем на иочь холоду.

Какая нехорошая насмешка
Над человеком в сорок лет:
Что за сады, когда за этой спешкой
Опомниться мниуты иет!

И, первым взглядом встретнвшись с сугробом,
Подумается вдруг невпопад:
Что, еслн смерть н нет лн там за гробом
Похожего на этот сад?!.

1930

* * *

Года мои, под вечер на закате
Вздымаясь в грузной памяти со дна,
Стоят теперь, как межевые знаки,
И жизнь, как чаща с просека, видна...

Мне сорок лет, а я живу на средства,
Что не всегда приносят мне стихи,
А ведь мои товарищи по детству —
Сапожники, торговцы, пастухи!

У них прошла по строгому укладу,
В трудах, все та же вереница лет:
Им даром счастья моего не надо,
А горя моего у них же нет?!.

Для них во всем иные смысл и сроки
И уж куда нужней, важней дратва,
Чем рифмами украшенные строки,
Расшитые узорами слова...

А я за полное обмана слово,
За слово, все ж кидающее в дрожь,
Все б начал вновь и отдал бы все снова
За светлую и радостную ложь...

1930

* * *

Стучит мороз в обочья
Натопленной избы...
Не лечь мне этой ночью
Перед лицом судьбы!

В луче луны высокой
Торчок карандаша...
...Легко ложится в строку
Раскрытая душа...

И радостно мне внове
Перебирать года...
...И буковками в слове
Горит с звездой звезда...

И слова молвить не с кем,
И молвить было б грех...
...И тонет в лунном блеске
Собачий глупый брех...

1930

* * *

Сегодня день морозно-синий
С румянцем был во все лицо,
И ели, убранные в иней,
Обстали к вечеру крыльцо.

Вздыхая грузно на полатях,
До света грежу я всю ночь,
Что это девки в белых платьях
И между ними моя дочь...

Глаза у них круглы и сини
Под нежной тенью поволок,
И наверху, посередине,
Луны отбитый уголок...

Глаза их радостны и чисты,
А щеки мягче калачей...
...И звезды снизаны в мониста
На нити тонкие лучей!

И дух такой морозно-синий,
Что даже распирает грудь...
И я отряхиваю иней
С висков, но не могу стряхнуть!

1930



Сергей Есенин

* * *

Мариенгофу

Я последний поэт деревни,
Скромен в песнях дощатый мост.
За прощальной стою обедней
Кадящих листвой берез.

Догорит золотистым пламенем
Из телесного воска свеча,
И луны часы деревянные
Прохрипят мой двенадцатый час.

На тропу голубого поля
Скоро выйдет железный гость.
Злак овсяный, зарею пролитый,
Соберет его черная горсть.

Не живые, чужие ладони,
Этим песням при вас не жить!
Только будут колосья-кони
О хозяине старом тужить.

Будет ветер сосать их ржанье,
Панихидный справляя пляс.
Скоро, скоро часы деревянные
Прохрипят мой двенадцатый час!

1920

ХУЛИГАН

Дождик мокрыми метлами чистит
Ивняковый помет по лугам.
Плюйся, ветер, охапками листьев,—
Я такой же, как ты, хулиган.

Я люблю, когда синие чащи,
Как с тяжелой походкой волы,
Животами, листвою хрипящими,
По коленкам марают стволы.

Вот оно, мое стадо рыжее!
Кто ж воспеть его лучше мог?
Вижу, вижу, как сумерки лижут
Следы человечьих ног.

Русь моя, деревянная Русь!
Я один твой певец и глашатай.
Звериных стихов моих грусть
Я кормил резедой и мятой.

Взбрезжи, полночь, луны кувшин
Зачерпнуть молока берез!
Словно хочет кого придушить
Руками крестов погост!

Бродит черная жуть по холмам,
Злобу вора струит в наш сад,
Только сам я разбойник и хам
И по крови степной конокрад.

Кто видал, как в ночи кипит
Кипяченых черемух рать?
Мне бы в ночь в голубой степи
Где-нибудь с кистенем стоять.

Ах, увял головы моей куст,
Засосал меня песенный плен.
Осужден я на каторге чувств
Вертеть жернова поэм.

Но не бойся, безумный ветр,
Плюй спокойно листвой по лугам.
Не сотрет меня кличка «поэт»,
Я и в песнях, как ты, хулиган.

1920

* * *

Мир таинственный, мир мой древний.
Ты, как ветер, затих и присел.
Вот сдавили за шею деревню
Каменные руки шоссе.

Так испуганно в снежную выбель
Заметалась звенящая жуть.
Здравствуй ты, моя черная гибель,
Я навстречу к тебе выхожу!

Город, город! ты в схватке жестокой
Окрестил нас как падаль и мразь.
Стынет поле в тоске волоокой,
Телеграфными столбами давясь.

Жилист мускул у дьявольской выи,
И легка ей чугунная гать.
Ну, да что же? Ведь нам не впервые
И расшатываться и пропадать.

Пусть для сердца тягуче колко,
Это песня звериных прав!..
...Так охотники травят волка,
Зажимая в тиски облав.

Зверь припал... и из пасмурных недр
Кто-то спустит сейчас курки...
Вдруг прыжок... и двуногого недруга
Раздирают на части клыки.

О, привет тебе, зверь мой любимый!
Ты не даром даешься ножу.
Как и ты — я, отвсюду гонимый,
Средь железных врагов прохожу.

Как и ты — я всегда наготове,
И хоть слышу победный рожок,
Но отпробует вражеской крови
Мой последний, смертельный прыжок.

И пускай я на рыхлую выбель
Упаду и зароюсь в снегу...
Все же песню отмщенья за гибель
Пропоют мне на том берегу.

1921

* * *

Не жалею, не зову, не плачу,
Все пройдет, как с белых яблонь дым.
Увяданья золотом охваченный,
Я не буду больше молодым.

Ты теперь не так уж будешь биться,
Сердце, тронутое холодком,
И страна березового ситца
Не заманит шляться босиком.

Дух бродяжий! ты все реже, реже
Расшевеливаешь пламень уст.
О моя утраченная свежесть,
Буйство глаз и половодье чувств.

Я теперь скупее стал в желаньях,
Жизнь моя? иль ты приснилась мне?
Словно я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне.

Все мы, все мы в этом мире тленны,
Тихо льется с кленов листьев медь...
Будь же ты вовек благословенно,
Что пришло процвесть и умереть.
1921

* * *

Все живое особой метой
Отмечается с ранних пор.
Если не был бы я поэтом,
То, наверно, был мошенник и вор.

Худощавый и низкорослый,
Средь мальчишек всегда герой,
Часто, часто с разбитым носом
Приходил я к себе домой.

И навстречу испуганной маме
Я цедил сквозь кровавый рот:
«Ничего! Я споткнулся о камень,
Это к завтраму все заживет».

И теперь вот, когда простыла
Этих дней кипятковая вязь,
Беспокойная, дерзкая сила
На поэмы мои пролилась.

Золотая словесная груда,
И над каждой строкой без конца
Отражается прежняя удаль
Забияки и сорванца.

Как тогда, я отважный и гордый,
Только новью мой брызжет шаг...
Если раньше мне били в морду,
То теперь вся в крови душа.

И уже говорю я не маме,
А в чужой и хохочущий сброд:
«Ничего! Я споткнулся о камень,
Это к завтраму все заживет!»

1922

* * *

Я обманывать себя не стану,
Залегла забота в сердце мглистом.
Отчего прослыл я шарлатаном?
Отчего прослыл я скандалистом?

Не злодей я и не грабил лесом,
Не расстреливал несчастных по темницам.
Я всего лишь уличный повеса,
Улыбающийся встречным лицам.

Я московский озорной гуляка.
По всему тверскому околотку
В переулках каждая собака
Знает мою легкую походку.

Каждая задрипанная лошадь
Головой кивает мне навстречу.
Для зверей приятель я хороший,
Каждый стих мой душу зверя лечит.

Я хожу в цилиндре не для женщин —
В глупой страсти сердце жить не в силе, —
В нем удобней, грусть свою уменьшив,
Золото овса давать кобыле.

Средь людей я дружбы не имею,
Я иному покорился царству.
Каждому здесь кобелю на шею
Я готов отдать мой лучший галстук.

И теперь уж я болеть не стану.
Прояснилась омуть в сердце мглистом.
Оттого прослыл я шарлатаном,
Оттого прослыл я скандалистом.

1922

СУКИН СЫН

Снова выплыли годы из мрака
И шумят, как ромашковый луг.
Мне припомнилась нынче собака,
Что была моей юности друг.

Нынче юность моя отшумела,
Как подгнивший под окнами клен,
Но припомнил я девушку в белом,
Для которой был пес почтальон.

Не у всякого есть свой близкий,
Но она мне как песня была,
Потому что мои записки
Из ошейника пса не брала.

Никогда она их не читала,
И мой почерк ей был незнаком,
Но о чем-то подолгу мечтала
У калины за желтым прудом.

Я страдал... Я хотел ответа...
Не дождался... уехал... И вот
Через годы... известным поэтом
Снова здесь, у родимых ворот.

Та собака давно околела,
Но в ту ж масть, что с отливом в синь,
С лаем ливисто ошалелым
Меня встрел молодой ее сын.

Мать честная! И как же схожи!
Снова выплыла боль души.
С этой болью я будто моложе,
И хоть снова записки пиши.

Рад послушать я песню былую,
Но не лай ты! Не лай! Не лай!
Хочешь, пес, я тебя поцелую
За пробужденный в сердце май?

Поцелую, прижмусь к тебе телом
И, как друга, введу тебя в дом...
Да, мне нравилась девушка в белом,
Но теперь я люблю в голубом.

1924

* * *

Отговорила роща золотая
Березовым, веселым языком,
И журавлн, печально пролетая,
Уж ие жалеют больше нн о ком.

Кого жалеть? Ведь каждый в мнре
странннк—
Пройдет, зайдет и вновь оставнт дом.
О всех ушедших грезнт коноплянник
С шнрокнм месяцем иад голубым прудом.

Стою одии среди равинны голой,
А журавлей относнт ветер в даль,
Я полон дум о юностн веселой,
Но ннчего в прошедшем мие не жаль.

Не жаль мне лет, растрачеиных напрасио,
Не жаль душн снреиевую цветь.
В саду горит костер рябнны красиой,
Но никого не может он согреть.

Не обгорят рябииовые кнсти,
От желтизны ие пропадет трава,
Как дерево роияет тихо лнстья,
Так я роияю грустиые слова.

И если время, ветром разметая,
Сгребет их все в одии неиужный ком...
Скажите так... что роща золотая
Отговорила милым языком.

1924

СТАНСЫ

Посвящается П. Чагину

Я о своем таланте
Много знаю.
Стнхн — не очень трудные дела.
Но более всего
Любовь к родиому краю
Меня томила,
Мучнла н жгла.

Стишок писнуть,
Пожалуй, всякий может —
О девушке, о звездах, о луне...
Но мне другое чувство
Сердце гложет,
Другие думы
Давят череп мне.

Хочу я быть певцом
И гражданином,
Чтоб каждому,
Как гордость и пример,
Был настоящим,
А не сводным сыном —
В великих штатах СССР.

Я из Москвы надолго убежал:
С милицией я ладить
Не в сиоровке,
За всякий мой пивной скаидал
Они меия держали
В тигулевке.

Благодарю за дружбу граждаи сих,
Но очеиь жестко
Спать там на скамейке
И пьяным голосом
Читать какой-то стих
О клеточной судьбе
Несчастной канарейки.

Я вам не кенар!
Я поэт!
И ие чета каким-то там Демьянам.
Пускай бываю иногда я пьяным,
Зато в глазах моих
Прозрений дивных свет.

Я вижу все
И ясно понимаю,
Что эра иовая —
Не фунт изюму вам,
Что имя Ленина
Шумит, как ветр, по краю.
Давая мыслям ход,
Как мельничным крылам.

Вертитесь, милые!
Для вас обещан прок.
Я вам племянник,
Вы же мне все дяди.
Давай, Сергей,
За Маркса тихо сядем,
Понюхаем премудрость
Скучных строк.

Дни, как ручьи, бегут
В туманную реку.
Мелькают города,
Как буквы по бумаге.
Недавно был в Москве,
А нынче вот в Баку.
В стихию промыслов
Нас посвящает Чагин.

«Смотри,— он говорит,—
Не лучше ли церквей
Вот эти вышки
Черных нефть-фонтанов.
Довольно с нас мистических туманов.
Воспой, поэт,
Что крепче и живей».

Нефть на воде,
Как одеяло перса,
И вечер по небу
Рассыпал звездный куль.
Но я готов поклясться
Чистым сердцем,
Что фонари
Прекрасней звезд в Баку.

Я полон дум об индустрийной мощи,
Я слышу голос человечьих сил.
Довольно с нас
Небесных всех светил —
Нам на земле
Устроить это проще.

И, самого себя
По шее гладя,

Я говорю:
«Настал наш срок,
Давай, Сергей,
За Маркса тихо сядем,
Чтоб разгадать
Премудрость скучных строк».

1924

МОЙ ПУТЬ

Жизнь входит в берега.
Села давнишний житель,
Я вспоминаю то,
Что видел я в краю.
Стихи мои,
Спокойно расскажите
Про жизнь мою.

Изба крестьянская.
Хомутный запах дегтя,
Божница старая,
Лампады кроткий свет.
Как хорошо,
Что я сберег те
Все ощущенья детских лет.

Под окнами
Костер метели белой.
Мне девять лет.
Лежанка, бабка, кот...
И бабка что-то грустное
Степное пела,
Порой зевая
И крестя свой рот.

Метель ревела.
Под оконцем
Как будто бы плясали мертвецы.
Тогда империя
Вела войну с японцем
И всем далекие
Мерещились кресты.

Тогда не знал я
Черных дел России.
Не знал, зачем
И почему война.
Рязанские поля,
Где мужики косили,
Где сеяли свой хлеб,
Была моя страна.

Я помню только то,
Что мужики роптали,
Бранились в черта,
В бога и в царя.
Но им в ответ
Лишь улыбались дали
Да наша жидкая
Лимонная заря.

Тогда впервые
С рифмой я схлестнулся.
От сонма чувств
Вскружилась голова.
И я сказал:
Коль этот зуд проснулся,
Всю душу выплещу в слова.

Года далекие,
Теперь вы как в тумане.
И помню, дед мне
С грустью говорил:
«Пустое дело...
Ну, а если тянет —
Пиши про рожь,
Но больше про кобыл».

Тогда в мозгу,
Влеченьем к музе сжатом,
Текли мечтанья
В тайной тишине,
Что буду я
Известным и богатым
И будет памятник
Стоять в Рязани мне.

В пятнадцать лет
Взлюбил я до печенок
И сладко думал,
Лишь уединюсь,
Что я на этой
Лучшей из девчонок,
Достигнув возраста, женюсь.
. . . .

Года текли.
Года меняют лица —
Другой на них
Ложится свет.
Мечтатель сельский —
Я в столице
Стал первоклассиейший поэт.

И, заболев
Писательскою скукой,
Пошел скитаться я
Средь разных стран,
Не веря встречам,
Не томясь разлукой,
Считая мир весь за обман.

Тогда я понял,
Что такое Русь.
Я понял, что такое слава.
И потому мне
В душу грусть
Вошла, как горькая отрава.
На кой мне черт,
Что я поэт!..

И без меня в достатке дряни.
Пускай я сдохну,
Только...
Нет,
Не ставьте памятник в Рязани!
Россия... Царщина...
Тоска...
И снисходительность дворянства.
Ну что ж!
Так принимай, Москва,
Отчаянное хулиганство.

Посмотрим —
Кто кого возьмет!
И вот в стихах моих
Забила
В салоиный вылощеииый
Сброд
Мочой рязанская кобыла.

Не нравится?
Да, вы правы —
Привычка к Лоригаи
И к розам...
Но этот хлеб,
Что жрете вы,—
Ведь мы его того-с...
Навозом...

Еще прошли года.
В годах такое было,
О чем в словах
Всего ие рассказать:
На смеиу царщиие
С величествеииой силой
Рабочая предстала рать.

Устав таскаться
По чужим пределам,
Вериулся я
В родимый дом.
Зелеиокосая,
В юбчоике белой
Стоит береза иад прудом.

Уж и береза!
Чудиая... А груди...
Таких грудей
У жеищии не иайдешь.
С полей обрызганные солнцем
Люди
Везут иавстречу мне
В телегах рожь.

Им не узиать меия,
Я им прохожий.
Но вот проходит
Баба, не взглянув.

Какой-то ток
Невыразимой дрожи
Я чувствую во всю спину.

Ужель она?
Ужели не узнала?
Ну и пускай,
Пускай себе пройдет...
И без меня ей
Горечи немало —
Недаром лег
Страдальчески так рот.

По вечерам,
Надвинув ниже кепи,
Чтобы не выдать
Холода очей,—
Хожу смотреть я
Скошенные степи
И слушать,
Как звенит ручей.

Ну что же?
Молодость прошла!
Пора приняться мне
За дело,
Чтоб озорливая душа
Уже по-зрелому запела.

И пусть иная жизнь села
Меня наполнит
Новой силой,

Как раньше
К славе привела
Родная русская кобыла.
1925

* * *

Гори, звезда моя, не падай.
Роняй холодные лучи.
Ведь за кладбищенской оградой
Живое сердце не стучит.

Ты светишь августом и рожью
И наполняешь тишь полей
Такой рыдалистою дрожью
Неотлетевших журавлей.

И, голову вздымая выше,
Не то за рощей — за холмом
Я снова чью-то песню слышу
Про отчий край и отчий дом.

И золотеющая осень,
В березах убавляя сок,
За всех, кого любил и бросил,
Листвою плачет на песок.

Я знаю, знаю. Скоро, скоро
Ни по моей, ни чьей вине
Под низким траурным забором
Лежать придется так же мне.

Погаснет ласковое пламя,
И сердце превратится в прах.
Друзья поставят серый камень
С веселой надписью в стихах.

Но, погребальной грусти внемля,
Я для себя сложил бы так!
Любил он родину и землю,
Как любит пьяница кабак.

Август 1925

* * *

Снежная равнина, белая луна,
Саваном покрыта наша сторона.
И березы в белом плачут по лесам.
Кто погиб здесь? Умер? Уж не я ли сам?

1925

ЧЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Друг мой, друг мой,
Я очень и очень болен.
Сам не знаю, откуда взялась эта боль.

То ли ветер свистит
Над пустым и безлюдным полем,
То ль, как рощу в сентябрь,
Осыпает мозги алкоголь.

Голова моя машет ушами,
Как крыльями птица.
Ей на шее ноги
Маячить больше невмочь.

Черный человек,
Черный, черный,
Черный человек
На кровать ко мне садится,
Черный человек
Спать не дает мне всю ночь.

Черный человек
Водит пальцем по мерзкой книге
И, гнусавя надо мной,
Как над усопшим монах,
Читает мне жизнь
Какого-то прохвоста и забулдыги,
Нагоняя на душу тоску и страх.
Черный человек,
Черный, черный!

«Слушай, слушай,—
Бормочет он мне,—
В книге много прекраснейших
Мыслей и планов.
Этот человек
Проживал в стране
Самых отвратительных
Громил и шарлатанов.

В декабре в той стране
Снег до дьявола чист,
И метели заводят
Веселые прялки.
Был человек тот авантюрист,
Но самой высокой
И лучшей марки.
Был он изящен,
К тому ж поэт,
Хоть с небольшой,

Но ухватистой силою,
И какую-то женщину
Сорока с лишним лет,
Называл скверной девочкой
И своею милою.

Счастье,— говорил он,—
Есть ловкость ума и рук.
Все неловкие души
За несчастных всегда известны.
Это ничего,
Что много мук
Приносят изломанные
И лживые жесты.

В грозы, в бури,
В житейскую стынь,
При тяжелых утратах
И когда тебе грустно,
Казаться улыбчивым и простым —
Самое высшее в мире искусство».

«Черный человек!
Ты не смеешь этого!
Ты ведь не на службе
Живешь водолазовой.
Что мне до жизни
Скандального поэта.
Пожалуйста, другим
Читай и рассказывай».
Черный человек
Глядит на меня в упор.
И глаза покрываются
Голубой блевотой,—
Словно хочет сказать мне,
Что я жулик и вор,
Так бесстыдно и нагло
Обокравший кого-то.

. . . .

Друг мой, друг мой,
Я очень и очень болен.
Сам не знаю, откуда взялась эта боль.
То ли ветер свистит
Над пустым и безлюдным полем,
То ль, как рощу в сентябрь,
Осыпает мозги алкоголь.

Ночь морозная.
Тих покой перекрестка.
Я один у окошка,
Ни гостя, ни друга не жду.
Вся равнина покрыта
Сыпучей и мягкой известкой,
И деревья, как всадники,
Съехались в нашем саду.

Где-то плачет
Ночная зловещая птица,
Деревянные всадники
Сеют копытливый стук.
Вот опять этот черный
На кресло мое садится,
Приподняв свой цилиндр
И откинув небрежно сюртук.

«Слушай, слушай! —
Хрипит он, смотря мне в лицо,
Сам все ближе
И ближе клонится.—
Я не видел, чтоб кто-нибудь
Из подлецов
Так ненужно и глупо
Страдал бессонницей.

Ах, положим, ошибся!
Ведь нынче луна.
Что же нужно еще
Напоенному дремой мирку?
Может, с толстыми ляжками
Тайно придет «она»,
И ты будешь читать
Свою дохлую томную лирику?

Ах, люблю я поэтов!
Забавный народ.
В них всегда нахожу я
Историю, сердцу знакомую,—
Как прыщавой курсистке
Длинноволосый урод
Говорит о мирах,
Половой истекая истомою.

Не знаю, не помню,
В одном селе,
Может, в Калуге,
А может, в Рязани,
Жил мальчик
В простой крестьянской семье,
Желтоволосый,
С голубыми глазами...

И вот стал он взрослым,
К тому же поэт,
Хоть с небольшой,
Но ухватистой силою,
И какую-то женщину,
Сорока с лишним лет,
Называл скверной девочкой
И своею милою».

«Черный человек!
Ты прескверный гость.
Эта слава давно
Про тебя разносится».
Я взбешен, разъярен,
И летит моя трость
Прямо к морде его,
В переносицу...

. . . .

...Месяц умер,
Синеет в окошко рассвет.
Ах ты, ночь!
Что ты, ночь, наковеркала?
Я в цилиндре стою.
Никого со мной нет.
Я один...
И разбитое зеркало...

14 ноября 1925



Павел Васильев

* * *

Незаметным подкрался вечер,
Словно кошка к добыче,
Темных кварталов плечи
В мутном сумраке вычертил.

Бухта дрожит неясно.
Шуршат, разбиваясь, всплёски.
На западе темно-красной
Протянулся закат полоской.

А там, где сырого тумана
Еще не задернуты шторы,
К шумящему океану
Уплывают синие горы.

Кустами яблонь весенних
Паруса раздувает ветер.
Длинные шаткие тени
Лапами в небо метят.

Октябрь 1926

БУХТА

...Бухта тихая до дна напоена
Лунными, иглистыми лучами,
И от этого мне кажется — она
Вздрагивает синими плечами.

Белым шарфом пена под веслом,
Темной шалью небо надо мною...
Ну о чем еще, скажи, о чем
Можно петь под этою луною?

Хоть проси меня, хоть не проси
Взглядом и рукой усталой,
Все равно не хватит сил,
Чтобы эта песня замолчала.

Все равно в расцвеченный узор
Звезды бусами стеклянными упали...
Этот неба шелковый ковер,
Ты скажи, не в Персии ли ткали?

И признайся мне, что хорошо
Вот таким, без шума и ошибок,
Задевать лицом за лунный шелк
И купаться в золоте улыбок.

Знаешь, мне хотелось, чтоб душа
Утонула в небе или в море
Так, чтоб можно было вовсе не дышать,
Растворившись без следа в просторе.

Так, чтоб все растаяло, ушло,
Как вот эти голубые тени...
...Не торопится тяжелое весло
Воду возле борта вспенить...

Бухта тихая до дна напоена
Лунными, иглистыми лучами,
И от этого мне кажется — она
Вздрагивает синими плечами.

Октябрь 1926

ПИСЬМО

Месяц чайкой острокрылой кружит,
И река, зажатая песком,
Все темнее, медленней и уже
Отливает старым серебром.

Лодка тихо въехала в протоку
Мимо умолкающих осин,—
Здесь камыш, набухший и высокий,
Ловит нити лунных паутин.

На ресницы той же паутиной
Лунное сияние легло.
Ты смеешься, высоко закинув
Руку с легким, блещущим веслом.

Вспомнить то, что я давно утратил,
Почему-то захотелось вдруг...
Что́ теперь поешь ты на закате,
Мой далекий темноглазый друг?

Расскажи хорошими словами
(Я люблю знакомый, тихий звук),
Ну, кому ты даришь вечерами
Всю задумчивость и нежность рук?

Те часы, что провела со мною,
Дорогая, позабыть спеши.
Знаю, снова лодка под луною
В ночь с другим увозит в камыши.

И другому в волосы нежнее
Заплетаешь ласки ты, любя...
Дорогая, хочешь, чтоб тебе я
Рассказал сегодня про себя?

Здесь живу я вовсе не случайно —
Эта жизнь для сердца дорога...
Я уж больше не вздыхаю тайно
О родных зеленых берегах.

Я давно пропел свое прощанье,
И обратно не вернуться мне,
Лишь порой летят воспоминанья
В дальний край, как гуси по весне.

И хоть я бываю здесь обижен,
Хоть и сердце бьется невпопад,—
Мне не жаль, что больше не увижу
Дряхлый дом и тихий палисад.

В нашем старом палисаде тесно
И тесна ссутуленная клеть.
Суждено мне неуемной песней
В этом мире новом прозвенеть...

Только часто здесь за лживым словом
Сторожит припрятанный удар,
Только много их, что жизнь готовы
Переделать на сплошной базар.

По указке петь не буду сроду,—
Лучше уж навеки замолчать.
Не хочу, чтобы какой-то Родов
Мне указывал, про что писать.

Чудаки! Заставить ли поэта,
Если он — действительно поэт,
Петь по тезисам и по анкетам,
Петь от тезисов и от анкет.

Чудаки! Поэтов разве учат,—
Пусть свободней будет бег пера!..
...Дорогая, я тебе наскучил?
Я кончаю. Ухожу. Пора.

Голубеют степи на закате,
А в воде брусничный плещет цвет,
И восток, девчонкой в синем платье,
Рассыпает пригоршни монет.

Вижу: мной любимая когда-то,
Может быть, любимая сейчас,
Вся в лучах упавшего заката,
На обрыв песчаный забралась.

Хорошо с подъятыми руками
Вдруг остановиться, не дыша,
Над одетыми в туман песками,
Над теченьем быстрым Иртыша.
1927

ПЕСНЯ ОБ УБИТОМ

То было там, в моей стране далекой,
Где синим вечером осой звенит июль.
Хранит под сердцем тополь одинокий
Свинец давно уже остывших пуль.

Пыль на дороге с ветреным закатом
Прозрачна, золотиста и легка.
Вот здесь в последний путь когда-то
Расстреливать вели большевика.

Овраг глубок, зарос зеленым талом,
Ручей во мху шипучий, как вино..
Он подошел спокойный и усталый
И прислонился к тополю спиной.

И вот теперь в моей стране далекой,
Где синим вечером звенит июль,
Хранит под сердцем тополь одинокий
Свинец давно уже остывших пуль.

И в час, когда с любимою встречались
В последний раз под лунною листвой
Я ей шепнул в узор широкой шали,
Я ей шепнул: «Любимая, постой!

Мне нежных слов сейчас не говори ты,
Сейчас куда пристойней помолчать.
Ты слышишь, тополь песню об убитом
Поет листвой под тихий звон ручья?

Ты видишь, там — и медленно и туго
Свивает кольца голубые дым?
Давай же вместе с закадычным другом
И мы с тобой немного погрустим!»

Высокий полог в звезды пышно выткан,
Спокойно все над нитями дорог.
Любимую я проводил к калитке —
Свою печаль я проводить не мог.

1927

СОНЕТ

«Суровый Дант не презирал сонета,
В нем жар любви Петрарка изливал...»
А я брожу с сонетами по свету,
И мой ночлег — случайный сеновал.

На сеновале — травяное лето,
Луны печальной розовый овал.
Ботинки я в скитаньях истоптал,
Они лежат под головой поэта.

Привет тебе, гостеприимный кров,
Где тихий хруст и чавканье коров
И неожидан окрик петушиный...

Зане я здесь устроился, как граф!
И лишь боюсь, что на заре, прогнав,
Меня хозяин взбрызнет матерщиной.
1929

НА СЕВЕР

В скитаньях дальних сердцем не остынь,
Пусть ветер с моря
Медленен и горек,
Земля одета в золото пустынь,
В цветной костюм
Долин и плоскогорий.

Но, многоцветно вымпелы подняв,
В далекий край,
Заснеженный и юный,
Где даль морей норд-осты леденят,
Уходят бриги, тралеры и шхуны.

Седой туман на Шпи́цберген идет,
Но ветер свищет
Боцманом веселым,
И, тяжело раскалывая
Лед,
Торжественно проходят ледоколы.

Весь Север вытих,
вспенился
и в рост
Поднялся вдруг,
Чтоб дерзкие ослабли.
Но в гущу замороженную звезд
Медлительно
Взмывают дирижабли.

Здесь, в пристальном
Мерцании ночей,
У чутких румбов
Зорки капитаны,
И, путь открыв широкий для гостей,
Склоняются неведомые страны...

Мгла впереди запутана, как бред.
Лукавый путь
Тревожен и опасен,
Но доблесть новых северных побед
Багряным флагом
Отмечает «Красин».

1930

К МУЗЕ

Ты строй мне дом, но с окнами на запад,
Чтоб видно было море-океан,
Чтоб доносило ветром дальний запах
Матросских трубок, песни поморян.

Ты строй мне дом, но с окнами на запад,
Чтоб под окно к нам Индия пришла
В павлиньих перьях, на слоновых лапах,
Ее товары — золотая мгла.

Граненные веками зеркала...
Потребуй же, чтоб шла она на запад
И встретиться с варягами могла.
Гори светлей! Ты молода и в силе,
Возле тебя мне дышится легко.

Построй мне дом, чтоб окна запад пили,
Чтоб в нем играл заморский гость Садко
На гуслях мачт коммерческих флотилий!

1930 (?)

* * *

И имя твое, словно старая песня,
Приходит ко мне. Кто ее запретит?
Кто ее перескажет? Мне скучно и тесно
В этом мире уютном, где тщетно горит

В керосиновых лампах огонь Прометея —
Опаленными перьями фитилей...
Подойди же ко мне. Наклонись. Пожалей!
У меня ли на сердце пустая затея,
У меня ли на сердце полынь да песок,
Да охрипшие ветры!
Послушай, подруга,
Полюби хоть на вьюгу, на этот часок,
Я к тебе приближаюсь. Ты, может быть, с
юга.
Выпускай же на волю своих лебедей,—
Красно солнышко падает в синее море
И —
за пазухой прячется ножик-злодей
И —
голодной собакой шатается горе...
Если всё как раскрытые карты, я сам
На сегодня поверю — сквозь вихри разбега,
Рассыпаясь, летят по твоим волосам
Вифлеемские звезды российского снега.

Ноябрь 1931

ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ

Ты, конечно, знаешь, что сохранилась страна одна;
В камне, в песке, в озерах, в травах лежит страна.
И тяжелые ветры в травах ее живут,
Волнуют ее озера, камень точат, песок метут.

Все в городах остались, в постелях своих, лишь мы
Ищем ее молчанье, ищем соленой тьмы.
Возле костра высокого, забыв про горе свое,
Снимаем штиблеты, моем ноги водой ее.

Да, они устали, пешеходов ноги, они
Шагали, не переставая, не зная, что есть огни,

Не зная, что сохранилась каменная страна,
Где ждут озера, солью пропитанные до дна,
Где можно строить жилища для жен своих и детей,
Где можно небо увидеть, потерянное меж ветвей.

Нет, нас вели не разум, не любовь, и нет, не война,—
Мы шли к тебе словно в гости, каменная страна.
Мы, мужчины, с глазами, повернутыми на восток,
Ничего под собой не слышали, кроме идущих ног.

Нас на больших дорогах мира снегами жгло;
Там, за белым морем, оставлено ты, тепло,
Хранящееся в овчинах, в тулупах, в душных печах
И в драгоценных шкурах у девушек на плечах.

Остались еще дороги для нас на нашей земле,
Сладка походная пища, хохочет она в котле,—
В котлах ослепшие рыбы ныряют, пена блестит,
Наш сон полынным полымем, белой палаткой крыт.

Руками хватая заступ, хватая без лишних слов,
Мы приходим на смену строителям броневиков,
И переходники видят, что мы одни сохраним
Железо, и электричество, и трав полуденный дым,

И золотое тело, стремящееся к воде,
И древнюю человечью любовь к соседней звезде...
Да, мы до нее достигнем, мы крепче вас и сильней,
И пусть нам старый Бетховен сыграет бурю на ней!
1931

ПЕСНЯ

В черном небе волчья проседь,
И пошел буран в бега,
Будто кто с размаху косит
И в стога гребет снега.

На косых путях мороза
Ни огней, ни дыму нет,
Только там, где шла береза,
Остывает тонкий след.

Шла береза льда напиться,
Гнула белое плечо.
У тебя ж огонь еще:
В темном золоте светлица,
Синий свет в сенях толпится,
Дышат шубы горячо.

Отвори пошире двери,
Синий свет впусти к себе,
Чтобы он павлиньи перья
Расстелил по всей избе,

Чтобы был тот свет угарен,
Чтоб в окно, скуласт и смел,
В иглах сосен вместо стрел,
Волчий месяц, как татарин,
Губы вытянув, смотрел.

Сквозь казацкое ненастье
Я брожу в твоих местах.
Почему постель в цветах,
Белый лебедь в головах?
Почему ты снишься, Настя,
В лентах, в серьгах, в кружевах?

Неужель пропащей ночью
Ждешь, что снова у ворот
Потихоньку захохочут
Бубенцы и конь заржет?

Ты свои глаза открой-ка —
Друга видишь неужель?
Заворачивает тройки
От твоих ворот метель.

Ты спознай, что твой соколик
Сбился где-нибудь в пути.
Не ему во тьме собольей
Губы теплые найти!

Не ему по вехам старым
Отыскать заветный путь,
В хуторах под Павлодаром
Колдовским дышать угаром
И в твоих глазах тонуть!

1932

КОНЬ

Замело станицу снегом — белым-бело.
Путался протяжливый волчий во́лок,
И ворон откуда-то нанесло,
Неприютливых да невеселых.

Так они и осы́пались у крыльца,
Сидят раскорячившись, у хозяина просят:
«Вынеси нам обутки,
Дай нам мясца, винца..
Оскудела сытая
В зобах у нас осень».

А у хозяина беды да тревоги,
Прячется пес под лавку —
Боится, что пнут ногой,
И детеныш, холстяной, розовоногий,
Не играет материнскою серьгой.

Ходит павлин-павлином
В печке огонь,
Собирает угли клювом горячим.
А хозяин башку стопудовую
Положил на ладонь —
Кудерь подрагивает, плечи плачут.

Соль и навар полынный
Слижет с губ,
Грохнется на месте,
Что топором расколот,
Подымется, накинет буланый тулуп
И выносит горе свое
На уличный холод.

Расшатывает горе дубовый пригон
Бычьи его кости
Мороз ломает.
В каждом бревне нетесаном
Хрип да стон:
«Что ж это, голубчики,
Конь пропадает!
Что ж это — конь пропадает. Родные!» —
Растопырил руки хозяин, сутул.
А у коня глаза темные, ледяные.
Жалуется. Голову повернул.
В самые брови хозяину
Теплом дышит,
Теплым ветром затрагивает волоса:
«Принеси на вилах сена с крыши».
Губы протянул:
«Дай мне овса».

«Да откуда ж?! Милый! Сердце мужичье!
Заместо стойла
Зубами сгрызи меня...»
По свежим полям,
По луговинам
По-птичьи
Гриву свою рыжую
Уносил в зеленя!

Петухами, бабами в травах смятых
Пестрая станица зашумела со сна,
О цветах, о звонких пегих жеребятах
Где-то далеко-о затосковала весна.

Далеко весна, далеко,—
Не доехать станичным телегам.
Пело струнное кобылье молоко,
Пахло полынью и сладким снегом.

А потом в татарской узде,
Вздыбившись под объездчиком сытым,
Захлебнувшись
В голубой небесной воде,
Небо зачерпывал копытом.

От копыт приплясывал дом,
Окна у него сияли счастливей,
Пролетали свадебным,
Веселым дождем
Бубенцы над лентами в гриве!..

...Замело станицу снегом — белым-бело.
Спелой бы соломки — жисти дороже!
И ворон откуда-то нанесло,
Неприветливых да непригожих.

Голосят глаза коньи:
«Хозяин, ги-ибель,
Пропадаю, Алексеич!»
А хозяин его
По-цыгански, с оглядкой,
На улку вывел
И по-воровскому
Зашептал в глаза:
«Ничего...

Ничего, обойдется, рыжий,
Ишь, каки снега, дорога-то, а!»
Опускалась у хозяина ниже и ниже
И на морозе седела голова.

«Ничего, обойдется...
Сено-от близко...»
Оба, однако, из этих мест.
А топор нашаривал
В поленьях, чисто
Как середь ночи ищут крест.

Да по прекрасным глазам,
По карим
С размаху — тем топором...
И когда по целованной
Белой звезде ударил,
Встал на колени конь
И не поднимался потом.

Пошли по снегу розы крупные, мятые,
Напитался ими снег докрасна.
А где-то далеко заржали жеребята,
Обрадовалась, заулыбалась весна.

А хозяин с головою белой
Светлел глазами, светлел,
И небо над ним тоже светлело,
А бубенец зазвякал
Да заледенел...
1932

* * *

Какой ты стала позабытой, строгой
И позабывшей обо мне навек.
Не смейся же! И рук моих не трогай!
Не шли мне взглядов длинных из-под век.
Не шли вестей! Неужто ты иная?
Я знаю всю, я проклял всю тебя.
Далекая, проклятая, родная,
Люби меня хотя бы не любя!
1932

* * *

Пó снегу сквозь темень пробежали
И от встречи иашей за версту,
Где огии иеясиые сияли,
За руку простились на мосту.

Шла за мной, ие плача и не споря.
Пóд небом стояла, как в избе,
Теплую, тяжелую от горя,
Золотую притянул к себе.

Одарить бы иа прощанье — нечем,
И в последний раз блеснули и,
Развязались, поползли на плечи
Крашеные волосы твои.

Звезды Семиречья шли иад нами,
Ты стояла долго, может быть,
Девушка со строгими бровями,
Навсегда готовая простить.

И смотрела долго, и следила
Папиросы иаглый огонек.
Не видал. Как только проводила,
Может быть, и повалилась с ног.

А в вагоне тряско, дорогая,
И шумят. И рядятся за жизнь.
И на полках, сонные, ругаясь,
Бабы, будто шубы, разлеглись.

Синий дым и рыжие овчины,
Крашенные горечью холсты,
И летят за окнами равнины,
Полустанки жизни и кусты.

Выдаст, выдаст этот дом шатучий!
Скоро ли рассвет? Заснул народ,
Только рядом долго и тягуче
Кто-то тихим голосом поет.

Он поет, чуть прикрывая веки,
О метелях, сбившихся с пути,

О друзьях, оставленных навеки,
Тех, которых больше не найти.

И еще он тихо запевает,
Холод расставанья не тая,
О тебе, печальная, живая,
Полная разлук и встреч земля!

1933

ПЕСЕНКА ДЛЯ КИНО

Выйди, выйди в утреннее море
И закинь на счастье невода.
Не с того ль под самою кормою
Разрыдалась синяя вода.

Позабыл, со мною не простился,
Не с того ль, ты видишь, милый, сам,
Расходился Каспий, рассердился,
Гонит Каспий волны к берегам.

Не укутать тонкой шалью плечи,
Не хочу, чтоб шторм не уставал,
Погляди, идет ко мне навстречу,
Запевает самый старый вал.

Я тебя не позабуду скоро,
Ты меня забудешь, может быть...
Выйди в море,— самая погода
Золотую рыбицу ловить.

1934

ЖЕНИХИ

Вот, что случается порою.
А. Пушкин

Сам колдун
Сидел на крепкой плахе
В красной сатинетовой рубахе —
Черный,
Без креста,
И не спеша,
Чтобы как-нибудь опохмелиться,

Пробовал в раздумье не водицу —
Водку
Из неполного ковша.

И пестрела на столе закуска:
Сизый жир гусиного огузка,
Рыбные консервы,
Иваси,
Маргарин и яйца всмятку — в общем,
Разное,
На что отнюдь не ропщем,
Всё, что продается на Руси!

А кругом шесты с травой стояли,
Сытый кот сиял на одеяле,
Отходил —
Пушистый весь —
Ко сну,
Жабьи лапы сохли на шпагате,
Но колдун
Не думал о полатях —
Что-то скучно было колдуну.

Был он мудр, учен,
Хотишь — изволь-ка,—
Килы
Он присаживал настолько,
Что в Калуге снять их не могли.
Знал наперечет,
Читал любого:
Бедного,
Некрасова,
Толстого —
Словом, всех писателей земли.

Пожилой, но в возрасте нестаром,
Все-таки не зря совсем,
Недаром
По округе был он знаменит —
Жил, на прочих глядя исподлобья,
И творил великие снадобья
Веснами,
Когда вода звенит.

Кроме чародейского обличья,
От соседей мужиков в отличье
Он имел
Довольно скромный дар:
Воду из колодца брать горстями,
В безкозыря резаться с чертями,
Обращать любую бабу в пар.

И теперь,
На крепкой плахе сидя,
То ль в раздумье,
То ль в какой обиде,
Щуря глаз тяжелый,
Наперед
Знал иль нет,
Кто за версту обходом
По садам зеленым, огородам
Легкою стопой к нему идет?

Стукнула калитка,
Дверь открыта,
По двору мелькнула — шито-крыто,
Половицы пробирает дрожь:
Входит в избу Настя Стегунова,
Полымем
Горят на ней обновы...
— Здравствуй, дядя Костя,
Как живешь?

И стоит —
Высокая, рябая,
Кофта на ней дышит голубая,
Кружевной платок
Зажат в руке.
Шаль с двойной турецкою каймою,
Газовый порхун — он сам собою,
Туфли на французском каблуке.

Плоть свою могучую одела,
Как могла...
— А я к тебе по делу,
Уж давно душа моя горит,
Не пришла,
Когда б не этот случай,
Свет давно мне, девушке, наскучил,—
Колдуну Настасья говорит.

— Вся деревня
В зелени, в июле,
Избы наши в вишне потонули,
Свищут вечерами соловьи,
Голосисты жаворонки в поле,
Колосиста рожь...
Не оттого ли
Жарче слезы девичьи мои?

Уж как выйдут
Вечером туманы,
Запоют заветные баяны
На зеленых выгонах,
И тут
Парни — бригадиры, трактористы —
Танцевать тустеп и польку чисто
Всех моих подружек разберут.
Только я одна стоять останусь,
Ни худым,
Ни милым не достанусь —
Надломили яблоню в саду!
Кто полюбит горькую, рябую?
Сорву с себя кофту голубую,
Сниму серьги, косу разведу.

Сон нейдет,
Не спится мне в постели,
Всё хочу, чтоб соловьи не пели,
Чтобы резеда не расцвела...
Восемь суток
Плакала, не ела,
От бессонья вовсе почернела,
Крепкий уксус с водкою пила.
Я давно разгневалась на бога.
Я ему поверила немного,
Я ему —
Покаялась, сычу!
И к тебе пришла сюда
Не в гости —
С низкой моей просьбой:
Дядя Костя,
Приворот-травы теперь хочу.

...Служит колдуну его наука,
Говорит он громко Насте:
— Ну-ка,

Дай мне блюдце белое сюда.—
Дуиул-плюиул,
Налил в блюдце воду,—
Будто летом в тихую погоду
Закачалась круглая вода.

— Что ты видишь, Настя?
— Даль какая!
Паруса летят по ней, мелькая
Камыши
Куда ни кииешь взгляд...
— Что ты видишь?
— Вижу воду снова.
— Что ты видишь, Настя Стегуиова?
— Вижу, гуси-лебеди летят!

Служит колдуну его наука.
Говорит он тихо Насте:
— Ну-ка,
Не мешай,
Не балуй,
Отойди.
Всё содею, что ты захотела.
А пока что сделано полдела,
Дело будет,
Девка,
Впереди.

Всё содею —
Нужно только взяться.—
Тут загоготал он:
— Гуси-братцы,
Вам привет от утки и сыча! —
...Поднимались
Колдовские силы,
Пролетали гуси белокрылы,
Отвечали гуси гогоча!
— Загляни-ка, Настя Стегуиова,
Что ты видишь?
— Вижу воду снова,
А по ней
Плывет двенадцать роз.

— Кончено! —
Сказал колдун.— Довольно,
Натрудил глаза над блюдцем — больно.

Надо
Поступать тебе
В колхоз.

Триста дней работай без отказу,
Триста —
Не отлынивай ни разу,
Не жалея крепких рук своих.
Как сказал —
Всё сбудется, не бойся.
Ни о чем теперь не беспокойся.
Будет тебе к осени жених!

Красноярское —
Село большое,
Что ты всё глядишься в волны, стоя
Над рекой, на самой крутизне?
Ночи пролетают — синедуги,
Листья осыпаются в испуге,
Рыбы
Шевелят крылом во сне.

Тучи раздвигая и шатаясь,
Красным сарафаном прикрываясь,
Проступает бабий лик луны —
Август, август!
Тихо сквозь ненастье
В ясном небе вызвездило счастье...
Чтой-то стали ночи холодны.

Зимы ль снятся лету?
Иль старинный
Грустный зов полночный журавлиный?
Или кто кого недолюбил?
Август, август!
Налюбиться не дал
Тем, кто в холоду твоем изведал
Лунный, бабий, окаянный пыл.

Горячи, не тягостны работы,
У Настасьи полный рот заботы,
Все колосья кланяются ей,
Все ее исполнятся желанья,
Триста дней проходят, как сказанье,
Мимо пролетают триста дней!

Низко пролетают над полями...
Каждый день
Задел ее крылами.
Под великий, звонкий их припев,
Гордая,
Спокойная,
Над миром,
Первым по колхозу бригадиром
Стала вдруг она, похорошев.

Август, август!
Стегуновой Насте
В ясном небе вызвездило счастье.
Мимо пролетело
Триста дней.
В урожай,
Несметный, небывалый,—
Знак Почета, золотой и алый,
Орден на груди горит у ней.

И везут на двор к ней изобилье:
Ревом окруженные и пылью,
Шесть волов, к земле рога склонив,
Всякой снеди груды,
Желто-пегих
Телок двух ведут возле телеги,
Красной лентой шеи перевив.
Самой лучшей — лучшая награда!
А обед готовится как надо,
Рыжим пламенем лопочет печь...
...Съев пельменей двести,
Отобедав,
Ко всему колхозу напоследок
Председатель обращает речь:

— Честь и слава Насте Стегуновой!
Честь и слава
Нашей жизни новой!
Нам понять, товарищи, пора:
Только так —
И только так!
Спокойно
Можем мы сказать — она достойна,
Лучшему ударнику — ура!

— Правильно сказал! Ура, директор!

. . . .

Много шире Невского проспекта
Улица заглавная у нас,
Городских прекрасней песни, тоньше,
Голоса девические звонъше,
Ярче звезды в сорок восемь раз!

Всё, что было,
Вдоль по речке сплыло,
Помнила,
Жалела,
Да забыла,
Догорели черные грехи!
Пали, пали на поле туманы —
Развернув заветные баяны,
Собирались к Насте женихи!

Вот они идут, и на ухабах
Видно хорошо их —
Кепки набок,
Руки молодые на ладах.
Крепкой силой, молодостью схожи.
Август им подсвистывает тоже
Птицами-синицами в садах.

А колдун, покаясь всенародно,
Сам вступил в колхоз...
Теперь свободно
И весьма зажиточно живет.
Счет ведет в правленье, это тоже
С чернокнижьем
Очень, в общем, схоже,
Сбрил усы и отрастил живот.

И когда его ребята дразнят,
Он плюет на это безобразье,
Настя ж всюду за него горой,
Будто нет у ней другой кручины...
И какие к этому причины?

Вот что приключается порой!
1935

ПРОЩАНИЕ С ДРУЗЬЯМИ

Друзья, простите за все — в чем был виноват,
Я хотел бы потеплее распрощаться с вами.
Ваши руки стаями на меня летят —
Сизыми голубицами, соколами, лебедями.

Посулила жизнь дороги мне ледяные —
С юностью, как с девушкой,
распрощаться у колодца.
Есть такое хорошее слово — *родныя*,
От него и горюется, и плачется, и поется.

А я его оттаивал и дышал на него,
Я в него вслушивался.
И не знал я сладу с ним.
Вы обо мне забудете — забудьте! Ничего,
Вспомню я о вас, дорогие мои, радостно.

Так бывает на свете — то ли зашумит рожь,
То ли песню за рекой заслышишь, и верится,
Верится, как собаке, а во что — не поймешь,
Грустное и тяжелое бьется сердце.

Помашите мне платочком за горесть мою,
За то, что смеялся, покуль полыни запах...
Не растут цветы в том дальнем, суровом краю,
Только сосны покачиваются на птичьих лапах.

На далеком, милом Севере меня ждут,
Обходят дозором высокие ограды,
Зажигают огни, избы метут,
Собираются гостя дорогого встретить как надо.

А как его надо — надо его весело:
Без песен, без смеха, чтоб ти-ихо было,
Чтобы только полено в печи потрескивало,
А потом бы его полымем надвое разбило.

Чтобы затейные начались беседы...
Батюшки! Ночи-то в России до чего ж темны.
Попрощайтесь, попрощайтесь, дорогие,
со мной,— я еду
Собирать тяжелые слезы страны.

А меня обступят там, качая головами,
Подпершись в бока, на бородах снег.
«Ты зачем, бедовый, бедуешь с нами,
Нет ли нам помилования, человек?»

Я же им отвечу всей душой:
«Хорошо в стране нашей — нет ни грязи,
ни сырости,
До того, ребятушки, хорошо!
Дети-то какими крепкими выросли.

Ой и долог путь к человеку, люди,
Но страна вся в зелени — по колени травы.
Будет вам помилование, люди, будет,
Про меня ж, бедового, спойте вы...»
1936

* * *

Снегири <взлетают> красногруды...
Скоро ль, скоро ль на беду мою
Я увижу волчьи изумруды
В нелюдимом, северном краю.

Будем мы печальны, одиноки
И пахучи, словно дикий мед.
Незаметно все приблизит сроки,
Седина нам кудри обовьет.

Я скажу тогда тебе, подруга:
«Дни летят, как по ветру листьё,
Хорошо, что мы нашли друг друга,
В прежней жизни потерявши всё...»
Февраль 1937



Александр Твардовский

МАТЕРИ

Я помню осиновый хутор
И детство — разбегом коня...
Я помню, ты каждое утро
Корову пасла за меня.

Покуда я спал, улыбаясь,
С сухим армяком в головах,
Ты — тихая и простая —
Корову кормила в кустах...

Ногами росу обсыпала,
Сбирала грибы на заре...
А с солнышком — всё просыпалось
На вызолоченном дворе.

И шел я на позднюю смену,
Спешила ты печь затоплять...
И пахло подкошенным сеном,
И тихо дымились поля.

1927

ДУМЫ О ДАЛЕКОМ

Белый домик, белый городок,
Белые дымящиеся стежки.
Как далек, немыслимо далек
Ровный край ячменя и картошки.

Воздух горьковатый, как миндаль,
День как море — полон и просторен.

Никогда никто мне не повторит
Ни строкой, ни краской эту даль.

Над узором этих мелких строк
Я сижу у низкого окошка...
Белый домик, белый городок,
Белые дымящиеся стежки...
1928

БРАТЬЯ

Лет семнадцать тому назад
Были малые мы ребятишки.
Мы любили свой хутор,
Свой сад,
Свой колодец,
Свой ельник и шишки.

Нас отец, за ухватку любя,
Называл не детьми, а сынами.
Он сажал нас обапол себя
И о жизни беседовал с нами.

— Ну, сыны?
Что, сыны?
Как сыны —
И сидели мы, выпятив груди,—
Я с одной стороны,
Брат с другой стороны,
Как большие, женатые люди.

Но в сарае своем по ночам
Мы вдвоем засыпали несмело.
Одинокий кузнечик сверчал,
И горячее сено шумело...

Мы, бывало, корзинки грибов,
От дождя побелевших, носили.
Ели желуди с наших дубов —
В детстве вкусные желуди были!..

Лет семнадцать тому назад
Мы друг друга любили и знали.
Что ж ты, брат?

Как ты, брат?
Где ж ты, брат?
На каком Беломорском канале?..

1933

* * *

Я иду и радуюсь. Легко мне.
Дождь прошел. Блестит зеленый луг.
Я тебя не знаю и не помню,
Мой товарищ, мой безвестный друг.

Где ты пал, в каком бою — не знаю,
Но погиб за славные дела,
Чтоб страна, земля твоя родная,
Краше и счастливее была.

Над полями дым стоит весенний,
Я иду, живущий, полный сил.
Веточку двурогую сирени
Подержал и где-то обронил...

Друг мой и товарищ, ты не сетуй,
Что лежишь, а мог бы жить и петь.
Разве я, наследник жизни этой,
Захочу иначе умереть?

1934

* * *

С одной красой пришла ты в мужний дом,
О горестном девичестве не плача.
Пришла девчонкой — и всю жизнь потом
Была горда своей большой удачей.

Он у отца единственный был сын —
Делиться не с кем. Не идти в солдаты.
Двор. Лавка. Мельница. Хозяин был один.
Живи, молчи и знай про свой достаток.

Ты хлопотала по двору чуть свет.
В грязи, в забвенье подрастали дети.
И не гадала ты, была ли, нет
Иная радость и любовь на свете.

И научилась думать обо всем —
О счастье, гордости, плохом, хорошем —
Лишь так, как тот, чей был и двор и дом,
Кто век тебя кормил, бил и берег, как лошадь...

И в жизни темной, муторной своей
Одно себе ты повторяла часто,
Что это все для них, мол, для детей,
Для них готовишь ты покой и счастье.

А у детей своя была судьба,
Они трудом твоим не дорожили,
Они росли — и на свои хлеба
От батьки с маткой убежать спешили.

И с ним одним, угрюмым стариком,
Куда везут вас, ты спокойно едешь,
Молчащим и бессмысленным врагом
Подписывавших приговор соседей

Старик в бараке охал и мычал,
Молился богу от тоски и злобы,
С открытыми глазами по ночам,
Худой и страшный,
Он лежал бок о бок.

И труд был — жизнь, спокойствие твое.
Работать приходилось не задаром.
Ты собирала сучья и корье
С глухим терпеньем труженицы старой.

Ты здесь жила и забывала счет
Дням и неделям,
Хоть еще не знала,
Чей рубят лес,
Куда река течет
И для кого корье ты собирала.

Ты вновь жила,
О прежнем не скорбя,
Трудилась честно
И была готова
Всю силу выдать,
Показать себя
За непривычно ласковое слово.

И в славный день
Тебе прочли приказ,
Где премию старухе объявили,
Где за полвека жизни в первый раз
За честный труд
Тебя благодарили.

Ты встала перед множеством людей
С отрезом доброго старушечьего ситца.
И смотришь ты в приветливые лица
И вспомнила замужество, детей...

Наверно, с ними
Радостью своей
Теперь и ты могла бы поделиться.
1935

ПЕСНЯ

Сам не помню и не знаю
Этой старой песни я.
Ну-ка, слушай, мать родная,
Митрофановна моя.

Под иголкой на пластинке
Вырастает песня вдруг,
Как ходили на зажинки
Девки, бабы через луг.

Вот и вздрогнула ты, гостья,
Вижу, песню узнаешь...
Над межой висят колосья,
Тихо в поле ходит рожь.

В знойном поле сиротливо
День ты кланяешься, мать.
Нужно всю по горстке ниву
По былинке перебрать.

Бабья песня. Бабье дело.
Тяжелеет серп в руке.
И ребенка плач несмелый
Еле слышен вдалеке.

Ты присела, молодая,
Под горячею копной.

Ты забылась, напевая
Эту песню надо мной.

В поле глухо, сонно, жарко.
Рожь стоит — не перестой.
...Что ж ты плачешь? Песни ль жалко
Или горькой жизни той?

Или выросшего сына,
Что нельзя к груди прижать?..
На столе поет машина,
И молчит старуха мать.

1936

МАТЕРИ

И первый шум листвы еще неполной,
И след зеленый по росе зернистой,
И одинокий стук валька на речке,
И грустный запах молодого сена,
И отголосок поздней бабьей песни,
И просто небо, голубое небо —
Мне всякий раз тебя напоминают.

1937

* * *

Рожь, рожь... Дорога полевая
Ведет неведомо куда.
Над полем низко провисая,
Лениво стонут провода.
Рожь, рожь — до свода голубого.
Чуть видишь — где-нибудь вдали
Ныряет шапка верхового,
Грузовичок плывет в пыли,
Рожь уходилась. Близки сроки.
Отяжелела и на край
Всем полем подалась к дороге,
Нависнула — хоть подпирай.
Знать, колос, туго начиненный,
Четырехгранный, золотой
Устал держать пуды, вагоны,
Составы хлеба над землей.

1939



Михаил Исаковский

НА УЛИЦЕ

Апрель ударил голубым крылом
О городскую черствую дорогу.
И вот со звоном выкатился лом
Из шумной двери солнцу на подмогу.

И целый день в руках играет сталь,
Вздыхают глухо ледяные глыбы.
Сегодня день — прозрачный, как хрусталь,
Сегодня день приветливых улыбок.

Весь город напоён ласкающим теплом,
Неугомон у каждого порога...
Апрель ударил голубым крылом
О городскую черствую дорогу.

1924

ДВЕНАДЦАТЬ ТРАВ

Хорошо походкой вялой
Мять в лугах шелка отав,
Под Ивана под Купала
Собирать двенадцать трав.

Под подушку — тра́вы в клети,
И в прохладной тишине,
Может статься, на рассвете
Милый явится во сне...

Ночь проходит. День стучится.
Просыпается народ.
Только суженый не снится,
Только ряженый нейдет.

Небо радостно над хатой,
А на сердце — грусть-тоска.
Знать, напрасно были смяты
Те отавные шелка.

1924

ПОДСНЕЖНИКИ

Я сегодня буду очень нежным
И, к тебе прильнувши головой,
Расскажу про синие подснежники,
Улыбающиеся на мостовой.

Мы вот жили и совсем не знали,
Что весна на поле расцвела,—
Маленькая девочка в сандалиях
Нам ее в корзинке принесла.

Ах, апрель, апрель голубоглазый! —
Не дает он спать мне по ночам,
Хоть его веселые рассказы
Только отголосками звучат.

Где-то там шумят лесные чащи
И по пашне прыгают грачи.
Здесь весну — большую, настоящую —
Лишь пожарник видит с каланчи.

Я пойду на городскую площадь,
Где чрез камни прыгает ручей,
И скажу: «Свези меня, извозчик,
Погостить немного у грачей...»

Он в порыве гневного припадка
Пустит ругань колкую по мне
И ударит, просто для порядка,
Кнутовищем лошадь по спине.

Отойду. И стану грустным, нежным
И, к тебе прильнувши головой,
Расскажу про синие подснежники,
Что грустят на пыльной мостовой.

Апрель, 1925

В НАШЕЙ ХАТЕ

За окном опять метель метет
И, видать, не скоро перестанет...
Зимний вечер. Мать холстину ткет
На старинном самодельном стане.

До полу́ночи не спит она,
А когда забудется немного —
Перед нею вместо полотна
Белая расстелется дорога.

Та дорога от родных полей
В дальний край зовет ее куда-то,
Хорошо бы побежать по ней,
Да под старость как-то страшновато.

Жизнь прошла. Недалеко́ конец,—
От него — попробуй — убеги-ка!..
На скамье усевшийся отец
Для лаптей обделывает лыко.

Он то молча глянет на окно,
То вздохнет — и за работу снова,—
Будто все уж сказано давно,
Будто больше нет уже ни слова.

Так идут, проходят вечера
В нашей старой, в нашей хате темной,
И всю ночь тропинки у двора
Заметает ветер неуемный.

1925

БЕРЕЗА

Вот здесь, вдали от любопытных глаз,
Береза шелестела молодая,
Сюда весной я приходил не раз,
У той березы встречи ожидая.

И том стихов в обложке голубой
Носил с собою целые недели:
Его мы вместе начали с тобой,
Его вдвоем и дочитать хотели.

Я думал — ты придешь. Но дни за днями шли,
А ты прийти сюда не догадалась.
Теперь березы нет: срубили и сожгли.
И книжка недочитанной осталась.

1936



Александр Яшин

* * *

Шла я нынче за́имкой,
На снега глядела:
Сколько за ночь заинька
Вывертов наделал.

У плетня у каждого,
С умыслом ли, нет ли,
Елочки обхаживал,
Затягивал петли.

А местами пустится
Через пни и кочки:
От куста до кустика
По четыре точки.

С милым я измучилась,
Слушала весь вечер:
До чего ж закручены
У милого речи!

Просто заливается,—
До того хлопочет,
А о чем старается?..
А чего он хочет?..

Я сноровку дикую,
Заячью-то знаю,
Знаю, когда прыгают,
А когда петляют.

1936

ПОЗДНЕЙ ОСЕНЬЮ

Всю ночь под окном провода гудят,
Шумно вздыхает ель,
И каплет с крыши, тоску наводя,
Чертова канитель.

Водой набухая, киснет земля,
Как тесто в квашне, шипит.
Раздвинулись вширь пустые поля,
Кругом не стерня — шипы.

Полдень, а будто не рассвело.
Будет ли он, рассвет?
В небе серо,
На земле голо,
Тени намека нет.

Выйдешь — озноб проберет до пят.
Каплет...
И так везде.
Не от того ли и зубы болят
Осенью у людей?

Не потому ли столько друзей,
Робких еще ребят,
Женятся осенью в дни дождей:
Капли гранит долбят.

Знать, от судьбы не уйти и мне:
Смыты водой мосты,
Только и света в твоем окне,
Радостей — только ты.

1938

ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ

Лежал песок, и солнце пекло
Рыхлое, желтое темя,
Щепотку одну запаяли в стекло,
И вот:
Земля измеряет время.

Завод у часов на минуты — не дни,
Но время под нашим началом:
Стечет песок — часы поверни,
И станет конец
Началом.

И кажется мне, что и я таков:
Вечером еле сидишь на стуле,
Свалишься, будто мертвый, без слов,
А утром поднимешься — жив-здоров,
Словно перевернули.

Может, и смерть такая придет:
Друзья наготовят тесу,
А смерть тебя, как часы, повернет —
И снова несутся за годом год,
И нету тебе износу.

1939

ИЗ ЦИКЛА «ПЕРВЫЕ ПИСЬМА»

Елене Первенцевой

1

День ли, ночь ли — света нет без милой.
Вспоминать, как слезы лить о том,
Как она доверчиво любила,
Осуждала и боготворила.
Плакала,
Но покидала дом.

Как, знобя, выматывая душу,
Ветер выл,
А я пытался спать.
С неба, с моря шла вода на сушу...
День и ночь смотреть в окно и слушать:
Не вернется ль?
Дверь не закрывать.

1935



КОММЕНТАРИИ

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ БЛОК (1880—1921). Печ. по изд.: Александр Блок. Стихотворения. Поэмы. Театр: В 2 т. Подготовка текста и примеч. Вл. Орлова.— Л.: Художественная литература. 1972.

Скифы (с. 27).— *Скифы* — воинственный кочевой народ, населявший в VII—III в. до н. э. причерноморские степи; здесь: революционная Россия. *Панмонголизм* — идея гибельного для Европы столкновения ее с Востоком; здесь: противостояние революционной России буржуазному миру. *Владимир Сергеевич Соловьев* (1853—1900) — философ-идеалист и поэт, оказавший определенное влияние на раннее творчество Блока. *Провал и Лиссабона, и Мессины* — разрушительные землетрясения XIV, XVII и нач. XX в. *Пестум* — древнегреческая колония в Южной Италии, разгромленная сарацинами в к. IX в. *Эдип* (др.-греч., миф.) — сын царя Фив, разгадавший загадку чудовища Сфинкса — крылатой полуженщины, полульвицы, и тем спасший Фивы от уничтожения. *Галльский* — французский. *Гунн* — здесь: варвар.

НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА ПАВЛОВИЧ (1895—1980). Печ. по изд.: Н. Павлович. Сквозь долгие года.— М.: Художественная литература, 1977.

Воспоминания об Александре Блоке (с. 30).— *В Политехническом музее* в первые послереволюционные годы проходили «Вечера новой поэзии». «*О доблестях, о подвигах, о славе...*» — первая строка знаменитого стихотворения А. Блока. *Мать* — Александра Андреевна Блок (по первому мужу), Кублицкая-Пиоттух (по второму), урожденная Бекетова (1860—1923). *Люба* — Любовь Дмитриевна Блок, урожденная Менделеева (1881—1939), жена поэта. *Гофман* Эрнст Теодор Амадей (1776—1822), *Тик* Людвиг (1773—1853), *Новалис* (наст.: Фридрих фон Харденберг, 1772—1807), *Брентано* Клеменс (1778—1842), *Гейне* Генрих (1797—1856) — немецкие писатели-романтики. «*Vergiftet!*» (нем.) — отравленный. «*Ко всему готовы*» — цитата из поэмы А. Блока «Двенадцать». «*Свет погас*» (1890) — первый роман Джозефа Редьярда *Киплинга* (1865—1936), посвященный жизненному крушению талантливого художника.

ВАЛЕРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ БРЮСОВ (1873—1924). Печ. по изд.: В. Я. Брюсов. Стихи. Сост., вступ. ст. и примеч. Н. Банникова.— М.: Современник. 1972.

«Я вырастал в глухое время...» (с. 36).— *Цусима, Мукден* — неудачные для России сражения в русско-японскую войну (14—15 мая и 6—25 февраля 1905 г. по ст. ст.).

Парки в Москве (с. 37).— *Парки* (римск, миф.) — богини судьбы, пряхи. Одна прядет нить жизни, другая распределяет судьбы, третья в назначенный час обрезает жизненную нить. *Иван* I Данилович *Калита* (?—1340) — московский князь, заложивший основы политического и экономического могущества Москвы.

России (с. 37).— *Выя* (устар.) — шея.

Грядущий гимн (с. 42).— *Илион* (Троя) — древний город в Малой Азии, осаде которого посвящена эпопея древнегреческого легендарного поэта Гомера «Илиада». *Дант*(е) Алигьери (1265—1321) — итальянский поэт, автор «Божественной комедии».

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ (настоящая фамилия Борис Николаевич Бугаев, 1880—1934). Печ. по изд.: А. Белый. Стихотворения и поэмы Вступ. ст. Т. Ю. Хмельницкой. Подготовка текста и примеч. Н. Б Банк и Н. Г. Захаренко.— М.-Л.: Советский писатель, 1966.

Демон (с. 47).— Образ летящего Демона восходит одновременно к М. Ю. Лермонтову («Демон») и английскому поэту Дж. Мильтону («Потерянный рай»). Образ Демона поверженного может восходить к знаменитой картине М. А. Врубеля, о творчестве которого сам А. Белый писал Э. К. Метнеру 17/XI 1902 г.: «...Впечатление от его картин — подавляющее...» (А. Белый, Стих-я и поэмы. М.-Л., 1966. с. 610). *Лета* (др.-греч., миф.) — река забвения в царстве мертвых.

Сумасшедший (с. 48).— Переработано из стихотворения «Жертва вечерняя» («Золото в лазури»).

ФЕДОР КУЗЬМИЧ СОЛОГУБ (настоящая фамилия Тетерников, 1863—1927). Печ. по изд.: Ф. Сологуб. Стихотворения. Сост., подготовка текста, вступ. ст. и примеч. М. И. Дикман.— Л.: Советский писатель, 1978.

«День и ночь измучены бедою...» (с. 53).— Примечание Ф. Сологуба: «В книге С. Шашкова «Шаманство в Сибири» передается легенда о том, что мать, пославшая свою дочь за водою, долго ждала ее, потеряла терпение и закричала: «Чтоб солнце ее взяло!» Солнце и месяц сошли с неба, чтобы овладеть девушкою; солнце уступило ее месяцу, потому что ночной путь опасен без спутницы» (Ф. Сологуб. Стихотворения.— Л.: Советский писатель. 1978, с. 629). Стихотворение посвящено памяти жены Сологуба Ан. Н. Чеботаревской, которая 23 сент. 1921 г. в приступе психастении бросилась в р. Ждановку и утонула. Сологуб писал 21 дек. 1921 г. А. Г. Горнфельду: «Анастасия Николаевна дала мне все то счастие, которое может дать самоотверженно верная жена и беззаветно преданный друг... Мы были с нею более близки, чем бывают люди в браке... В ней для меня было всегда живое воплощение моей собственной художественной и житейской совести... Одним из последних тяжелых ударов для нее была смерть А. А. Блока» (Там же, с. 628). Ранее не найденное, обезображенное тело Чеботаревской было вынесено одной из последних льдин против дома, где жил Сологуб. Он опознал покойницу по кольцу, которое снял с ее руки и в дальнейшем бережно хранил. О. Д. Форш вспоминала о Сологубе: «Потом он опять жил, потому что он был поэт, и стихи к нему шли». Но с «покорностью своему музыкальному, особому дару», он «давал в нем публичный стихотворный отчет, уже ничего для себя не желая» (Там же, с. 628).

«Подумай, на праздник я выду...» (с. 54).— Обращено к Ан. Н. Чеботаревской. *Девы Обиды* — в «Слове о полку Игореве»: «Въстала обида в силах Даждьбожа внука, вступила девою на землю Трояню...» (Слово о полку Игореве. М., Худ. лит., 1967, с. 28).

Багряница — пурпурный плащ, парадная одежда владетельных особ.
«Эллиптической орбитой...» (с 57).— *Гелиотроп* (буквально: поворачивающийся за солнцем, греч.) — темно-лиловый садовый цветок. *Кони Феба*,— Феб (Аполлон) — греч., миф. бог-целитель, прорицатель, покровитель искусств, соединивший в себе губительное и гармоничное начала. Аполлона часто изображали правящим солнечной колесницей *Асфодель* — растение из семейства лилейных; в греч. миф. по лугам асфоделей блуждают тени умерших в царстве мертвых. Антитеза гелиотроп — асфодель здесь: цветок света — цветок тьмы.

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН (1870—1953). Печ. по изд.: И. Бунин. Избранное. Сост. и послесл. О. Михайлова.— М.: Московский рабочий, 1977 и Собр. соч.: В 9 т. Т. 8.— М.: Художественная литература, 1967.
Канарейка (с. 58).— *Брэм* Альфред Эдмунд (1829—1884) — немецкий зоолог.
«У птицы есть гнездо, у зверя есть нора...» (с. 58).— «Лисицы имеют норы и птицы гнезда, а сын человеческий не имеет, где преклонить голову» (Матфей, 7, 20).

КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ БАЛЬМОНТ (1867—1942). Печ по изд.: К. Бальмонт. Избранное. Сост. В. Бальмонт, вступ. ст. Л. Озерова, примеч. Р. Помирчего.— М.: Художественная литература, 1980.

«Имени Герцена» (с. 62).— Написано к 50-летию со дня смерти Александра Ивановича Герцена (1812—1878). *«Полярная звезда»* (1855—1868) — литературный и общественно-политический сборник, *«Колокол»* (1857—1867) — первая русская революционная газета, издававшаяся А. И. Герценом и Н. П. Огаревым за границей.

«Погаснет солнце» (с. 63).— Стихотворение восходит к известному сонету французского поэта эпохи Возрождения Пьера де Ронсара «Скорей погаснет в небе звездный хор...».
«Полдень» (с. 67) и «Я слышу» (с. 68) — из сборника «Мое — ей. Россия. Стихи». 1923. Стихотворения этого сборника обращены к России, к ее природе, к ее культуре. «И все пройдя пути морские, // И все земные царства дней, // Я слова не найду нежней, // Чем имя звучное: Россия» («Она»).

ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ СЕВЕРЯНИН (настоящая фамилия Лотарев, 1887—1941). Печ. по изд.: И. Северянин. Стихотворения. Вступ. ст. В. А. Рождественского, подготовка текста и примеч. Е. И. Прохорова.— Л.: Советский писатель, 1975.
Фея Eiole (с. 69).— *Великое Ничто* (тайсюй) — понятие китайской философии эпохи Суи (960—1279), относящееся к учению об общих закономерностях бытия. Сравн. у К. Бальмонта по мотивам китайских философов: «Бесчувственно Великое Ничто, // Земля и небо — свод немого храма. // Я тихо сплю.— я тот же и никто, // Моя душа — воздушность фимиама». Однако «Ничто» Бальмонта как квинтэссенция бытия существенно отличается от «Eiole» Северянина как квинтэссенции красоты.

Классические розы (с. 70).— Эпиграф из стихотворения *И. П. Мятлева* (1796—1844) «Розы». Последние две строки стихотворения Северянина выбиты на плите его могилы в Таллине.
Запевка (с. 70).— Отправным толчком в поисках фольклоризованного образа родины, неотделимого от песенного начала, могло послужить одноименное стихотворение Л. А. Мея.

Игорь Северянин (с. 71).— *Раз нет в них ананасов и асто* — имеются в виду образы более ранних стихов Северянина: «Ананасы в шампанском!..» (1915) и др. *Иронизирующее дитя* — сравн.: «Ведь я лирический ироник: // ирония — вот мой канон» («Двусмысленная слава», 1918).

Стареющий поэт (с. 73).— *Весна — всегда весна, как ни была б грустна* — развитие пушкинского мотива «Как грустно мне твое явленье, // Весна, весна! пора любви!» («Евгений Онегин»).

МАРИНА ИВАНОВНА ЦВЕТАЕВА (1892—1941). Печ. по изд.: М. Цветаева. Избранные произведения. Вступ. ст. Вл. Орлова, подготовка текста и примеч. А. Эфрон и А. Саакянц.— М.-Л.: Советский писатель, 1965.

«**Писала я на аспидной доске...**» (с. 74).— Обращено к мужу М. Цветаевой С. Я. Эфрону. *Внутри кольца* — на внутренней стороне обручального кольца М. Цветаевой было выгравировано имя мужа и дата свадьбы.

Час души (с. 77).— Обращено к критику А. В. Бахраху, написавшему рецензию на книгу Цветаевой «Ремесло». *Волчицы римской* — по преданию, кормилицы основателей Рима Ромула и Рема. *Над тростниковой Корзиною клонилась дщерь* (библ.) — дочь египетского фараона, нашедшая на берегу Нила в корзинке младенца-подкидыша, будущего пророка Моисея, и усыновившая его. *Струны Давидовой сквозь сны Сауловы* (библ.) — юный Давид, будущий царь Иудеи, прогонял своей игрой злого духа, исцеляя царя Саула от тоски.

Поэма горы (с. 79).— Обращена к К. Б. Родзевичу — политическому деятелю, впоследствии члену Французской коммунистической партии, мужественному, обаятельному человеку с трудной судьбой. В год знакомства с Цветаевой (1923) он был студентом юридического факультета Пражского университета. *Гора* — Петршин (Смиховский) холм в Праге; здесь: символ высоты любви (устар. *гора* — верх). Эпиграф из романа немецкого писателя-романтика *Ф. Гельдерлина* (1770—1843) «Гиперион». *Парнас* — горный массив в Греции. По преданию, обиталище Аполлона и муз *Синай* (библ.) — гора, на вершине которой бог беседовал с Моисеем. *Персефоны зерно гранатовое* (греч., миф.) — когда бог подземного царства Аид похитил Персефону, она, чтобы вернуться на землю, не принимала пищи; но, не выдержав искушения, проглотила шесть зерен граната, и потому проводит 6 месяцев в году в царстве смерти. Гранатовые зерна — символ брака. *Коемуждо Сбудется — по слезам его* — перифраз библ.: «Коемуждо воздастся по делам его». *С дитятком — отпустил Агарь* (библ.) — бездетному Аврааму рабыня Агарь родила сына Измаила; когда же жена Авраама родила ребенка, она потребовала изгнания Агари и Измаила. *И мир, и Рим* — ясе. *Атлас* (греч., миф.) — титан, обреченный держать небесный свод в наказание за попытку завладеть небом. *Двенадцать апостолов* — здесь: фигурки на часах Пражского собора. *Аистово гнездо* — символ семейного благополучия. *Заповедь седьмая* (библ.) — «Не прелюбодействуй!»

ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ (1897—1934). Печ по изд.: Пролетарские поэты первых лет советской эпохи.— Л.: Советский писатель, 1958; В. Александровский. Стихотворения и поэмы.— М.: Художественная литература, 1957.

ВЛАДИМИР ТИМОФЕЕВИЧ КИРИЛЛОВ (1890—1943). Печ. по изд.: Пролетарские поэты первых лет советской эпохи.— Л.: Советский писатель, 1958; В. Кириллов. Стихотворения и поэмы.— М.: Художественная литература, 1970.

В т е д и и (с. 94).— *Царица — жаркая мечта...*— разработка образа из «ромаисеро» Г. Гейие «Азр». *И каменщик, подняв кирпич...*— образ из стихотвореиия В. Я. Брюсова «Каменщик». *«Пути и перепутья»* (1908—1909) — трехтомиое собр. соч. В. Я. Брюсова. В стихотвореиии отражеио движеиие от классического ромаитизма к револючиоииому ромаитизму к. XIX — иач. XX в.

В о ж д и (с. 95). — *«Пять хлебов»* (еваиг.), которыми Христос иакормил «около пяти тысяч человек, кроме женщии и детей» (Матфей, 14,21).

«Н е с л о в а — в т о п р и з р а к и с л о в...» (с. 95).— *Сад цветет и поют соловьи* — отзвук поэмы А. Блока «Соловьииый сад». Здесь: символ поэзии.

З в е з д и ы й п у т ь (с. 96).— Обращеио к поэту Михаилу Прокофьевичу Герасимову (1889—1939).

«Я б о л е н п е с и я м и, и п е с и и — ж и з н ь м о я...» (с. 98.).— *«И темная душа, как дремлющая снасть...»* — разработка мотивов «Осеии» А. С. Пушкииа.

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВИЧ ПЛАТОНОВ (настоящая фамилия Климеитов, 1899—1951). Печ. по изд.: День поэзии.—М.: Советский писатель, 1983.

ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КАЗИН (1898—1981). Печ. по изд.: В. Казии. Избранное.— М.: Художествениая литература, 1985.

Р у ч и о й л е б е д ь (с. 104).— Первоиачальио посвящеио В. Ф. Плетиеву (1886—1942) — писателю, критику, теоретику Пролеткульта, возглавлявшему его по 1932 г.

Т в о й о б р а з (с. 107).— Обращеио к Аиие Ивановие Казииой (1910—1978), жеие повта.

АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ ПРОКОФЬЕВ (1900—1971). Печ. по изд.: А. Прокофьев. Собр. соч.: В 4 т. Т. 1. Коммеит. В. В. Базаиова.— Л.: Художествеииая литература, 1978.

ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ (иастоящая фамилия Ефим Алексеевич Придворов, 1883—1945). Печ. по изд.: Д. Бедный. Избраииое. Сост. и коммеит. И. С. Эвеитова, вступ. ст. А. А. Суркова.— М.: Художествеииая литература, 1983.

АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ БЕЗЫМЕНСКИЙ (1898—1973). Печ. по изд.: А. Безымеиский. Стихи о войиах.— М.: Воеииздат, 1968.

Ш а г и в о й н ы (с. 119).— Отражают впечатлеиия I мировой войиы.

НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ ТИХОНОВ (1896—1979). Печ. по изд.: Н. Тихоиов. Стихотвореиия и поэмы. Вступ. ст. В. А. Шошииа, подготовка текста и примеч. А. С. Морщихиной.— Л.: Советский писатель, 1981.

МИХАИЛ АРКАДЬЕВИЧ СВЕТЛОВ (1903—1964). Печ. по изд.: М. Светлов. Стихотвореиия и поэмы. Вступ. ст. и примеч. Е. П. Любаревой.— М.-Л.: Советский писатель, 1966.

ЭДУАРД ГЕОРГИЕВИЧ БАГРИЦКИЙ (иастоящая фамилия Дзюбии, 1895—1934). Печ. по изд.: Э. Багрицкий. Стихи и поэмы.— М.: Художествеииая литература, 1980.

Ч е р т о в ы к у к л ы (с. 131).— *Белобрысый* — Лжедмитрий I. *Напустить... багрового... петуха* — поджечь. *Сарынь* — ватага, *кичка* — иос корабля; *«Сарынь на кичку!»* — боевой клич волжских разбойииков. *Смерд* — крестьяиии. *Правеж* — взыскаиие долга истязаииями, иасилием. *Ярыжка* — иизший полицейский служитель.

Бунтовщицкая... слободка — речь идет о стрелецких бунтах 1680—1690-х гг. *Женщина из темного оконца* — царевна Софья. *Отрок* — Петр I. *Рыжая царевна* — Елизавета Петровна. *Певчий краснощекий* — ее фаворит А. Г. Разумовский (1709—1771). *Курносый немчик* — Петр III. *Женщина в гвардейском сюртуке* — Екатерина II. *Опять встает орда* — крестьянская война под предводительством Е. Пугачева. *Сумасшедший рыцарь* — Павел I. *Белокурый мальчик* — Александр I. *Гудит... Париж* — Великая французская революция 1789—1794 гг. *Артиллерист голодный* — Наполеон Бонапарт. *Песков египетских* — египетский поход Наполеона (1798—1799). *Папская... тиара упала* — Рим подпадает под власть Наполеона (1800—1801). *Дикий снег...* — поход Наполеона в Россию (1812). *В Таганроге* — смерть Александра I (1825). *Серые глаза и бакенбарды* — Николай I. *Карета сломана...* — убийство Александра II 1 марта 1881 г. народовольцем И. И. Гриневицким.

Тиль Уленшпигель (с. 136).— В том же году Багрицкий написал еще один монолог с тем же названием («Отец мой умер на костре, а мать...»). Содержание обоих монологов восходит к роману бельгийского писателя Шарля Анри де Костера (1827—1879) «Легенда об Уленшпигеле» (1867), посвященному национально-освободительной войне Нидерландов против испанского владычества во времена Филиппа II (XVI в.). *Тиль Уленшпигель* — герой народных легенд, певец свободы, «веселый странник, плакать не умевший», воплощение духа трудолюбивого и перенесшего много страданий народа. Оба монолога Багрицкого стилистически связаны с песнями Уленшпигеля из романа де Костера. В стихотворении «Тиль Уленшпигель» (1918, 1926) Багрицкий сравнивал самого себя с легендарным героем. *Менестрель* — здесь: бродячий певец. *Фландрия, Брабант* — провинции Нидерландов, родина Уленшпигеля. *Король* — Филипп II (1527—1598), король Испании. Фердинандо Альваро де Толедо, герцог *Альба*, прозванный «Кровавый герцог» (1507—1582) — полководец, жестокий наместник Нидерландов. *Фламанские графы* — Ламораль, граф Эгмонт, принц Гевернский (1522—1568), наместник Фландрии, и Артуа, разбивший французов при Гравелине (1558), и Филипп Монморанси, граф Горн (1518—1568), наместник Зютфена и Гельдерна; казнены Филиппом II. *Шутовской колпак* — знак гезов — нидерландских повстанцев. *Пепел отца* — отец Уленшпигеля, Клаас, был сожжен на костре испанскими инквизиторами.

Сказание о море, матросах и Летучем Голландце (с. 137).— *«Летучий Голландец»* — призрачный корабль, встреча с которым предвещает гибель. Летучий Голландец — капитан этого корабля, упрямо пытающийся в бурю обогнуть мыс Горн. *Валгалла* (сканд., миф.) — чертог мертвых воинов, дворец Одина, бога войны, верховного бога в скандинавской мифологии; погибших в сражении относят в Валгаллу воинственные девы — валкирии. *Огесен Свен* — датский летописец XII в. *Вагнеровский прибой* — Рихард Вагнер (1813—1883), немецкий композитор, автор опер «Летучий голландец» (1841) и «Валькирия» (из тетралогии «Кольцо нибелунга», 1854—1874). *Ассам* — штат на Северо-Востоке Индии.

К огню вселенскому (с. 143).— *Лир* — персонаж трагедии В. Шекспира «Король Лир». *Мольер* Жан-Батист (1622—1673) — французский комедиограф и актер. *Мейерхольд* Всеволод Эмильевич (1874—1940) — советский режиссер-новатор и актер, в 1920—1938 гг. возглавлял театр в Москве (театр им. Мейерхольда). В 1910 г. Мейерхольд поставил комедию Мольера «Дон Жуан» в Александринском театре в Петербурге. *Сганарель* — слуга Дона Жуана.

Ф р о н т (с. 144).— *Трехверстка* — карта, составленная в масштабе трех верст в дюйме.

О с е н ь (с. 149). — *Самодур* — длинная леска с несколькими крючками для ловли без насадки.

В о з в р а щ е н и е (с. 152).— *Дальницкая* — улица в Одессе.

Н о ч ь (с. 153).— *МСПО* — Московский союз потребительских обществ.

П о с л е д н я я н о ч ь (с. 158).— *Явор* — белый клен. *Эрцгерцог* — Франц-Фердинанд, наследник австрийского престола, убийство которого 28 июня 1914 г. в Сараеве стало поводом для начала I мировой войны. *Грядущий убийца* — член сербской националистической организации «Черная рука» студент Принцип.

А л е к с а н д р у Б л о к у (с. 165).— *Цевница* — многоствольная флейта.

ИОСИФ ПАВЛОВИЧ УТКИН (1903—1944). Печ. по изд.: И. Уткин. Избранное.— М.: Художественная литература, 1975.

ИЛЬЯ (КАРЛ) ЛЬВОВИЧ СЕЛЬВИНСКИЙ (1899—1968). Печ. по изд.: И. Сельвинский. Избранная лирика.— М.: Художественная литература, 1979.

ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ КЕДРИН (1907—1945). Печ. по изд.: Д. Кедрин. Стихотворения и поэмы. Вступ. ст. Э. Кгяна.— М.: Московский рабочий, 1982; Д. Кедрин. Избранные произведения. Вступ. ст. и примеч. С. А. Коваленко.— Л.: Советский писатель, 1974.

С т р о и т е л ь (с. 175).— Рештовки — строительные леса.

Д в о й н и к (с. 176).— *Гезы* («нищие») прозвище нидерландских повстанцев XVII в. См. комментарий к стихотворению Э. Багрицкого «Тиль Уленшпигель». *Скитальческий посох* — посох Уленшпигеля.

Б р о д я г а (с. 178).— Возможно, навеяно мотивами А. Грина («Бегущая по волнам» и др.).

К оф е й н я (с. 180).— Эпиграф восходит к гл. 8 («О пользе общения») книги «Гулистан» персидского мыслителя XIII в. Саади. *«Диван»* — сборник стихов одного поэта, расположенных строго по жанрам и в алфавитном порядке рифм (по последним буквам рифмуемых слов).

С о л о в е й (с. 181).— Превращение соловья в ворона может быть связано с мотивами знаменитого стихотворения Э. По «Ворон».

З я б л и к (с. 184).— *Лучок* — приспособление для ловли птиц.

С в а д ь б а (с. 184).— *Аттила* (ум. 453), предводитель гуннов, женился на бургундке Ильдико и умер внезапно в ночь после свадебного пира. По преданию, Ильдико отомстила за свой народ. *Дакия* — римская провинция (часть территории современной Румынии) в 271 г. под натиском варваров оставлена римлянами. *Железный Хромец* — Тимур (Тамерлан), среднеазиатский полководец и завоеватель (1336—1405). *Оравший* — пахавший. *Греческий огонь* — зажигательная смесь из смолы, нефти, серы, селитры, применявшаяся при осаде крепостей и в морских боях; греческий огонь вода не гасила.

БОРИС ПЕТРОВИЧ КОРНИЛОВ (1907—1938). Печ. по изд.: Б. Корнилов. Стихотворения и поэмы. Вступ. ст. Л. А. Аннинского, примеч. М. П. Берковича.— М.-Л.: Советский писатель, 1966.

М о я А ф р и к а (с. 208).— Эпиграф из романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Считается, что дед Пушкина А. П. Ганнибал был родом из Африки. *Гвоздильный, Балтийский, Айвазд, Путиловский,*

Трубочный, Парвиайнена — названия петроградскнх заводов. *Гурда* — шашка особой закалкн.

ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ МАРТЫНОВ (1905—1980). Печ. по нзд.: Л. Мартынов. Река Тншина.— М.; Молодая гвардия, 1983.

Летопнсец (с. 240).— Мартыиов знал одного крестьянина, собнрателя кинг н редкостей, жнвшего в одиом нз крупиых сел севернее Омска иа Иртыше. Кинги н другие редкостн тот хранил в подвале своего дома. *Расстегай* — старнниый распашной сарафан. *Даниил Заточник* (XII в.) — автор «Слова Даниила Заточника». *Ванька-Ключник* — герой лубочиого издаиия песни о слуге, разлучнвшем князя с жеиою. *Киязь Урусов* — автор «Кннги о лошадях», выдержавшей до революцин несколько нздаинй. *Волюм* — том. *Боярка* (сиб.) — боярышник. *Поярки* (устар.) — овцеводы.

КОНСТАНТИН (КИРИЛЛ) МИХАЙЛОВИЧ СИМОНОВ (1915—1979). Печ. по нзд.: К. Снмоиов. Стихотвореиия н поэмы. Вступ. ст. Л. И. Лазарева. Прнмеч. Т. А. Бек.— Л.: Советскнй писатель, 1982.

«Всю жизнь любил он рисовать войну...» (с. 244).— По свидетельству поэта, в 1 н 3 строфах речь идет о художнике В. В. Верещагнне н летчнке В. П. Чкалове; во 2 взят собнрательный образ. *«Ньюпор»* — тнп самолета времен I мнровой войны.

ДАВИД ДАВИДОВИЧ БУРЛЮК (1882—1967). Печ. по нзд.: В Полнтехническом. «Вечер новой поэзнн».—М.: Московский рабочнй, 1987.

ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КАМЕНСКИЙ (1884—1961). Печ. по нзд.: В. Камеискнй. Стнхотворения и поэмы.— М.-Л.: Советский писатель, 1966.

Велимир (Виктор Владнмнровнч) Хлебников (1885—1922). Печ. по нзд.: В. Хлебников. Творения. Общ. ред. и вступ. статья М. Я. Полякова; Сост., подготовка текста и коммент. В. П. Григорьева и А. Е. Паринса.— М.: Советский писатель, 1986; В. Хлебников. Стнхотворения н поэмы.— Волгоград, 1985.

Единая книга (с. 258).—Первое стнхотворенне нз «сверхповестн» «Азы из Узы». *Аз* — я; здесь: начало, освобожденная личность. *Узы* — оковы. *Черные Веды, книги монголов* — священные кинги индуистов и буддистов-ламаистов. *Янцекиянг* — Янцзы.

Слово о Эль (с. 259).— *Легот* — безветрие.

«Русь, певучая в месяце Ай...» (с. 261).— Хлебников воссоздает народный календарь: *ай* — май, *ау* и *голодай* — нюнь, *страдник и грозник* — нюль, *серпень* — август, *осенины* — начало бабьего лета, *реун* — сеитябрь, *зазимье* — начиналось с октября, *свадебник* — октябрь, *братчины* — (буквальио: пнр вскладчнну) — ноябрь; *зимник* — декабрь, *просинец* — январь, *бокогрей* — февраль, *пролетье* начиналось с марта, *свистун* — март, *цветень* и *заиграй овраги* — апрель. *Батыева дорога* — Млечный Путь.

Море (с. 262).— Словарь неологнзмов, диалектиых слов и профессиональных терминов: *белага* — балахон; *будно* (неолог.) — должно будет; *ваража* — созвездие; *варакать* — делать кое-как; *вза* — по-настоящему; *дзыга, кубарь* — волчок, юла; *диль* (дель) — рыболовиая сеть; *зга* — темень; *кокова* — головка, резное украшение на носу судна; *корог* — нос судна; *котора* — барка; *крутель* — зд.: водоворот; *кукарачь* — на четвереньки; *кумоворот* — водоворот; *мозговать* — привередничать; *морцо* — залив, отделенный от моря песчаным наносом; *мра* — густой снег с туманом; *музур* — матрос; *неман* — предел; *отеть* — лентяй; *охава* — шнрь; *охан* — ставная сеть,

оханный — снабженный оханом; *ошкуй* — белый медведь; *шигануть* — шалить, пугать; *ямуры* — подводные ямы.

Иранская песня (с. 264).— *Двое чудаков* — В. Хлебников и художник М. В. Доброковский (1895—1942).

«Ра, видящий очи свои...» (с. 265).— *Ра* — 1) (древнеегипетск., миф.) — бог солнца; 2) (античн.) — Волга. *Ра-зин* у Хлебникова: *Волга глаз* (диал. — *зин* — глаз).

Три сестры. (с. 269).— Посвящено сестрам Синяковым: художнице Марии (1890—1984), Надежде (1889?—1975) и Вере (1895?—1973), у которых на даче под Харьковом в Красной Поляне Хлебников подолгу гостил в 1916—1920 гг. Четвертая сестра Оксана (Ксения) Синякова-Асеева (1893—1985) была в это время с Н. Асеевым на Дальнем Востоке.

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ МАЯКОВСКИЙ (1893—1930).— Печ по изд.: Полн. собр. соч.: В 13 т.— М., Гослитиздат., 1955—1961.

Люблю (с. 274).— *По Мюллеру* — популярному руководству по гимнастике. *Рион(и)* — река в Грузии; в этих местах прошло детство поэта. *«Три листика»* — карточная игра. *Бутырки* — Бутырская тюрьма в Москве, где поэт сидел в одиночной камере № 103 в 1909—1910 г. *Иловайский Д. И.* (1832—1920) — автор учебников по истории, написанных в реакционно-монархическом духе. *Барбаросса* (буквально рыжая борода, ит.) Фридрих (1123—1190) — германский император. *Прообраза Мопассанова* — имеется в виду рассказ Ги де Мопассана «Идиллия». *Крез* — богатейший лидийский царь.

Тамара и Демон (с. 282).— *Коган Петр Семенович* (1872—1932),— критик и историк литературы. *«Красная Нива»* — московский литературно-художественный иллюстрированный еженедельник (1923—1931). *Про это пишет себе Пастернак* — возможно, имеется в виду стихотворение Пастернака «Памяти Демона».

Товарищу Нетте — пароходу и человеку (с. 289).— *Нетте* Теодор Иванович (1896—1926) — советский дипкурьер, убитый бандитами в поезде, следовавшем через территорию Латвии. *Якобсон* Роман Осипович (род. 1896) — литературовед и языковед, познакомивший Маяковского с Нетте.

Сергею Есенину (с. 292).— *Из напостов* — из литераторов, группировавшихся вокруг журнала «На посту» — руководящего органа РАПП. *«Англетер»* — гостиница в Ленинграде. *«Ни слова, о друг мой...»* — романс П. И. Чайковского на слова А. М. Плещеева. Партия *Лоэнгрина* из одноименной оперы Вагнера считалась одной из лучших ролей Леонида Витальевича *Собинова* (1872—1934) — крупнейшего советского певца — лирического тенора.

Служака (с. 301).— *МКК* — Московская Контрольная Комиссия.

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ АСЕЕВ (1889—1963). Печ. по изд.: Н. Асеев. Избранное.— М.: Художественная литература, 1979.

СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ БОБРОВ (1889—1971). Печ. по изд.: В Политехническом. «Вечер новой поэзии».— М.: Московский рабочий, 1987.

«Ты раздвигаешь золото алоэ...» (с. 323).— С. П. Бобров, *«Лира лир»*, М., 1917.

БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ ПАСТЕРНАК (1890—1960). Печ. по изд.: Б. Пастернак. Избранное: В 2 т. Т. 1. Коммент. Е. В. Пастернак, Е. Б. Пастернака.

Я их мог позабыть (с. 325).— *Хиромант* — гадатель по

руке. *Дункан* — легендарный шотландский король. *Ордалия* («божий суд») — пытка, которую обвиняемый должен был вытерпеть, чтобы доказать свою невиновность. *Фауст* — герой средневековой народной легенды, ученый, стремившийся постичь первоосновы бытия и заключивший договор с дьяволом; легенда легла в основу одноименных трагедий К. Марло и И. В. Гете.

«Нас мало. Нас, может быть, трое...» (с. 327).— Откликом на него стало стихотворение А. Ахматовой «Нас четверо» (1961) с эпиграфами из стихотворений О. Мандельштама, Б. Пастернака и М. Цветаевой.

Вокзал (с. 330).— По утверждению автора, изображен Брестский, ныне Белорусско-Балтийский вокзал в Ленинграде. *Гарпии* (греч., миф.) — богини вихря.

Вторая баллада (с. 331).— Посвящено жене поэта З. Н. Пастернак. Первая «Баллада» того же года посвящена гастролям в Киеве Г. Г. Нейгауза. *Комплот* — заговор. *Плашкот* — лодка-плоскодонка.

Волны (с. 332) — *Кобулет*(и) — курорт в Аджарии. *Владикавказ* — ныне г. Орджоникидзе. *Казан* — котел. *Шли дни, шли тучи, били зорю...*— раздел посвящен Кавказской войне (1817—1864). *Ларс*, *Млеты* — станции на Военно-Грузинской дороге. *Деворах* — ледник на Казбеке. *Женщины в Путивле зегзицами* (кукушками) *не плачут...*— имеется в виду плач Ярославны из «Слова о полку Игореве».

«Годами когда-нибудь в зале концертной...» (с. 340).— *«Басма»* — марка дешевых папирос. *Сезам* — сказочное заклинание, открывающее двери. *Интермеццо* — маленькая музыкальная пьеса, часто помещается между двумя другими пьесами, написанными в более обширной форме и более серьезного характера.

«Любимая — молвы слащавой...» (с. 342).— *Леха* — борозда. *И с Пушкиным гусей и снег* — образ из «Евгения Онегина»: «На красных лапках гусь тяжелый, // Задумав плыть по лону вод, // Ступает бережно на лед. // Скользит и падает; веселый // Мелькает, вьется первый снег, // Звездами падая на брег» (гл. 4, строфа XLII).

«О, знал бы я, что так бывает...» (с. 343).— Близко стихотворению Г. Гейне «Довольно! Пора мне забыть этот вздор!..»

Художник (с. 343).— Первое из трех стихотворений цикла.

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЗАБОЛОЦКИЙ (1903—1958). Печ. по изд.: Н. Заболоцкий. Вешних дней лаборатория.— М.: Молодая гвардия, 1987. [Стихотворения публикуются без позднейшей правки]. Составл. и примеч. Н. Н. Заболоцкого.

Белая ночь (с. 345).— *Елагин* — остров в дельте Невы.

Меркнут знаки Зодиака (с. 351).— *Кекуок* — негритянский танец, модный в нач. XX в.

Ночной сад (с. 355).— *Железный Август* — начало охотничьего сезона.

Седов (с. 356).— *Седов* Георгий Яковлевич (1877—1914) — русский гидрограф, полярный исследователь, организовал экспедицию к Северному полюсу на судне «Св. Фока» (1912), умер близ острова Рудольфа (архипелаг Земля Франца-Иосифа). Заболоцкий был знаком с участником этой экспедиции художником Н. В. Пинегиным. *Водопьянов* Михаил Васильевич — летчик, Герой Советского Союза, в 1937 г. участник воздушной экспедиции на Северный полюс. *Шмидт* Отто Юльевич (1891—1956) — ученый, руководитель экспедиции к Северному полюсу, организатор дрейфующей станции СП-1

под руководством И. Д. Папаиииа. *Чкалов* Валерий Павлович (1904—1938) — летчик, Герой Советского Союза; в 1936—1937 гг. возглавлял экипаж, совершивший беспосадочный перелет из Москвы в Ванкувер (США) через Северный полюс с Г. Ф. Байдуковым и А. В. Беляковым.

СЕМЕН ИСААКОВИЧ КИРСАНОВ (1906—1972). Печ. по изд.: С. Кирсанов. Искания.— М.: Художественная литература, 1967.

ВАДИМ ГАБРИЭЛЕВИЧ ШЕРШЕНЕВИЧ (1893—1942). Печ. по изд.: В Политехническом. «Вечер новой поэзии».— М.: Московский рабочий, 1987.

АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ МАРИЕНГОФ (1897—1962). Печ. по изд.: В Политехническом. «Вечер новой поэзии».— М.: Московский рабочий, 1987.

«Н а к а т о р г у п у с т ь п р и в е д е т н а с д р у ж б а...» (с. 367).— *Где оседлав, как жеребенка, месяц...*— образ из стихотворения С. Есенина «Нивы сжаты, рощи голы...» (1917).

МАКСИМИЛИАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ВОЛОШИН (настоящая фамилия Кириеико-Волошин, 1877—1932). Печ. по изд.: М. Волошин. Стихотворения. Вступ. ст. С. С. Наровчатова, примеч. А. А. Евстигнеевой.— Л.: Советский писатель, 1977.

Д и к о е п о л е (с. 370).— *Понт* — Черное море. «*Киммерией* я называю восточную область Крыма от древнего Сурожа (Судака) до Босфора Киммерийского (Керченского пролива)» (М. Волошин. Стихотворения, с. 399). *Лепь* — красота. *Туга* — печаль. *Орлы на Равенских воротах исчезали...*— итальянский город Равенна неоднократно переходил из рук в руки, в том числе варварским племенам. «*Изникли, как обры*» — выражение русской летописи; легендарное царство обров было уничтожено в VII в. *Улус* — феодальный удел кочевников. *Аристотель Фиораванти* (1415—20 — ок. 1486) — итальянский архитектор, строитель Успенского собора в Московском кремле. *Концы* — народные инзы. *Никола-угодник* — св. Николай Чудотворец, защитник бедных, невинно осужденных. *Егорий — волчий пастырь* — св. Георгий Победоносец, покровитель земледельцев и скотоводов; охраняя домашний скот и людей от волков, в славянских поверьях становится повелителем волков.

Г о т о в н о с т ь (с. 372).— *Апокалипсический Зверь* — «И стал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами... Зверь... был подобен барсу; ноги у него — как у медведя, а пасть у него — как пасть у льва; и дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть» (Откровение Иоанна Богослова, 13, 1, 2).

Из цикла «П у т я м и К а и н а» (с. 373).— *Каин* (библ.) — старший сын Адама и Евы, первый человек, совершивший убийство на земле. *Агни* — бог огня. *Праманта* — вертящийся кусок дерева, с помощью которого добывали огонь; один из эпитетов Агни. *Синбад-мореход* — герой арабских сказок. *Фавн* (римск. миф.) — бог плодородия, покровитель скотоводства, полей и лесов. *Ундина* — русалка. *Саламандра* — дух огня. *Кобольд* — злой эльф. *Эльфы* — легкие воздушные существа, собирающиеся при лунном свете, духи атмосферы. *Никсы* — водяные духи. *Меч сподобился кресту* — «Средневековье было священным царством меча, являвшего прообраз креста» (М. Волошин, Стихотворения, с. 437). *In te, Domine, speravil* — надпись на мече XVI в. *Отклер* — меч Оливье, друга неистового Роланда. *Дюрандаль* — меч Роланда. *Он — Фея* — приписка против запи-

си о мече Ланселъ-дю-Лак в описи оружия Людовика VIII. *Меч, пылающий в деснице Серафима* — «И изгнал [Бог] Адама, и поставил на востоке у сада Едемского херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни» («Бытие», 3, 24). На одной стороне меча Сида Кампеадора (наст.: Родриго Диас де Бивар) (между 1026 и 1043—1099), испанского рыцаря, прославившегося подвигами в Реконкисте, было написано «Si! Si!», на другой — «No! No!» *Палачи... хоронили... усталые мечи* — «В Германии, когда меч отрубил 99 голов, собирались палачи со всей страны и торжественно со сложными религиозными обрядами в полнолуние, в полночь, в пустынном месте хоронили усталый меч» (М. Волошин. Стихотворения, с. 438) *Сен-Жюст* Антуан (1767—1794) и *Робеспьер* Максимилиан (1758—1794) — деятели Великой французской революции, были гильотинированы. *Антиномия Кантова ума* — антиномия — противоречие между двумя правильными, но исключающими друг друга положениями. Учение Иммануила *Канта* (1724—1804) об *антиномичности разума* стало толчком для разработки диалектики. «*Не мир, а меч*» — «Не мир пришел я принести, но меч» (Матфей, 10, 34); слова Христа «*Отмщенье мне...*» — цитата из Библии («Второзаконие», 32, 35) и «Послания апостола Павла к римлянам» (12,19). *Преступный монах* — Бертольд Шварц. *Неистовый* Орланд — герой одноименной поэмы Лудовико Ариосто. *Пар* — «...Есть для меня враги более важные, чем немцы. Это теперешние орудия разрушения, демоны взрыва, демоны машин, демоны организации» (М. Волошин. Стихотворения, с. 439). *Минотавр* (греч. миф.) — человек с головой быка, чудовище. «*Разверзлись два смеженных ночью глаза...*» — цитата из Каббалы о сотворении мира. *Гексаграмма* — каббалистический шестиугольник. *Палестра* — гимнастическая школа в Древней Греции. *Метоп* — украшенная рельефным изображением часть фриза на колоннах. *Эпод* — заключительная часть песнопения, исполнявшаяся хором в античной трагедии. *Эсхил* (525—456 до н. в.) — древнегреческий драматург. *Пиндар* (518 или 522—442 до н. э.) — древнегреческий поэт-лирик. *Дантов путь* — путь в ад, чистилище и рай, описанный *Данте* (см. В. Брюсов «Грядущий гимн») в «Божественной комедии». *Эмпирей* (греч., миф.) — высшая небесная сфера, место пребывания богов. *Интердикт* — запрещение в наказание за грехи исполнять религиозные обряды. *Галилей* Галилео (1564—1642) — итальянский физик и астроном. *Лаплас* Пьер Симон (1749—1827) — французский астроном. *Ньютон* Исаак (1642—1727) — английский физик и астроном. *Аэролит* — метеорит. *Льяло* — форма для отливки. *Вавилонская башня* должна была достичь небес. *Левиафан* (библ.) — морское чудовище. *Гоббс* Томас (1588—1679) — английский философ, автор утопии «Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского» (1651). *Иов* — праведник, подвергнутый тяжелейшим испытаниям и возроптавший (библ.). *Суд* — стихотворное переложение легенды о Страшном суде.

Сказание об иноке Епифании (с. 397).— *Епифаний* — видный деятель русского раскола, духовный наставник протопопа Аввакума, сожженный вместе с ним в 1682 г. *Зосима* (?—1478) — святой, игумен Соловецкого монастыря. *Савватий* (?—1435) — святой, основатель Соловецкого монастыря. *Никон* (Никита Минов, 1605—1681) — московский патриарх, церковный реформатор. *Арсен* (Арсений Грек) — сподвижник Никона, «справщик» книг на Печатном дворе. *Вольяшный* — литой, резной. *Кошница* — корзина. *Подворье у Николы Угрешского* — гостиница Николаевского монастыря на Угреше в Московском Кремле. *Бухвостов* Василий Борисович — полковник, голова московского стрелецкого полка, с 1697 г. воевода.

АРСЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ТАРКОВСКИЙ (р. 1907). Печ. по изд.: А. Тарковский. Избранное.— М.: Художественная литература, 1982.

САМУИЛ ЯКОВЛЕВИЧ МАРШАК (1887—1964). Печ. по изд.: С. Маршак. Стихотворения и поэмы. Вступ. ст. В. В. Смирновой, примеч. М. Л. Гаспарова.— Л.: Советский писатель, 1973.

НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ ГУМИЛЕВ (1886—1921). Печ. по изд.: Н. Гумилев. Избранные стихотворения.— М.: Правда (библиотечка «Огонька»), 1988; Простор, 1986, № 12.

Память (с. 409) — *Святой Георгий тронул дважды...*— в первую мировую войну поэт получил два солдатских «Георгия». *Новый Иерусалим* — образ восходит к «Откровению Св. Иоанна Богослова»: «И увидел я новое небо и новую землю; ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба» (гл. 21, с. 1—2); у сен-симонистов Новый Иерусалим означал веру в наступление нового земного рая — «золотого века». *Лев и орел* — два из четырех животных «Апокалипсиса» (гл. 4, ст. 6, 7, 8).

Слово (с. 411).— *Солнце остановил словом* Иисус Навин (библ., Книга Иисуса Навина) во время битвы с пятью Аморрейскими царями. *Словом разрушали города* — от звуков семи труб и общего восклицания народа обрушились стены Иерихона (книга Иисуса Навина, 6). *А для низкой жизни были числа* — в сознании древних числа выражали связь элементов Вселенной и место человека в мировой системе; счету придавалось магическое значение.

Заблудившийся трамвай (с. 413).— *Всадника длань* — медный всадник, памятник Петру I Э.-М. Фальконе.

Звездный ужас (с. 416) — Личные впечатления (поэт отправился в Абиссинию в 1910 г.; путешествие оказалось трудным и полным опасностей) и романтическая легенда сплавлены в стихах об Африке. «И я знаю, что, если мы видим порой // Сны, которым найти не умеем названья, // Это ветер приносит их, Африка, твой!» («Нигер»). *Зенды* — племя в Западном и Южном Иране.

МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ КУЗМИН (1875?—1936). Печ. по изд.: «Литературная Грузия», 1971, № 7, публ. Е. Ермиловой; «Нева», 1988, № 1, предисл. А. Тимофеева.

«Декабрь морозит в небе розовом...» (с. 421).— *Меншиков в Березове* — сюжет знаменитой картины В. И. Сурикова (1848—1916); *А. Д. Меншиков* (1673—1729) — сподвижник Петра I, фактический правитель государства при Екатерине I, сослан в Березов (ныне Тюменская область) императором Петром II.

«Был бы я художник — написал бы...» (с. 423).— *Черемшанова* Ольга Александровна (1904—1970) — поэтесса.

АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА (настоящая фамилия Горенко, 1889—1966). Печ. по изд.: Соч.: в 2 т. Т. 1.— М.: Художественная литература, 1987; «Нева», 1987, № 6.

«Тебе покорной? Ты сошел с ума!» (с. 425).— 6-е стихотворение из цикла «Черный сон», являющееся его «эпилогом», как оно названо в автографе; обращено ко второму мужу А. Ахматовой Владимиру Казимировичу Шилейко (1891—1930), филологу-востоковеду, поэту. В 1921 г. Ахматова разошлась с ним.

«Так просто можно жизнь покинуть эту...» (с. 428).— В авторском перечне стихотворений под заглавием «Памяти Есенина».

«Одни глядятся в ласковые взоры...» (с. 428).—

Подкапризовая дорога — в Царскосельском парке; в 1900—1905 гг. Ахматова училась в Царскосельской гимназии, летом 1910 г. вернулась туда с мужем Н. С. Гумилевым. Автограф с посвящением *Памяти Н*[иколая] *В*[ладимировича] *Н*[едоброво] (1882—1919) — поэта и критика, автора первой большой статьи о творчестве Ахматовой («Русская мысль», 1915, № 7).

Воронеж (с. 429).— *О. М.* — Осип Мандельштам. Весной 1936 г. Ахматова навестила в Воронеже сосланного туда О. Мандельштама.

«Я знаю, с места не сдвинуться...» (с. 429).— *Вий* — персонаж одноименной повести Н. В. Гоголя; глаза его закрыты настолько тяжелыми веками, что он не может открыть их без посторонней помощи. Знаменитая картина *В. Сурикова* изображает *боярыню* Феодосию Прокопиевну *Морозову*, сторонницу Аввакума, которую на санях везут в ссылку. Морозова умерла в заключении в Боровском монастыре в 1675 г.

«Requiem» (с. 430).— Автобиографическая поэма, затрагивающая драматические повороты судеб А. Ахматовой и ее сына Л. Н. Гумилева. «*Каторжные норы*» — цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Во глубине сибирских руд...». *Черная маруся* — автомобиль, в котором перевозили арестованных. *Как стрелецкие женки* — имеется в виду казнь стрельцов в к. XVII в. как историческая аналогия массовых репрессий. *Осень 1935. Москва.* — Муж А. Ахматовой Николай Николаевич Пунин (1888—1938), профессор-искусствовед, и ее сын Лев Николаевич Гумилев (р. 1912), ныне д-р истор. наук, профессор, были арестованы 27 окт. 1935 г., в связи с чем Ахматова срочно выехала в Москву. 3 ноября оба были освобождены. Это был первый, «предупреждающий» удар судьбы. *Кресты* — тюрьма в Ленинграде. *Огромная звезда* — можно предположить аналогию с вифлеемской звездой, предвещавшей не только рождение Христа, но и обреченность его на крестную муку (*«О твоем кресте высоком и о смерти говорят...»*) и избиение царем Иродом младенцев. *Верх шапки голубой и бледного от страха управдома* — по свидетельству Г. Жженова, в Ленинграде в 1938 г. вместе с командиром в форме НКВД и красноармейцем с винтовкой в квартиру того, кого должны были арестовать, приходил управдом для опознания личности арестованного. *Не рыдай Мене, Мати...* — слегка искаженная цитата из кондака (церковного песнопения). В рукописи был еще один эпиграф: You cannot made your mother an orphan. Joice. (Ты не можешь сделать свою мать сиротой. Джойс.— *англ.*) Джеймс Джойс (1882—1941) — ирландский писатель. *«Почто Меня оставил...»* — последние слова Христа на кресте. *Около моря, где я родилась* — в Одессе.

НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА КРАНДИЕВСКАЯ-ТОЛСТАЯ (1888—1963). Печ. по изд.: Н. В. Крандиевская-Толстая. Дорога.— М.: Художественная литература, 1985.

Гаданье (с. 439).— Мальчик Древней Спарты — символ выдержки; он сумел иначе не выдать себя, хотя украденная им лисица прогрызала ему живот.

РЮРИК ИВНЕВ (настоящая фамилия Михаил Александрович Ковалев, 1891—1981). Печ. по изд.: Р. Ивнев. Избранное.— М.: Художественная литература, 1985.

ОСИП ЭМИЛЬЕВИЧ МАНДЕЛЬШТАМ (1891—1938). Печ. по изд.: О. Мандельштам. Стихотворения. Вст. ст. А. Л. Дымшица. Подготовка текста и примеч. Н. И. Харджиева.— Л.: Советский писатель, 1973.

«*Я слово позабыл...*» (с. 445).— *Антигона* (греч. миф.) — верная дочь фиванского царя Эдипа, символ самопожертвования. *Стигийский* (греч. миф.) — от названия реки Стикс в царстве мертвых. *Зрячих пальцев* — здесь: символ слепоты. *Аониды* (греч. миф.)— музы.

«*Нет, никогда, ничей я не был современник...*» (с. 447).— *Сто лет тому назад* — возможно, речь идет о смерти Дж. Г. Байрона (1788—1824).

«*Есть женщины, сырой земле родные...*» (с. 451).— Стихотворение обращено к воронежской знакомой поэта, словеснику Н. Е. Штемпель.

СЕРГЕЙ МИТРОФАНОВИЧ ГОРОДЕЦКИЙ (1884—1967).— Печ. по изд.: С. Городецкий. Стихотворения и поэмы. Вст. ст. С. И. Машинского, примеч. Е. И. Прохорова.— Л., 1974.

Не белы снеги (с. 452).— Цикл назван по романсу А. Е. Варламова «Не белы-то снеги во чистом поле...» (1842). *Ежа* — еда. *«Коль славен...»* — мелодия, которую до революции отбивали колокола Спасской башни Кремля.

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ КЛЮЕВ (1884—1937). Печ. по изд.: Н. Клюев. Избранное.— М.: Советская Россия, 1981; Н. Клюев. Завещание.— М.: Правда (библиотечка «Огонька»), 1988; «Новый мир», 1987, № 7 — Погорельщина. Поэма. Предисловие и словарь-комментарий Н. И. Толстого.

Словарь диалектных слов и специфических выражений: *аксамит* — бархат; *атлабасный* — парчовый; *Бакан* — багряная краска; *баско* — красиво; *басменить* — покрывать тонким листом металла; *бахарь* — сказочник; *бересклет* — кустарниковое растение; *било* — подвесная доска, заменяющая колокол; *вап* — краска; *вежа* — шалаш; *векша* — белка; *верезжать* — визжать; *верея* — столб, на который навешивается створка ворот; *вериги* — цепи подвижников; *волвянка* — рыжик; *грай* — карканье; *гремучий лютик* — возможно, аналог гремучей травы — разрыв-травы, отмыкающей затворы; *гривна* — металлический обруч, шейное украшение; *гроб колодовый* — долбленный из цельного куска дерева; *грызь* — грыжа; *губы морские; губа* — поморское название далеко вдающихся в сушу морских заливов; *доможирят* — становятся домочадцами; *донце* — дощечка, в которую втыкается кудель для прядения; *дуванить дуван* — делить добычу; *желтяк* — желтый песок; *закомара* — полукруглое или килевое завершение части наружной стены здания, повторяющее очертания свода; *зарянка, зарянец* — самоцветный алый камень; *заполоветь* — зарумяниться; *запона* — застежка (бляха), украшенная камнем; *зограф* — иконописец; *зозуля* — кукушка; *кацея* — кадильница; *кобылица* — возможно, жимолость или другой кустарник; *козицы* — здесь: скулы; *коклюшки* — палочки для плетения кружев; *красная горка* — первое воскресенье после пасхи; *кросна* — ткацкий станок; *кудель* — вычесанный пучок льна для пряжи; *кунган* — кувшин или стеклянная кружка; *купава* — кувшинка; *купало* — праздник Ивана Купала (Иоанна Крестителя) 24 июня ст. ст., сохранивший ряд языческих обрядов, связанных с летним солнцестоянием; *лал* — рубин; *лестовицы* — кожаные четки старообрядцев; *лукоморье* — залив моря; *майка* — рыбьи молоки; *мёрды* — плетушки для загона рыбы; *мучная сата* — еда; сата — мера хлеба; *на заране* — на рассвете; *надгубье рудо* — рыжеусый; *напредки* — на будущее время; *насельник* — житель; *некуражно* — здесь: не брезгуя; *овсень* — первый день весны; *оникс* — агат с глазком; *остяки* (устар.) — ханты; *пестер* — берестяная сумка;

пестрец — 1. вид гриба; 2 — вид пырея; *пестрядь* — грубая бумажная ткань из разноцветных ниток; *плакун-трава* — кипрей; в древности верили в его магическую силу; *позатылица* — букв.: с задней стороны; *повалуша* — гридня, деревянная башенка; *полива* — глазурь; *порато* — весьма; *посулить леща* — пригрозить побить; *прасол* — перекупщик; *росный ладан* — пахучая смолка стиракса; *сермяга* — грубое крестьянское сукно; *сермяжный* (перен.) — мужицкий; *смарагд* — изумруд; *скатный* — круглый; *скрыня* — ларь; здесь: гроб; *сойма* — одномачтовое судно; *сонии* — сновидения; *сорочья лапка* — возможно, то же, что сорочьи цветы (ирисы); *соть* — соты; *струфокамил* — страус; по «Голубиной книге» — сказочная птица; *сувемки* — пространство; здесь: возможно, пути, тропки; *суслон* — девять снопов, составленных в круг и прикрытых десятым; *сутеменки* — легкие, сизолиловые сумерки; *сыропустная* — первая после масленицы неделя; *ткея* — ткачиха; *торока* — оторочка, бахромка; иконописи.— в лучах; *трудник* — сподвижник по обету; *умбра* — бурая краска; *фелонь* — церковное облачение; *хмара* — туман; *хризопраз* — халцедон; *чалый* — пепельной масти; *червлец* — багряная краска; *чермный* — темно-красный; *черпуга* — черпак; *ширять* — ворошить.

«Свет неприкосновенный, свет неприступный...» (с. 457).— *Мама* — Прасковья Дмитриевна Клюева (умерла в ноябре 1913 г.)

Гитарная (с. 457).— *Постель в новой горнице* (народн.) — могила; в народной балладе «Казак жену губил» убийца отвечает своим детям: «...Ваша матушка в новой горнице, // в новой горнице богу молится», выражаясь в переносном смысле (см. Собрание народных песен П. В. Киреевского. Тула. Приокское книжн. изд-во, 1988, с. 260).

«Вернуться с оленьего извоза...» (с. 459).— *Микола* — св. Николай Мирликийский, почитался как покровитель крестьян; его образ сближается у Клюева с былинным богатырем-пахарем Микулой Селяниновичем, трактуемым как собирательный образ русского крестьянства.

София — христианская великомученица; на иконах изображалась с крыльями.

«Недоумения не кори...» (с. 460).— *Гавриил* — архангел; *с горней розой* — в христианстве роза — райский цветок, символ Богородицы.

Погорельщина (с. 462).— *Иона* — библ. пророк, трое суток бывший в китовом чреве.

Книга, злата и дивна — у С. Клычкова в «Сахарном немце» есть притча о старце, потерявшем золотую книгу «во темном лесу... Читают ее теперь пушистые зайцы.., листают их лапки золотые страницы, мелькают перед ними заглавные буквы, заставки с хитрым и тайным рисунком, и встает перед открытой нежно-звериной душой скрытый за строками смысл... величавый, как мир пред зарею, и пугливый пред людским глазом... А может, книгу давно размыли дожди... и страницы легли цветной луговиной... а буквы рассыпались в мох... Ходят бабы и девки по ягоды в лес и по складам читают великую книгу...» (С. Клычков. Чертухинский балакирь.— М.: Советский писатель, 1988, с. 117—118).

Алконост — легендарная морская птица с человеческим лицом; птица печали. *Огонь купинный* — библейский образ пылающего, но не сгорающего куста, в пламени которого Ангел Господень явился Моисею. *Доличное письмо* — все, что пишется иконописцами раньше лица. *Кола* — река на Кольском полуострове.

«Ответы» Андрея Денисова — «Поморские ответы», книга поборника старообрядчества, основателя Выговской обители в Заонежье. *Иван Филиппов* — поборник старообрядчества; Н. Клюев считал его автором книги «Виноград российский», исполненной похвал самосожжению; настоящий автор книги Семен Денисов, брат Андрея Денисова. *Свеча радельная* — горящая во время молитвы. *Виноградье... со калиною* — припев северных святочных песен (колядок). *Неопалимая Купина, Обрадованное Небо, Сладкое Лобзание, Утоли Моя Печали, Умягчение Злых Сердец, Споручница Грешных, Одигитрия* — иконы Богородицы. *Лаба* — приток реки Кубань. *Чирин* Прокопий Иванович (конец XVI — перв. пол. XVII в.), *Рублев* Андрей (ок. 1360—70 — после 1430), *Парамшин* (Парамша) — русские иконописцы. *Сирин* — райская птица с человеческим лицом; птица радости. *Кирие елейсон* (греч.) — Господи, помилуй!; *Воды-маргариты* — здесь: жемчужные. *Нил Столпник* (Столбенский, ?—1554) — святой, совершивший духовный подвиг на о. Столобие на озере Селигер. *Аввакум* Петрович (1620 или 1621—1682) — протопоп, глава и идеолог русского раскола, автор «Жития» и многих других сочинений, сожженный по царскому указу. *Феодосий* — инок-аскет, проповедник самосожжений в Северной Помории. *«Ныне отпущаеши...»* — возглас старца Симеона, увидевшего младенца Христа, что было для него знаком окончания жизненного пути. *Мокробородый Спас*, Мокрый Спас — начало успенского поста; *Коровий Влас*, коровий праздник — 18 апреля ст. ст., день св. Власия. *«Да молчит всякая плоть человеча...»* — церковное песнопение на тему жертвенной смерти Христа. *Горняя София* — здесь: символ небесной церкви. *Сороковой... май* — сорокалетие поэта. *Перун* — бог грома; идол Перуна стоял обычно на холме. *Стратилат Федор* — греческий военачальник, святой великомученик. *Пашенька* — вероятно, мать поэта (см. «Свет неприкосновенный, свет неприступный...»). *Бубенцы — дары Валдая*.— «Колокольчик, дар Валдая» — образ из романса на стихи Ф. Глинки (1786—1880) «Тройка». *Иродова дщерь*, а точнее падчерица тетрарха Иудеи Ирода Антипы, Саломея восхитила отчима своей пляской настолько, что тот обещал исполнить любую ее просьбу; по наущению своей матери *Иродиады*, она попросила голову Иоанна Крестителя. *Спас* — изображение головы Христа. *Лидда* — город в древней Палестине, где, по преданию, творил чудеса покровитель Москвы, св. великомученик Георгий Победоносец (Егорий). *Св. Онорий* (Гонорий) — архиепископ арелатский, отшельник, чьи сподвижники вопреки учению Блаженного Августина о предопределении защищали идею свободы и ответственности человека. *Митрий* — св. Дмитрий Солунский. *Протасий* — святой мученик, обезглавленный во времена императора Нерона. *Саронские горы* — горы в Палестине.

СЕРГЕЙ АНТОНОВИЧ КЛЫЧКОВ (1889—1940). Печ. по изд.: С. Клычков. Стихотворения.— М.: Художественная литература, 1985.

«З е м л я и н е б о, п л о т ь и д у х...» (с. 485).— *Зазимок* — заморозки; первый снежок. *Под исподь* — под низ.

«С т у ч и т м о р о з в о б о ч ь я...» (с. 489). *Обочья* — скаты.

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕСЕНИН (1895—1925).— Печ. по изд.: С. Есенин. Собр. соч. в 3 т. Т. 1, 2.— М.: Правда, 1970.

«М и р т а и н с т в е н н ы й, м и р м о й д р е в н и й...» (с. 492).— Первоначально под заглавием «Волчья гибель».

«Н е ж а л е ю, н е з о в у, н е п л а ч у...» (с. 493).— Стихотворение, по свидетельству самого поэта, восходит к лирическому отступлению VI главы «Мертвых душ» Н. В. Гоголя.

«Я обманывать себя не стану...» (с. 495).— «Есть прекрасный русский стих, который я не устану твердить в московские полные ночи, от которого как наваждение рассыпается рогатая нечисть...

...не расстреливал несчастных по темницам...

Вот символ веры, что подлинный канон настоящего писателя» (О. Мандельштам. Четвертая проза. Цит. по: А. Латынина. Колокольный звон — не молитва. «Новый мир». 1988, № 8, с. 239).

Стансы (с. 498).— *Чагин* Петр Иванович (1898—1967) — журналист; в годы знакомства с Есениным — редактор газеты «Бакинский рабочий». *Тигулевка* — арестантская.

Мой путь (с. 500).— *Лориган* — марка французских духов.

Черный человек (с. 506).— Образ черного человека, по признанию поэта, восходит к пушкинскому («Моцарт и Сальери»), но у Есенина черный человек не символ рока, судьбы, а двойник самого героя.

ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ ВАСИЛЬЕВ (1910—1937). Печ. по изд.: П. Васильев. Стихотворения и поэмы. Вст. ст. С. П. Залыгина, примеч. С. А. Поделкова.— Л.: Советский писатель, 1968.

Бухта (с. 510) — Владивостокская бухта Золотой Рог. *Родов* Семен Абрамович (1893—1968) — поэт и критик, один из руководителей РАППА; в 1927 г. заведовал отделом литературы и искусства газеты «Советская Сибирь».

Сонет (с. 514).— *«Суровый Дант...»* — строки из «Сонета» А. С. Пушкина.

На Север (с. 515).— *«Красин»* — советский ледокол, совершивший в 1928 г. поход для спасения дирижабля «Италия» У. Нобиле.

«И имя твое, словно старая песня...» (с. 516.) — *Имя твое* — Галина Николаевна Анучина, первая жена поэта.

Песенка для кино (с. 524).— Для кинофильма «У самого синего моря» по сценарию К. Минца. Песенка в фильм не вошла, была заменена другой песней П. Васильева.

Женихи (с. 524).— Эпиграф из стихотворения А. С. Пушкина «Гусар».

«Снегири <взлетают> красногруды...» (с. 533).— Обращено к Елене Александровне Вяловой, жене поэта.

АЛЕКСАНДР ТРИФОНОВИЧ ТВАРДОВСКИЙ (1910—1971). Печ. по изд.: А. Твардовский. Я начал песню.— М.: Молодая гвардия, 1987.

Матери (с. 534).— Посвящено матери поэта Марии Митрофановне Твардовской. *Осиновый хутор* — Загорье Смоленской области.

Братья (с. 535).— *Брат* — Константин Трифонович Твардовский. *Отец* — Трифон Гордеевич Твардовский. *Обапол* — по обе стороны.

МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ИСАКОВСКИЙ (1900—1973). Печ. по изд.: М. Исаковский. Стихотворения.— М.: Московский рабочий, 1980.

Двенадцать трав (с. 540).— Существует поверье, что травы, собранные в ночь под Ивана Купала (см. коммент. к стихам Н. Клюева), обладают волшебной силой.

АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ ЯШИН (настоящая фамилия Попов, 1913—1968). Печ. по изд.: А. Яшин. Избранные произведения: В 2 т. Т. 1.— М.: Художественная литература, 1972.

Из цикла «Первые письма» (с. 546).— В настоящий сборник вошло стихотворение 1 цикла.

Содержание

К 11 К ОГНЮ ВСЕЛЕНСКОМУ: Русская советская поэзия 1920—1930-х годов. / Сост., предисл. и комм. Е. В. Грековой.— М.: Правда, 1989.— 576 с.

20—30-е годы XX столетия — сложный период и в жизни страны в целом, и в истории нашей литературы. Эти годы стали наиболее плодотворными в творчестве многих поэтов. В сборнике стихотворения и поэмы подобраны так, чтобы раскрылся внутренний мир их авторов, круг их переживаний и стремлений. Прочитав книгу, читатель сможет познакомиться с лучшими образцами лирики 20—30-х годов: А. Белого, М. Цветаевой, В. Маяковского, С. Есенина и др.

К $\frac{4702010200-1802}{080(02)-89}$ 1802—89 84 Р 7

К ОГНЮ ВСЕЛЕНСКОМУ

Русская советская поэзия 1920—1930-х годов

Составитель
Грекова Елена Викторовна

Редактор С. А. Суркова

Оформление художника П. С. Сацкого

Художественный редактор Г. О. Барбашинова

Технический редактор В. С. Пашкова

ИБ 1802

Сдано в набор 10. 10. 88. Подписано к печати 27 02 89.
Формат $84 \times 108^1/_{32}$. Бумага книжно-журнальная.
Гарнитура «Академическая». Печать высокая
Усл. печ. л. 30,24. Усл. кр.-отт. 30,24. Уч.-изд. л. 30,39.
Тираж 300 000 экз. (1-й завод: 1—150 000).
Заказ 2645. Цена 2 р. 70 к.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина
и ордена Октябрьской Революции типографии
имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда»
125865, ГСП, А-137, Москва, улица «Правды», 24.

Отпечатано в типографии издательства «Поліграф»
Хмельницкого обкома Компартии Украины,
г. Хмельницкий, проспект Мира, 59.

